
The Booker Prize
Лауреат Букеровской премии
Айрис Мердок
Лучше не бывает
PREMIUM

Лучше не бывает
Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Лучше не бывает. Роман
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аннотация

Айрис Мердок – самая «английская» писательница XX века, выдающийся мастер тонкой психологии. Книги ее вошли в золотой фонд мировой литературы, удостаивались самых престижных литературных премий, в том числе Букеровской. Каждый ее роман – это своеобразный, замкнутый внутри себя мир, существующий по своим собственным законам, мир, одновременно логичный и причудливый, реалистичный – и в чем-то ирреальный. Действие романа «Лучше не бывает» начинается с загадочного самоубийства министерского чиновника в его кабинете. Служебное расследование, проводимое со всей тщательностью министерским юристом, переплетается с многофигурными любовными коллизиями, а завершается все самым неожиданным образом…

Айрис Мердок
Лучше не бывает
Роман

Супругам Сесил, Рейчел и Дэвиду

1

Не так уж часто главе департамента, спокойно работающему у себя в кабинете на Уайтхолле, доводится услышать близкий и не оставляющий сомнений в его происхождении звук — грохот револьверного выстрела.

В это мгновение ленивый толстяк по имени Октавиен Грей («совершенная сфера» — так называла его жена) медленно выводил аккуратным мелким почерком на белой служебной бумаге затейливую фразу, одновременно наслаждаясь приятным, наводящим сонливость послевкусием выпитого за ланчем отличного бургундского. И вдруг — выстрел.

Октавиен выпрямился, потом встал. Сомнений не было. Выстрел прогремел совсем рядом, в этом же здании. Он ни с чем не спутал бы этот звук, хотя последний раз слышал его много лет назад в бытность свою солдатом. Его тело помнило этот грохот и напряглось в уже забытом ощущении противостояния ужасному и неизвестному.

Октавиен подошел к двери. Только отдаленный шум лондонских улиц нарушал тишину теплого,

душного коридора. Он хотел крикнуть: «Что там? Что случилось?» — и не смог.

Он вернулся в кабинет и чисто инстинктивно направился к телефону — нити, связывавшей его с миром. Но тут же услышал — по коридору кто-то бежит.

— Сэр, сэр, случилась ужасная вещь!

В дверях стоял рыжий голубоглазый конторский курьер Макграт, губы розовели на побелевшем лице; его била дрожь.

— Убирайся. — Ричард Биран, один из подчиненных Октавиена, оттолкнув Макграта, вошел и закрыл за собой дверь.

— Ради бога, что это все значит? — спросил Октавиен.

Биран остался стоять, прислонившись к двери. Некоторое время он не мог отдышаться, а потом произнес, как всегда четко, своим высоким голосом:

— Послушайте, Октавиен, в это трудно поверить, но Рэдичи только что застрелился.

— Рэдичи? Силы небесные! Он мертв?

— Да.

Октавиен сел. Поправил белый лист на красной папке. Перечитал неоконченное предложение. Потом снова встал.

— Пойду… взгляну на него. — Он направился к двери, которую Биран распахнул перед ним.

— Полагаю, надо вызвать Скотленд-Ярд.

— Я уже взял на себя смелость сделать это.

Комната Рэдичи была этажом ниже. У закрытой двери собралась небольшая толпа. Безвольно опустив руки и открыв рты, люди внимали Макграту.

— Уходите отсюда, — сказал Октавиен. Они молча смотрели на него. — Возвращайтесь на свои места, — сказал он. Толпа стала медленно расходиться. — И вы тоже, — обратился он к Макграту.

Биран открыл дверь. Переступив порог, Октавиен увидел, что голова Рэдичи лежит щекой на столе. Зайдя в кабинет, Биран запер дверь, но после минутного размышления снова отпер.

Покрытая красноватым загаром складка на шее Рэдичи наползла на белый крахмальный воротничок. Первое, о чем подумал Октавиен, — открыты ли у него глаза, но, чтобы это узнать, надо было нагнуться и заглянуть в лицо. Левая рука свисала почти до пола. Правая лежала рядом с оружием — старым армейским револьвером. Октавиен почувствовал, что нужно срочно взять себя в руки, сделать несколько медленных вдо-

хов, собраться и вспомнить, кто он, собственно, такой. Ему доводилось видеть много мертвых тел, но летним днем на Уайтхолле, с этой наползающей на твердый воротничок складкой шеи, еще никогда.

Октавиен быстро напомнил себе, что он — начальствующее лицо, его долг — сохранять спокойствие и принимать решения.

— Кто его нашел? — спросил он Бирана.

— Я как раз проходил мимо двери, когда услышал выстрел.

— Полагаю, нет сомнений в том, что он мертв? — вопрос звучал зловеще и почти неприлично.

Биран ответил:

— Вне всякого сомнения. Взгляните на рану.

Октавиен подошел ближе. Обогнув стол с того боку, куда смотрел затылок Рэдичи, и перегнувшись через спинку стула, он увидел круглую дырку чуть правее небольшой ямки у основания головы. Довольно широкое темное отверстие с почерневшими краями. Немного крови из нее, не очень много, натекло за воротник.

— Очевидно, он выстрелил себе в рот, — сказал Биран, — пуля прошла насквозь.

Октавиен отметил аккуратную линию недавно подстриженных седых волос на теплой, безза-

щитной шее. Ему вдруг захотелось дотронуться до нее, прикоснуться к его пиджаку — осторожно, из любопытства, пощупать ткань. Перед ним было собрание не связанных уже между собой частей тела только что жившего человека, одежда, плоть. Наводящая ужас тайна отнятой жизни, внезапный распад живого человека на части, куски мертвой материи. У Рэдичи редко что получалось как следует, но тут он не подкачал.

Октавиен никогда не испытывал особой симпатии к Рэдичи. Он даже не слишком близко его знал. Рэдичи являл собой тип эксцентрика, какие всегда находятся в любом государственном учреждении. Обычно обладая высоким уровнем интеллекта, будучи подчас блестяще одаренными, они обнаруживают некую неправильность в оценках и суждениях и редко поднимаются по служебной лестнице выше начальника отдела. Считалось, что Рэдичи «слегка не в себе». Однако он был вполне доволен жизнью. Интересы его были широки. Он постоянно просил отгулы. Октавиен припомнил, что в последний раз он желал расследовать какой-то случай полтергейста.

— Он оставил записку?

— Во всяком случае, я не нашел, — сказал Биран.

— Совершенно не в его духе! — заметил Октавиен. — Рэдичи всегда неутомимо составлял подробнейшие отчеты. Думаю, сейчас приедет полиция и останется на весь день, и надо же — я как раз собирался уехать на выходные. — Почувствовав, что его голос вновь обрел глубину, он понял, что самое страшное позади. Теперь снова можно было стать холодным, деловым, в меру шутливым.

— Если хотите, я возьму их на себя, — сказал Биран. — Они, вероятно, будут фотографировать и все такое. Не забыть сказать им, что я притрагивался к револьверу. Я отодвинул его, чтобы заглянуть в лицо. Они найдут на нем отпечатки моих пальцев!

— Спасибо, но, думаю, мне лучше самому остаться. Бедняга, почему он это сделал?

— Не знаю.

— Он был обаятельным чудаком. Интересовался ду́хами и привидениями.

— Не знаю, — повторил Биран.

— А может… Ну конечно, помните жуткую историю с его женой? Мне говорили, что он так и не оправился после ее смерти. Он стал, я заметил, впадать в депрессию… Вы помните этот ужасный случай в прошлом году?…

— Да, — сказал Биран. Он засмеялся коротким, напоминающим взвизгивание животного смехом. — Как это похоже на Рэдичи с его чертовски дурным вкусом — прийти на работу и застрелиться!

— Кейт, дорогая. — Октавиен звонил в Дорсет жене.

— Привет, милый. Как дела?

— У меня все хорошо, — сказал Октавиен, — но на работе случилась неприятность, так что я приеду только утром.

— Как же так, дорогой? Ведь Барби приезжает нынче вечером! — Четырнадцатилетняя Барбара была их единственным ребенком.

— Я знаю, это ужасно досадно, но ничего не поделаешь. Здесь сейчас полиция и вообще полный кавардак.

— Полиция? Что случилось? Что-нибудь ужасное?

— И да и нет, — сказал Октавиен. — Один человек застрелился.

— Господи! Кто-нибудь из знакомых?

— Нет, не волнуйся. Ты его не знаешь.

— Ну и то слава богу. Мне так тебя жаль, бедный ты мой. Барбара так расстроится, что тебя не будет сегодня.

— Знаю. Но завтра я появлюсь. У вас там все в порядке? Как мой гарем?

— Твой гарем ждет не дождется тебя!

— Рад слышать. Целую тебя, любимая, я еще позвоню вечером.

— Октавиен, ты ведь захватишь Дьюкейна?

— Конечно, он все равно не мог приехать раньше завтрашнего утра, я захвачу его.

— Прекрасно. Вилли жаждет увидеть его.

Октавиен улыбнулся:

— Это ты жаждешь увидеть его, правда, милая?

— Ну конечно, я хочу его увидеть! Он совершенно незаменимый человек.

— Ты получишь его, дорогая. Ты получишь все, что пожелаешь.

— Ты чу-удо!

2

— Все камни надо вынести в сад, — сказала Мэри Клоудир.

— Почему? — спросил Эдвард.

— Потому что камням место в саду.

— Почему? — спросила Генриетта.

Близнецам, Эдварду и Генриетте, было девять лет. Оба долговязые, белобрысые, оба с красивой волнистой копной волос — они были удивительно похожи.

— Это ведь не окаменелости. В них нет ничего особенного.

— Каждый камень — особенный, — сказал Эдвард.

— В метафизическом смысле это абсолютно верно. — Теодор Грей явился на кухню в своем старом халате в темно-коричневую клеточку.

— Метафизика и порядок в доме — вещи разные, — сказала Мэри.

— Где Пирс? — обратился Теодор к близнецам. Пирс был сыном Мэри Клоудир, ему исполнилось пятнадцать.

— Наверху, у Барби в комнате. Он украшает ее

ракушками. Притащил туда целую тонну.

— О боже! — воскликнула Мэри.

Дом постепенно превращался в пляж. У детей в комнатах под ногами шуршал песок, хрустела галька и раздавленные ракушки, а также высохшие останки разнообразной морской флоры и фауны.

— Если Пирсу можно носить в дом ракушки, то, значит, мы можем держать в комнате камни, — рассудила Генриетта.

— Никто не разрешал Пирсу приносить ракушки, — сказала Мэри.

— Но никто ему и не запрещал, верно? — вставил Эдвард.

— Если бы я так отвечала старшим, когда была в вашем возрасте, меня бы отшлепали, — вмешалась экономка Мэри Кейзи. Все в доме звали ее по фамилии — Кейзи, чтобы не путать с Мэри Клоудир. Это звучало как кличка.

— Справедливо, но неприменимо, мог бы ответить Эдвард, — заметил Теодор. — И если вас не затруднит, я хотел бы выпить чашку чая. Чувствую себя не блестяще.

— Бедняжка Кейзи, вот не повезло ей! — сказал Эдвард.

— Я его не останавливаю, — сказала Мэри, —

во-первых, потому, что останавливать его уже поздно, а во-вторых, потому, что не каждый день Барбара возвращается домой. — В споре с близнецами всегда выручала логика.

Барбара Грей не была дома с Рождества. Она заканчивала учебу в Швейцарии. В пасхальные каникулы она каталась с родителями на лыжах… Супруги Грей были страстными путешественниками.

— Некоторые могут себе позволить, — пробурчала Кейзи, вложив в свою реплику туманный намек на разницу в их социальном положении. Она часто отпускала неопределенные, но веские замечания.

— Кейзи, можно нам взять эти куриные лапы? — спросила Генриетта.

— Как тут поддерживать чистоту на кухне, когда дети роются в мусорных ведрах, будто голодные коты…

— Пожалуйста, не надо выгребать оттуда все, Генриетта! — закричала Мэри. Вместе с куриными лапами вывалилась мешанина из скомканной бумаги, кофейных зерен, вялых листьев салата и человеческих волос.

— Меня тут ни во что не ставят, — сказала Кейзи. — Моя жизнь здесь не имеет смысла…

— Всякая жизнь не имеет смысла, — изрек Теодор.

— Вы считаете, я вам не ровня…

— Вы нам не ровня, — сказал Теодор, — не принесете ли вы мне чашку чая, будьте добры.

— Заткнитесь, Тео, — сказала Мэри. — Не выводите Кейзи из себя. Вот ваш чай, на подносе.

— Лимонный кекс. Мм. Прекрасно.

— Вы говорили, что неважно себя чувствуете, — сказала Кейзи.

— Просто желчь разлилась. Где Минго?

Минго — крупный лохматый серый пес, явно имевший в числе предков пуделя, — всегда находился у ног Теодора, когда тот завтракал или пил чай в постели. Кейт и Октавиену это давало неистощимый повод для шуток об отношениях между Теодором и Минго.

— Сейчас приведем его, дядя Тео! — закричал Эдвард.

После короткой возни Минго был извлечен из-за чугунной печки, которая продолжала занимать бóльшую часть кухни возле плиты, хотя на ней уже давно не стряпали и топить ее было неэкономно. Теодор, взяв поднос, начал подниматься по лестнице впереди близнецов, которые, исполняя придуманные ими самими ритуалы,

тащили пса, при этом его глупая, улыбающаяся морда торчала из-под локтя Эдварда, мохнатые лапы волочились по полу, а толстый, как колбаса, хвост вилял, то и дело задирая пестрый подол Генриеттиного платьица.

Теодор, старший брат Октавиена, по характеру — ипохондрик, ничем теперь не занимавшийся, служил когда-то инженером в Дели. Все знали, что он был вынужден покинуть Индию из-за какой-то таинственной истории, но в чем заключалась эта тайна, никто не знал. Никто не знал также, любит ли он на самом деле своего брата, нескрываемое презрение к которому он демонстрировал, но окружающие старались, по общему согласию, не замечать этого. Он был высоким, худым, наполовину облысевшим и поседевшим человеком с выпуклым лбом, изборожденным иероглифами морщин, и проницательным взглядом умных задумчивых глаз.

— Пола, тебе обязательно читать за столом? — спросила Мэри.

Пола Биран, мать близнецов, была поглощена книгой. Воспитание своих детей она полностью доверила Мэри и в подобные моменты казалась едва ли не их ровесницей. Пола развелась с Ричардом Бираном больше двух лет назад. У самой

Мэри за спиной были многие годы вдовства.

— Извини, — сказала Пола, закрывая своего Лукреция. Она преподавала в местной школе греческий и латынь.

Мэри придавала большое значение их совместным трапезам. Это было время общения, ритуального, почти духовного единения. Человеческая речь и соприсутствие залечивали те раны и царапины, от которых одна только Мэри, с ее обостренной и неустанной чувствительностью, страдала, стараясь восстановить гармонию, к которой тоже только она одна и стремилась. В эти минуты Мэри обладала никем не оспариваемой властью. И если экономка воплощала собой коллективное бессознательное, то Мэри — коллективный разум. Повторяемость завтрака, обеда, чая и ужина вносила элементы порядка в ситуацию, которая, по ощущению Мэри, всегда балансировала на грани может быть и приятной, но неотвратимой анархии.

Сквозь большие, увенчанные причудливыми викторианскими башенками окна, сквозь их чугунный переплет светило горячее солнце, отбрасывая зеленоватые тени от кустиков жимолости с одной стороны и вистарии — с другой. Оно сделало заметными пятна на клетчатой крас-

но-белой скатерти, хлебные крошки, кофейные зерна и человеческие волосы на плитках пола. Близнецы уже закончили пить чай, Тео унес свой в спальню, Пирс еще не спускался, Кейт, как обычно, запаздывала; Мэри, Пола и Кейзи чаевничали втроем.

— Она опять заимела новую машину, — сказала Кейзи.

— Я бы просила вас называть имена тех, о ком вы говорите, а не называть всех «она».

— Моя сестра.

Бóльшую часть жизни Кейзи пожрала забота о захворавшей матери, которую она, впрочем, иначе как «старая сука» не называла, и она была не в состоянии простить сестру, избегнувшую той же участи и нашедшую богатого мужа. Краснолицая, с головой в кудряшках, плотная Кейзи часто вдруг принималась рыдать у телевизора, когда там показывали что-нибудь печальное, вызывая у Мэри деятельное и взволнованное сострадание.

— Какой марки? — спросила Пола. Она все еще была мыслями вся в Лукреции, прикидывая, не будет ли для школьников на экзамене слишком труден отрывок из него.

— «Триумф» или что-то в этом духе. Некоторым такие нравятся. Поездки на Коста-Брава и все

такое.

— А мы сегодня опять видели ту же самую летающую тарелку, — объявила Генриетта, вернувшись с Монрозом, котом Барбары. Близнецы часто делали подобное утверждение.

— Серьезно? — спросила Мэри. — Генриетта, пожалуйста, не надо ставить Монроза на стол.

Монроз был крупным, кофейного цвета, полосатым животным с золотистыми глазами, совершенно квадратным туловищем, с прямыми ногами, чья упорная глубокая погруженность в себя постоянно возбуждала между детьми яростные споры относительно его умственных способностей. Они постоянно предпринимали проверку интеллекта Монроза, но к окончательным выводам так и не пришли, поскольку близнецы были склонны считать, что взаимодействие с человеческой расой не является признаком большого ума. У Монроза был один несомненный талант — он мог простым волевым усилием заставить свою прилизанную шерстку вдруг встопорщиться, так что из гладкого полосатого куба всегда мог превратиться по желанию в пушистый шар. Дети говорили: «Монроз превращается в птичку».

— Только не спрашивайте меня, откуда у них деньги, — сказала Кейзи, — а то сделаетесь со-

циалисткой.

— Но вы ведь социалистка, Кейзи, — сказала Мэри. Они все, конечно, придерживались социалистических убеждений. Но только Кейзи открыто заявляла об этом.

— Я и не отрекаюсь, я только хотела сказать, что этого было бы достаточно, чтобы и вы стали ею.

— А вы знаете, какая птица самая большая на свете? — спросил Эдвард, проталкиваясь между Мэри и своей сестрой.

— Нет. Какая?

— Казуар. Он ест папуасов. Он их убивает своими ногами.

— А я думаю, кондор еще больше, — заметила Генриетта.

— Это зависит от того, что ты берешь во внимание — размах крыльев или вес, — рассудил Эдвард.

— А про альбатроса забыли? — спросила Пола. Она уже была готова вступить с детьми в серьезную полемику, неизменно относясь к ним как к взрослым разумным людям.

— Размах крыльев у него больше, — сказал Эдвард, — но тело меньше. Знаете, какую большую грудную кость нам пришлось бы иметь, если бы мы могли летать? Мэри, знаете, какая была бы

нам нужна здоровая грудная кость, если бы мы захотели летать?

— Я не знаю, — сказала Мэри. — Какая?

— Четырнадцать футов шириной.

— Правда? Только представить!

— Что касается кондора… — начала Пола.

— Осторожней, Генриетта, — сказала Мэри Генриетте, пытавшейся стукнуть брата по лицу лапой Монроза.

— Спокойно, когти не выпущены, — ответила Генриетта.

— На его месте я бы их выпустила, — заметила Кейзи. — Когда я была в твоем возрасте, нас учили, что нельзя мучить животных.

— Нужно что-то решать с камнями, — сказала Мэри. — Мы все время спотыкаемся о них. Не можете вы отобрать те, которые вам особенно дороги, а остальные вынести во двор?

Идея сортировки камней сразу же захватила близнецов. Они бросили кота, усевшись на полу возле кучи камней, и принялись спорить о достоинстве каждого из них.

— Тео навещал Вилли? — спросила Пола.

— Нет, я предложила ему, но он только рассмеялся и сказал, что он не сторож Вилли.

Вилли Кост был ученым, эмигрантом, он жил

в поместье Октавиена, в бунгало под названием «Трескомб-коттедж» — чуть выше в гору от Трескомб-хауса. Вилли страдал от меланхолии, что очень беспокоило экономку.

— Я думаю, они опять поссорились. Они прямо как дети. Ты к нему заходила?

— Нет, — сказала Мэри. — У меня не было ни минуты. Я посылала Пирса, и он сказал, что с Вилли все в порядке. А ты?

— Нет, — сказала Пола. — Я тоже была занята весь день.

Мэри почувствовала облегчение. Ей казалось, что она персонально отвечает за Вилли Коста, как будто он был ее собственностью; считалось, что именно она всегда должна знать, что с ним происходит. Ей надо будет зайти к нему завтра.

— Хорошо, что Дьюкейн приезжает, — сказала Пола, — он благотворно влияет на Вилли.

— Дьюкейн приезжает? — спросила Мэри. — Я бы хотела, чтобы меня хоть иногда ставили в известность хоть о чем-то!

— Я думаю, вы отдаете себе отчет, что комната еще не готова? — сказала Кейзи.

— Просто Кейт думала, что это настолько обычно, что и говорить не о чем.

Джон Дьюкейн, друг и коллега Октавиена, ча-

сто приезжал к ним на выходные.

— Кейзи, вы ведь будете так любезны и уберете комнату после чая?

— Конечно, я уберу, выберу минутку. Раз вы считаете, что это нужно сделать, я сделаю.

В это мгновение в кухню вошла Кейт Грей, за ней по пятам следовал Минго. И сразу же будто пронзительный звездный луч просиял над комнатой и собрал воедино все разъединенное до этого момента вокруг центра — Кейт. Мэри, как бы пронзенная этим силовым лучом, видела, как улыбнулось умное, смахивавшее на собачью мордочку лицо Полы, и почувствовала, как ее собственное лицо поворачивается навстречу и улыбается, а волосы откидываются назад. Минго лаял. Монроз прыгнул на стол. Кейзи добавила кипятку в чайник, близнецы, разрушив тщательно выстроенные ими же ряды камней, защебетали, стараясь ухватить коричневыми от песка руками пояс полосатого платья Кейт.

Круглое яркое лицо Кейт светилось в путанице ее золотых волос, всем уделяя частицу своего блеска. С ее появлением стали особенно заметны миниатюрность, ухоженность и аккуратность двух других дам — Мэри, с ее прической, забранной в узел, похожей на викторианскую

гувернантку, и Полы — с остреньким личиком и коротко подстриженными каштановыми волосами. Кейт, сама неопределимая по природе, всем своим существом — шумом, жаром, светом — выгодно подчеркивала индивидуальность и неповторимость других. Кейт слегка заикалась, в ее речи слышался легкий ирландский акцент.

— Октавиен не приедет сегодня.

— О, дорогая, — сказала Мэри, — ради Барби он должен бы приехать.

— Да, но увы. Что-то случилось у него на работе.

— Что случилось?

— Какой-то парень застрелился.

— Господи боже, — воскликнула Пола, — застрелился — прямо на работе, ты хочешь сказать?

— Да. Это ужасно.

— Кто он? — спросила Пола.

— Не знаю.

— Как его звали?

— Не сообразила спросить. Кто-то, кого мы не знаем.

— Бедный парень, — сказала Пола. — Мне бы хотелось все же знать, как его звали.

— Зачем? — спросил Эдвард, экспериментировавший с сухожилием цыплячьей ножки.

— Легче представить кого-то, если ты знаешь его имя.

— Почему? — спросила Генриетта, рассекая другую ножку кухонным ножом.

— Это хороший вопрос, — ответила Пола. — Платон говорит, что мы можем *представить* нечто, и тогда оно становится достижимым для нашей мысли, как бы далеко от нас ни находилось.

— Ты права, что подумала о нем, — сказала Кейт. — Как ты права! Ты меня пристыдила. Я чувствую угрызения совести, ведь я думала только об Октавиене и Барбаре.

— Почему он убил себя?

— Пойду приберу комнату Дьюкейна, — сказала Мэри, обращаясь к Кейзи.

— Нет, это не ваша обязанность, — сказала Кейзи.

Они поднялись и вышли из кухни.

Ленивое солнце, чей уходящий свет уже скользил по фронтону дома, бросало длинные прямоугольные дрожащие золотые пятна на выцветшие в цветочек обои большого, выложенного плиткой холла, служившего по выходным столовой. Входная дверь была широко распахнута, позволяя слышать далекую кукушку, а над заросшим травой гравием дороги, над подстриженной

покатой лужайкой и высокой, цвета малины со сливками изгородью спиреи вздымалось море — серебристо-голубое, слишком нежное и прозрачное, чтобы его отлив можно было назвать металлическим. Скорее оно напоминало плотную серебряную бумагу, прихотливо поднимаясь и опускаясь под белесым голубоватым блеском зрелого лета. И пыльное золото солнца, и эфирная прозрачность моря говорили о наступающем вечере. Обе женщины поднимались по белой лестнице: Кейзи — тяжело и неловко, Мэри — стремительно; на самом верху они заспорили о чем-то. Мэри послала Кейзи в свободную комнатку, а сама направилась к комнате Барбары.

Мэри Клоудир и ее сын Пирс уже почти четыре года жили в Трескомбе. Отец Мэри, придавленный жизнью человек, был младшим клерком в страховой компании; он и нежная, слабая мать Мэри умерли одновременно от воспаления легких, оставив свое единственное дитя, тогда девяти лет от роду, на попечение пожилой и нуждающейся тетки. Но Мэри все же с помощью стипендии удалось успешно закончить учебу, во время которой она и встретила Кейт. Кейт восхищалась Мэри и почти инстинктивно заботилась о ней. Они стали верными подругами. Гораздо

позднее, когда Мэри оказалась бездомной бедной вдовой в самом низу социальной лестницы, Кейт предложила ей переехать и пожить у них. Мэри после многих сомнений решила попробовать. И она осталась. Кейт и Октавиен наслаждались благополучием и глубоким чувством превосходства благодаря своему высокому общественному статусу. Мэри, будучи обездоленной, иногда впадая в романтизм, называла себя изгоем, хотя в то же время она ценила те преимущества, которыми обладали ее друзья, и готова была пользоваться их поддержкой. Но, разумеется, она не приняла бы их милосердия, если бы они оба не обладали в полной мере природной добротой; это свойство находило даже физическое выражение в их округлости — в крупной круглой и лысой голове Октавиена, с ее шелковой золотистой тонзурой, в пухлом лице Кейт, в пушистом шаре ее мягких русых волос. Им обоим свойственно было беззаботное великодушие, правда, что-то в них наводило на мысль о необычных грешниках, которые чудесным образом решили стать праведными. Их брак был счастливым, и они оба прилагали все усилия к тому, чтобы все вокруг тоже были счастливы. Мысль о том, что она сама в высшей степени нужна им, не волновала Мэри.

Она вела дом, она следила за детьми, она всегда оказывалась там, где нуждались в ее помощи. Но она знала, что их благодеяния неизмеримо больше.

Присутствие с недавнего времени в доме Полы с ее лисьей мордочкой поначалу смущало Мэри. Пола была ее подругой по колледжу, с Кейт она познакомилась, приехав после своего развода погостить у подруги. «Все готовы приютить разведенную женщину», — говорила Пола. Мэри пригласила ее, и Кейт была очарована ею. Кейт предложила Поле остаться с ними на неопределенное время. Октавиен придумал шутку насчет гарема, и дело было решено. Пола была старшей и почитаемой подругой студенческих лет. Мэри опасалась, что в постоянном общении Пола может стать непереносимой, и, кроме того, она боялась, что начнет ревновать. Пола была бескомпромиссной особой, порой Мэри казалось, что ее можно упрекнуть в бессознательной наклонности к ханжеству. Сила и ясность всего ее существа, педантичная аккуратность и правдивость как будто бы уличали посредственность и беспорядочность Мэри, которые она сама считала своими врожденными недостатками. Твердое, ледяное достоинство было присуще Поле, развод

не изменил ее — что послужило его причиной, Мэри было неизвестно, однако все знали, что Ричард Биран не пропускает ни одной юбки. Само собой разумеется, и даже чересчур очевидно, что Кейт и Пола «обожали» Мэри. Мэри, с ее нервной ясностью сознания, предчувствовала, что они потянутся друг к другу, и в первые месяцы пребывания Полы в доме чувствовала порой острые приступы неприязни. Но в конце концов холодность и отстраненность Полы, ее подчеркнутая добродетель успокоили нервы Мэри и даже давали ей энергию, в которой она нуждалась, чтобы видеть вещи такими, каковы они на самом деле. Вскоре она пришла к выводу, что бояться нечего. Взаимная симпатия Кейт и Полы не представляла для нее опасности. От нее ничего не таили, не строили козней. Примирившись с этим, она даже стала испытывать особое удовольствие от их существования втроем, от которого зависели и другие.

Квартет детей тоже хорошо спелся. Все они теперь ходили в школу. Пирс — в Брайнстон, близнецы — в Бидейлз, а Барбара — в La Résidance в Швейцарии. Их присутствие, их отсутствие зависели от дней недели, и это делало существование Мэри, благодаря меняющейся атмосфере,

чередующимся, как клетки шахматной доски. Когда дети уезжали, Кейт нередко проводила часть недели в лондонском доме Греев. Но чаще она улетала куда-нибудь вместе с Октавиеном, знавшим расписание самолетов, как другие — поездов. Их приезд на выходные изменял все в доме, привнося в него тайну супружества. Его узы Кейт и Октавиен несли с энтузиазмом и очарованием, как некую царственность. Пола и Мэри тогда сразу превращались в женщин без мужчин. Они смеялись шуткам Октавиена насчет гарема, и по ночам сквозь толстые стены до них доносилось бесконечное, текущее как река, перешептывание супругов. Когда дети приезжали в конце недели, в доме становилось веселее, в нем исчезала отчужденность и появлялась анархия. Но и детей изменила новая ситуация: Барбара внезапно стала «общим ребенком», ее положение стало привилегированным, особым, а в чем-то переменилось к худшему, другие же дети принимали это как должное, не задумываясь. Присутствие мужчин — Октавиена и позднее Джона Дьюкейна (дядю Тео мужчиной почему-то никто не считал) — заставляло детей быть если не более дисциплинированными, то, во всяком случае, более сознательными и последовательными.

В целом Мэри Клоудир была вполне удовлетворена. По крайней мере, она сознательно упивалась тем нервным и темным смятением, которое жило в глубине ее души. Алистер Клоудир умер, когда Пирс был еще младенцем, оставив жену без гроша. Мэри, в свое время бросившей университет ради замужества, было трудно найти работу. Она стала машинисткой. Пирс получил стипендию в школе, где учился его отец. Все устроилось, но Мэри никогда так и не простила судьбу, так жестоко обошедшуюся с Алистером. Дух, вселившийся в нее, был сардоническим, саркастическим, узким. Она научилась жить без надежд и просто катилась по накатанной колее. Кейт, даже не догадываясь о глубокой внутренней боли Мэри, тем не менее наполовину вылечила ее. Кейт, вечно и безрассудно счастливая, заразила и Мэри стремлением к счастью, передав ей заряд своего электричества, пробуждавшего надежду. Демонстративное проявление чувств Кейт подстегнуло и Мэри. Блаженный, дающий счастье жить эгоизм и огромное самодовольство, проявляемые Кейт и ее мужем, пробудили в Мэри определенный гедонизм, пусть и робкий по сравнению с ними, но для Мэри он стал спасительной благодатью. Во всем остальном она ясно отдавала

себе отчет в том, что ранит ее, и научилась жить с этим.

Мэри прошла по коридору верхнего этажа, наблюдая за близнецами, устроившимися на лужайке перед домом. Они занялись придуманной ими особой игрой. У близнецов было немало своих собственных игр, придуманных ими для себя, и хотя Мэри много раз видела эти игры, она никак не могла понять правила, лежащие в их основе. Ей казалось порой, что по сути своей эти игры были математическими. Как будто внутри этих замечательных детей были встроенные компьютеры, и они не подозревали, что у других-то их нет. Большинство игр назывались коротко и неинформативно: «Палки» или «Перья». Сейчас на лужайке, разметив ее бечевкой на прямоугольники и треугольники, они играли в игру под названием «Благородный мышь» — никто не мог понять, почему она так названа.

Дверь в комнату Барбары была открыта, и Мэри увидела через проем своего сына, его профиль — с выражением глубокой погруженности в себя он наклонился над столом, стоявшим под окном, и напряженно рассматривал сквозь очки в роговой оправе нечто лежащее на нем. Пирс — смуглый, с каштановыми волосами и карими

глазами — обладал очень длинным и прямым носом, который придавал его пухлому и бледному лицу что-то животное. У многих людей возникало полубессознательное желание похлопать его по лбу и носу, будто пони, даже у его учителей появлялся иногда такой импульс. Взгляд его был серьезный и вдумчивый, и это, в соединении с педантически медленной речью, придавало ему облик интеллектуала. Но, будучи действительно умным, он ленился в школе и был далек от всякой учености. Подойдя ближе и оставаясь все еще не замеченной, Мэри увидела, что Пирс выложил на столе затейливый рисунок из сотен ракушек, закрученных спиралью: маленькие в центре, покрупнее — снаружи. Заканчивая края орнамента, он время от времени наклонялся, выбирая новую ракушку из груды, лежащей у ног.

Пирс почувствовал, что мать смотрит на него, и медленно повернул к ней лицо. Он почти никогда не делал быстрых движений. Он посмотрел на нее без улыбки, почти мрачно. Он был похож на загнанное в угол, но не испуганное, а опасное и уверенное в себе животное. И Мэри посмотрела на себя как бы со стороны: худая темноволосая женщина, мать, символ прошлого — прошлого ее сына, как будто она была призраком. В эту же

минуту на нее накатила волна жадной любви к сыну и ослепляющей жалости, она не могла понять, кого ей жалко — его или себя. В следующий момент, как бы не зная, что сказать, она оглядела уютную комнату Барбары, такую прибранную и пустую, но уже ожидающую хозяйку. Инстинктивно почуяв уязвимость сына, она поняла всю неуместность его ракушечного рисунка, который отражал покой мыслей сына о Барбаре, но никак не соответствовал той сумятице, что вот-вот воцарится, как с некоторым ужасом предчувствовала Мэри, с ее приездом. Тщательная работа с ракушками, показалось ей, так типична для Пирса — такое медленное и самоуглубленное, не требующее рассуждений занятие.

Вдруг раздался крик со стороны лужайки, звук машины, проезжающей по гравию, и восторженный лай Минго. Пирс не сразу двинулся с места. Он встретился глазами со встревоженным взглядом матери, а когда она повернулась, неторопливо пошел за ней по лестничной площадке.

«Мама, это было так здорово, в самолете потрясно кормили и предлагали мне шампанское, нет, Мэри, не трогай мой чемодан, скажи ей, мама, только взгляни на хвост Минго, он вертится как пропеллер, спокойней, Минго, ты сделаешь боль-

но Монрозу своими большими лапами, Монроз узнал меня, правда, куда же ушел дядя Тео, я его и разглядеть не успела, Эдвард, не тащи меня за юбку, она совсем новая, Генриетта, я купила тебе в Женеве миленькое платье, Вилли в порядке, надеюсь, я привезла для него чудесный бинокль, я провезла его *контрабандой*, не побоялась, смело, ведь правда, я всем привезла подарки *laisse moi donc, Pierce, que tu m'embêtes*[1], мама, я ездила верхом каждый день и значительно улучшила свой французский, я все время репетировала, я играла на флейте в концерте, и посмотрите, как я загорела, ведь загорела, а для тебя, мама, я купила кружева, для Мэри брошь, для папы часы, Генриетта, подержи Монроза, осторожней с чемоданом — в нем итальянское стекло, положи его на кровать, если тебе нетрудно, Мэри, о, какое счастье быть наконец дома, если бы папа был здесь, все кажется таким чудесным, я прогуляюсь и повидаюсь с Вилли, зачем эти ракушки на моем столе, просто выброси их, ой, они раскиданы по всему полу, Кейзи, я бы хотела, чтобы ты увела близнецов из моей комнаты, остальные чемоданы можно положить на стол, вот так, спасибо,

---

[1] Примечания: 1

Отстань от меня, Пирс, не дразни меня *(фр.)*.

мама, ты знаешь, я ходила на танцы, это было так здорово, мы все должны были одеться в черное и белое, а потом я летала на вертолете, я так испугалась, это совсем другое дело, чем самолет…»

3

Джон Дьюкейн посмотрел в глаза Джессики Берд. Они медленно наполнились слезами. Дьюкейн отвел взгляд в сторону, вниз. Он не расстался с ней тогда, когда должен был сделать это. Тогда это было бы губительно для него. Он расстается с ней сейчас, когда это уже не только не мучительно, а даже приносит некоторое облегчение. Нужно было расстаться с ней тогда. Но факт оставался фактом, теперь-то он точно должен расстаться с ней. Эта мысль помогла ему стойко перенести ее слезы.

Он огляделся, стараясь не видеть ее заплаканного, страдающего лица. Мысленно он был уже далеко от этой комнаты, странность которой сейчас бросилась ему в глаза, — комната Джессики своей строгостью напоминала каюту. Никаких разбросанных по-домашнему книг или бумаг, говорящих о своем жильце, — чистые суровые цвета и формы ничего общего не имели с человеческим уютом и беспорядком. Если считать мебель предметами, сделанными специально для того, чтобы человеку было удобно сидеть, лежать,

писать, класть на них что-нибудь, то в комнате Джессики вообще не было мебели — только поверхности и плоскости. Даже стул, на котором сейчас сидел Дьюкейн, единственный стул в этой комнате, представлял собой наклонную плоскость, совершенно не считающуюся с изгибами человеческого тела. Даже кровать, лежа в которой они однажды ужасно ссорились, была похожа на гладильную доску. На пластмассовых полках, безличных, как стойки кофейных баров, лежали странные предметы, которые Джессика находила или сама делала, — они не имели ни прикладного значения, ни декоративного. По ночам она обшаривала мусорные баки, отыскивала разный выброшенный хлам, приносила в дом кирпичи, куски черепицы, деревяшки, куски проволоки. Иногда она позволяла этим вещам оставаться самими собой, иногда делала из них другие вещи. По способу, бесконечно совершенствуемому ею в ванной, несмотря на постоянно засоряющиеся трубы, Джессика из размокшей бумажной массы с еле видимыми буквами создавала изящные, легкие как перышко математические объекты, а когда они высыхали, раскрашивала изнутри. Эти непонятные предметы, выстроенные в непостижимом порядке, часто казались Дьюкейну

проявлением какой-то высшей идеи, которую он не мог вообразить. Они не предназначались для медитации и в какой-то момент были уничтожены.

Джессика преподавала в начальной школе рисование и английский. Ей было двадцать восемь, а выглядела на восемнадцать. Дьюкейну, с его круглыми голубыми глазами, крючковатым носом и пробивающейся сединой, было сорок три, и выглядел он на сорок три. Они встретились на вечеринке. Они влюбились друг в друга, и это их самих очень удивило. Джессика — бледная, тоненькая, в мини-юбке. Ее длинные рыжие с каштановым оттенком волосы были распущены по плечам, или она собирала их в хвостик, вплетая в него ленточки. Она казалась Дьюкейну абсолютно загадочной и, конечно, была совершенно не в его вкусе. Она казалась ему поразительно талантливой и в то же время поражала полным отсутствием интеллекта — сочетание, не встречавшееся ему ранее. Она принадлежала к *расе* молодых, чуждость которых он чувствовал и не пытался приблизиться к ним. Им было интересно разгадывать друг друга, и некоторое время они были счастливы. Дьюкейн дарил ей книги, которые она и не думала читать, украшения,

которые она не носила, и маленькие дорогие *objets d'art*[2], которые среди ее диких безделушек производили отстраненно-сюрреалистическое впечатление. Напрасно пытался он уговорить ее работать с более долговечным материалом. Она находила его вкус безнадежно испорченным, а самого его — очаровательным и бесконечно старым.

Хотя Дьюкейн и не вполне сознавал это, его нервная неопределенная чувственность нуждалась в некоем усложненном интеллектуальном ободрении, в своего рода игре, на которую Джессика была неспособна. Его глубокий пуританизм мешал завести долгий роман. По своему темпераменту он вообще не годился в любовники, он знал это. Его похождения были не частыми и очень короткими. Рассудком он винил себя в том, что удерживает около себя молодую привлекательную девушку, не имея намерения на ней жениться. Дьюкейн стремился к простой жизни, он не терпел тайн и чувства вины. Со временем, когда радость новизны сошла на нет, ее эстетические пристрастия стали казаться ему скорее вздорными, чем очаровательными, и он

---

[2] Примечания: 2
Художественные изделия *(фр.)*.

уже думал о ней не как о редком и экзотическом животном, а как об эксцентричной молодой англичанке, к тому же не такой уж юной, которой скоро суждено превратиться в часто встречающийся тип — эксцентричной англичанки средних лет. Ему стало стыдно, что он не находит в себе силы прекратить этот роман, а лучше было бы и вообще в это не впутываться. И вот тогда, восемнадцать месяцев назад, он решил, что должен расстаться с ней. Но он дал ей растрогать себя слезами и согласился, что хотя они не могут больше быть любовниками, но останутся друзьями и будут встречаться так же часто, как раньше. Ему было легко пойти на это, потому что он еще был слегка влюблен в нее.

Возможно, в его страсти таилось больше хитрости, чем он сам предполагал, потому что, освободившись от чувства вины, он снова нашел ее чарующей, он как будто заново испытал восторг первых взглядов и прикосновений и почти убедил себя, что у него появился ребенок, друг. Но постепенно он с огорчением понял, что она не разделяет этой новоприобретенной свободы. Он не мог дать ей свободу. Она все еще была влюблена в него и вела себя так, будто оставалась его любовницей. Ее жизнь делилась на периоды его

присутствия, отсутствия, снова присутствия, на ожидание его, созерцание его, снова ожидания. Она смотрела на него влюбленными глазами, старясь приглушить свою любовь. Инстинктивно боясь снова пробудить в нем чувство вины, она очень осторожно притрагивалась к нему — легкими, невесомыми касаниями, — как бы стараясь забрать часть его сущности, как драгоценное лекарство, чтобы стойко вынести потом пустоту его отсутствия. Весь мир для нее заключался в нем. Он догадался о мучительной интенсивности ее страдания, которое порой она не могла скрыть от его взора. Он стал бояться визитов к ней, чтобы избежать этой роковой муки. Они оба стали пугливыми, раздражительными, постоянно ссорились. Наконец Дьюкейн решил, что остался один выход, пусть и жестокий, — расстаться навсегда. Он осознал это с полной ясностью. Но как только он попытался объяснить ей свое решение, они опять оказались в знакомой запутанной атмосфере жалости и страсти.

— Что я такого сделала?

— Ничего.

— Тогда почему все не может идти по-прежнему, почему ты вдруг заговорил об этом?

— Я все обдумал. Это в корне неверная ситу-

ация.

— Что же тут неверного? Я просто люблю тебя.

— В этом-то и беда.

— В мире так мало любви. Зачем ты хочешь убить мою?

— Не так все просто, Джессика. Я не могу принять твою любовь.

— Не понимаю почему.

— Это нечестно по отношению к тебе. Я не могу связывать тебя.

— Может быть, именно этого я и хочу.

— Дело не в том, чего ты хочешь. Будь мужественной и пойми это.

— Ты думаешь, что действуешь в моих интересах?

— Я уверен в этом.

— Ты устал от меня, так и скажи.

— Джессика, ты знаешь, что я люблю тебя. Но я не хочу, чтобы ты страдала, как страдаешь сейчас.

— Со временем я научусь страдать меньше. Кто сказал, что нужно жить не страдая?

— Это плохо для нас обоих. Я должен взять на себя ответственность…

— Черт с ней, с твоей ответственностью. Тут что-то еще. Ты завел новую любовницу.

— Нет, у меня нет новой любовницы.

— Ты обещал сказать, если она появится.

— Я держу свои обещания. У меня ее нет.

— Тогда почему все не может идти по-старому? Я не требую слишком многого от тебя.

— Вот именно!

— В любом случае, Джон, я не собираюсь расставаться с тобой. Честно… не думай… мне этого не вынести.

— О господи, — сказал Дьюкейн.

— Ты убиваешь меня, — сказала она, — ради чего-то… абстрактного.

— О господи, — повторил он и встал, повернувшись к ней спиной. Он боялся, что девушка, стоявшая перед ним на коленях, сейчас кинется и прижмется к его ногам. Жестокость его слов, ее удивление удерживали их до этого от подобных порывов.

Дьюкейн сказал себе: человеческая слабость, испорченность создали эту ситуацию, и я автоматически теперь должен вести себя жестоко. Она права, спрашивая, зачем я убиваю любовь, ее ведь так редко встретишь. И все же я должен убить эту любовь. О боже, почему это вправду так похоже на убийство? Если бы я только мог взять на себя ее страдание. Но это одно из наказаний

за испорченность, последнее и худшее, ты не можешь, как бы ни хотел, взять его на себя.

Он услышал, как она сказала дрогнувшим голосом:

— Знаешь, я думаю, должна быть какая-то особая причина, что-то произошло с тобой…

Беда была в том, что она угадала, и Дьюкейн втайне чувствовал неискренность своих мотивов. Он знал, что поступает правильно, и знал, что это просто необходимо, но то, что во всем этом таились его собственные интересы, смущало его. Он хотел сделать Джессику свободной, но еще больше хотел освободиться сам. То, что случилось с Дьюкейном, звалось Кейт Грей.

Дьюкейн давно знал Кейт, но только недавно он понял, что сдвиг сознания по отношению к давно знакомому — вот одна из привилегий старения, и он обнаружил вдруг, что испытывает нечто вроде влюбленности в нее, и ощутил, что и с ней происходит то же самое. Это открытие не предвещало потрясений. Кейт состояла в прочном браке. Он был уверен, что в ее милой головке не таилось ничего такого, о чем бы она не поведала в долгих ночных разговорах своему мужу. У него не было сомнений, что супруги обсуждали его. Его не высмеивали, но наверняка подшучивали.

Казалось, он слышит, как Кейт произносит: «А знаешь, Джон неравнодушен ко мне!» Конечно, Октавиен знал обо всем, что бы ни произошло. В этой ситуации не таилось никакой опасности. О романе и речи не было. Дьюкейн мог с чистой совестью сказать Джессике, что у него нет любовницы и заводить ее он не собирается. Он даже с инстинктивной предусмотрительностью никогда не упоминал о Кейт при Джессике, а о Джессике при Кейт. Он знал, что Кейт, на этом этапе их знакомства, считает его внутренне свободным, ни с кем не связанным и что это для нее важно. Ирония заключалась в том, что он *был* внутренне свободным. И только теперь, когда его чувства к Кейт стали крепче, он почувствовал острую необходимость избавиться от последнего остатка зависимости.

Теперь, когда появилась Кейт, Джон осознал, и осознал с полной ясностью, что жизнь его изменилась, что теперь он должен как бы отойти от жизни, принять себя как человека уже немолодого, неженатого, и, похоже, таким он уже и останется. Он нуждался во внутреннем покое, он нуждался в доме, и даже… он нуждался в семье. Он знал, что, хотя Кейт не говорила об этом, она тоже отчетливо понимает это. Она выражала это,

да и он рассказывал ей об этом — поцелуями, иногда сдержанными, иногда страстными, которыми они теперь часто и ни с того ни с сего обменивались, улыбкой, когда они смотрели друг другу в глаза, если им случалось остаться наедине. Он знал, что для Кейт такое обладание им только в радость. Для него же их взаимоотношения могут стать болезненными. Да уже и стали. Но он может справиться с этой такой предсказуемой, знакомой болью. Наоборот, боль даже необходима как составляющая часть чего-то по-настоящему хорошего. Великодушие Кейт, постоянное ощущение счастья, даже ее любовь к мужу, может быть, именно любовь к мужу — все это могло служить убежищем для Джона. Ему нравился Октавиен, он уважал его, любил всех детей и особенно Барбару. Он хотел наконец привязаться к кому-то, нуждался в привязанности, в возможности чистой любви, и теперь он ясно понял, что он мог бы привязаться к Кейт, а через нее — к семье и ко всему дому. Но чтобы сделать это с честным и верным сердцем, он должен был покончить, разрешить навсегда запутанные компромиссы с Джессикой, которой лучше бы и вообще в его жизни не было. Кейт никогда не расспрашивала его. Если бы она спросила, он вынужден был

бы сказать правду. И только эта настоятельная необходимость заставляла его, слыша рыдания Джессики за спиной, чувствовать себя убийцей.

Дьюкейн сел в машину. Он сел впереди, рядом со своим шофером. Он чувствовал себя измученным, безумным и нечистым. Он опять уступил, он обнял ее, он обещал увидеться с ней на будущей неделе. Все сызнова.

Чтобы хоть как-то облегчить душу, он сказал шоферу:

— Это ужасно — я имею в виду, какой ужасный день, все идет не так.

Шофер Дьюкейна, шотландец по имени Гевин Файви, на мгновение скосил свои карие глаза в сторону хозяина. Он ничего не ответил. Но что-то в его манере держать руль изменилось и выразило симпатию, как твердое пожатие руки.

Отец Дьюкейна был адвокатом в Глазго, но его дед владел винокуренным заводом и очень успешно вел дело, поэтому у Дьюкейна были деньги. Но единственной экстравагантностью, которую он себе позволил, помимо «бентли», был его слуга. Он знал, что люди, когда узна**ют** об этом, отпускают на его счет шутки и сплетничают. Но Дьюкейн, бывший физически очень неловким — что он приписывал тому, что уродился левшой,

— так и не выучился водить машину и не видел причин, почему бы не позволить себе иметь шофера. У него перебывало их немало, но ни один из них не жил в его доме. Файви, недавно поступивший к нему на службу, был первым опытом в этом отношении и поселился у него.

Файви расположил Дьюкейна в свою пользу двумя особенностями: во-первых, своей внешностью, а во-вторых, тем скрытым от агентства по найму фактом, что он побывал за решеткой. К тому же они оба были шотландцами. Файви даже ходил в ту же начальную школу в Глазго, что и Дьюкейн. Это открытие, с точки зрения так по-разному сложившихся судеб, очаровало Дьюкейна. Он надеялся услышать от Файви что-нибудь о его криминальных подвигах, но пока что он мало знал о прошлом своего слуги, исключая тот факт, что мать Файви, о чем он неожиданно рассказал однажды, «была русалкой». «Русалкой в цирке, вы понимаете», — добавил он своим тягучим шотландским выговором. Дьюкейн не спросил, была ли она настоящей русалкой или поддельной. Он предпочитал этого не знать.

Вид у Файви был очень необычный. У него была необыкновенно большая и косматая голова, что делало его похожим на карнавальную маску,

или иногда Дьюкейну казалось, что он похож на заколдованного кузнеца из «Сна в летнюю ночь». Дьюкейн не мог решить, был ли Файви, при наличии этих особенностей, чудовищным или красивым. Его пышные волосы и длинные висячие усы были красновато-каштанового цвета. Кожа на лице была темно-абрикосовой и покрытой необычайно большими веснушками, так что его широкое веснушчатое лицо напоминало какое-то животное, возможно спаниеля. Его широко расставленные ясные карие глаза слегка косили, и, если бы Дьюкейн не знал, что он шотландец, он принял бы его за славянина. Файви был новым явлением в жизни Дьюкейна, и он и не думал обсуждать своего слугу с кем бы то ни было — тот был объектом его личных размышлений, чем-то вроде хобби. Файви педантично следил за порядком в доме и мог приготовить два-три блюда. Он был молчалив и, судя по всему, одинок и проводил все свободное время в своей комнате, читая женские журналы. Дьюкейна раздражало то, что он постоянно сосал мятные конфетки в машине и напевал якобитские песни с тем же тоскливым видом, с каким выполнял обязанности по дому. Дьюкейну казалось, что Файви не осознает, что поет вслух. Но у него не хватало характера за-

претить ему петь. Он надеялся, что это хотя бы доставляет ему удовольствие.

Родители Дьюкейна умерли, а его единственная близкая родственница, сестра, бывшая замужем, жила в Обане, он ее почти не знал. Дьюкейн изучал историю, а потом и юриспруденцию в Бейллиол-колледже, далее продолжил обучение в Олл-Соулз и получил право адвокатской практики. Но адвокатом он пробыл очень недолго — актерское начало было в нем недостаточно развито, чтобы наслаждаться выступлениями в судах. Его не привлекало юридическое остроумие, с каким разрешались серьезные дела в суде, и он избегал всякого применения власти, считая это вредным для своей души. Во время войны его сразу забрали в разведку, и он, к своему сожалению, провел военные годы в Уайтхолле. Став гражданским человеком, он начал работать юридическим советником в министерстве, которое возглавлял Октавиен. Он удовлетворял и свои научные интересы, добившись известности в качестве эксперта по римскому праву — предмету, по которому он иногда читал лекции в Лондонском колледже. Он был успешным деловым человеком и сознавал, что он — уважаемая фигура. Люди восхищались им и находили его за-

гадочным. Он сохранил и заботливо лелеял образ мыслей и совесть шотландского пуританина. Но в Бога он не верил. Он просто желал вести простую, чистую жизнь и быть хорошим человеком, и это казалось ему реальной и выполнимой задачей.

Когда «бентли» повернул на Уайтхолл, Дьюкейн, с болью думая о Джессике, вдруг почувствовал — и уже не в первый раз — едва ощутимое желание положить руку на плечо Файви. Он заметил, что невольно уже вытянул руку и положил ее на сиденье за спиной шофера. Это прикосновение, внезапно овладевшее его воображением, могло, казалось ему, принести глубокий и целительный покой. Дьюкейн грустно улыбнулся сам себе. Вот еще один из парадоксов жизни. Он убрал руку.

4

— Привет, Октавиен. Ты оставил записку, что хочешь видеть меня.

Дьюкейн заглянул в кабинет Октавиена, приоткрыв дверь. Была суббота, утро, прошел день с тех пор, как Рэдичи покончил с собой.

— Заходи, Джон. У нас проблемы.

В кабинете Октавиена уже сидели Ричард Биран и Джордж Дройзен, в прошлом журналист, а теперь молодой начальник отдела в министерстве.

Дьюкейн вошел, сел и вопросительно посмотрел на Октавиена.

— Видишь ли, — сказал Октавиен, — новости неприятные. Сказать ему, Дройзен, или ты скажешь?

— Скажи ты, — ответил Дройзен.

— Это касается проклятого Рэдичи, — сказал Октавиен.

Дьюкейн вчера узнал о смерти Рэдичи. Он случайно сталкивался с Рэдичи на работе, но почти не был с ним знаком.

— Да?

— Как всегда, пресса уже на стреме. Сначала — пресса, а потом и премьер-министр. Должно же было этому случиться именно в субботу. Как бы то ни было, изложу тебе всю эту историю вкратце. Дройзен вчера навестил своих бывших друзей на Флит-стрит, и ему показалось, что пресса уже знает что-то этакое о Рэдичи.

— Что именно?

— Мы еще не вполне все выяснили. Но ясно, что это — банальная история, по крайней мере, тут замешаны две вполне ожидаемые вещи — женщины и деньги.

— Ты имеешь в виду шантаж?

— Да. Похоже на то. Тут замешана девушка, известная под кличкой Елена Троянская. Думаю, мы легко угадаем ее профессию. И еще говорится о том, что «большая сумма денег перешла из рук в руки». Как тебе нравится эта фраза, Дьюкейн? А? Неплохо: «большая сумма денег перешла из рук в руки».

— В чьи руки? — спросил Дьюкейн.

— Не знаю.

— Они уже опубликовали что-нибудь?

— Нет. Пока нет, это слишком опасно. Дройзен смог разузнать, что одна из больших газет купила эту историю. Наверно, тоже кому-то досталась

немалая сумма! И сейчас они держат ее про запас, ожидая, что будет дальше, а в это время распространяются слухи.

— Ты знаешь, кто снабдил их материалом?

— Нет. Но говорят, кто-то из нашего министерства. Час от часу не легче!

— У Рэдичи был доступ к секретным материалам?

— Ну, неофициально. Но это никого не волнует.

— Органы безопасности уже были?

— Пока нет, я позвонил им, конечно, ведь они всегда хотят быть в курсе. Они только поворчали немного, но премьер-министр уже интересовался этим.

— Он знает об этой истории и о слухах?

– *Что-то* ему известно. Я рассказал ему остальное, это его не обрадовало.

— Ну, еще пока рано чересчур волноваться, — сказал Дьюкейн. — Мы даже не знаем, что, собственно, произошло.

— Нет, но мы зато хорошо знаем, что политиков не интересует справедливость, они заинтересованы только в том, чтобы казалось, что благодаря их дальновидности и бдительности справедливость восторжествовала. Очевидно, на него нажали,

требуя начать официальное расследование.

— Какого рода?

— Это пока еще не ясно, но вот тут-то ты вступаешь в игру.

— Я?

— Да. Ты бы удивился, узнав, какой высокой репутацией пользуешься в верхах. Премьер-министр хочет, чтобы ты вел расследование.

— Какой статус будет у меня? — спросил Дьюкейн.

— Ну слава богу, я рад, что ты спокоен. Я боялся, что ты выйдешь из себя! Строго говоря, у тебя не будет определенного статуса, то есть расследование будет исключительно внутренним. Я сообщу тебе все необходимые сведения, и ты начнешь расследование.

— Полагаю, это надо сделать как можно быстрее.

— Именно. Премьер-министр не хочет, чтобы все это росло, как снежный ком. Если мы сумеем быстро выяснить, что произошло, если вообще произошло, докажем, что это вне интересов органов, то мы сможем избежать официального расследования, которое для премьер-министра так же нежелательно, как и для нас.

— Непросто будет это доказать, — сказал Дью-

кейн. — Если в частной жизни Рэдичи было что-то подозрительное и если пресса о чем-то пронюхает, люди поверят всему. Все же я возьмусь за это. Кажется, у меня и выбора-то нет! Я предполагаю, что речь идет совсем не о том, что Рэдичи шантажировали и поэтому он был вынужден передавать секретные материалы?

— Нет, этого не может быть, — сказал Октавиен. — Вы согласны, вы оба?

— Никто ничего ни о ком не знает, — сказал Биран, — но я бы не стал предполагать, что Рэдичи на это способен.

— Согласен, — сказал Джордж Дройзен, — я знал его неплохо, но исключительно по работе.

— Этого достаточно, — сказал Дьюкейн. — Однако кажется, его *действительно* шантажировали?

— Слухи таковы.

— И он застрелился. Почему он застрелился?

— Именно на работе, — сказал Октавиен. — Это сразу поразило меня, как нечто странное и значительное. Почему он не мог, как порядочный человек, застрелиться дома?

— У него была ужасная депрессия на почве смерти его жены, — сказал Джордж Дройзен. — Помните, она покончила с собой, кажется, выбросилась из окна. Он был совершенно раз-

давлен.

— Что ж, это — возможный мотив, — сказал Дьюкейн. — Он не оставил записки?

— Нет, — сказал Октавиен, — это тоже странно. Он был из тех, кто постоянно пишет отчеты о любой ерунде. Он должен был бы оставить нам отчет о своей собственной смерти! Если бы могли точно выяснить, почему он это сделал, мы могли бы отмести версию, интересующую органы. Кажется, нам надо побольше узнать о Рэдичи. Вы хорошо его знали, Биран?

— Я едва был с ним знаком, — сказал Биран. — Мы однажды встретились на работе и больше не виделись. Нет, я не знал его.

— Я и сам не часто видел его, — сказал Дьюкейн, — но, уверяю вас, история с Еленой Прекрасной кажется мне невероятной. Не такой он был парень.

— С любым парнем может случиться такое, — сказал Биран и хихикнул.

Дьюкейн проигнорировал его.

— Мне кажется, он представлял собой скорее тип чудаковатого ученого. Наш последний разговор с ним был о полтергейстах. У него была теория о том, что они как-то связаны с залеганием подземных вод.

— Он общался с духами, — заметил Дройзен.

— В конце концов, — сказал Октавиен, — спиритизм и магия — все это связано с проблемой пола, всегда так было. Для большинства из нас проблема пола маскируется так или иначе. У него она воплотилась в спиритизме.

Дьюкейн не был уверен, что для большинства из нас проблема пола маскируется. Он не мог не подумать, было ли что-нибудь подобное у Октавиена.

— Есть ли у него близкие родственники? — спросил он.

— Кажется, нет, кроме сестры, которая много лет живет в Канаде.

— Придется мне встретиться с полицейскими, — сказал Дьюкейн, — и посмотреть, что у них есть, но сомневаюсь, что им удалось раскопать что-нибудь. Ты удивишься, Октавиен, что я на короткой ноге с полицией? А вам, Дройзен, было бы лучше сходить на Флит-стрит и разведать, что у них есть и кто сообщил в прессу об этом.

— Назад, в родные пабы! — сказал Дройзен. — Это приятно.

— А ты, Октавиен, напиши, пожалуйста, официальное письмо для меня.

— Я уже набросал его.

— Вставь туда, пожалуйста, что я имею право не раскрывать ту часть полученной информации, которая не связана непосредственно с расследованием.

— Полагаю, тут нет подвоха? — спросил Октавиен с сомнением.

— Конечно нет. В конце концов, мы ведь не интересуемся моралью бедного Рэдичи. Как его имя, кстати?

— Джозеф, — сказал Биран.

— Ты собираешься в Дорсет, Октавиен?

— Конечно! Более того, ты — тоже. Нет нужды приниматься за дело уже сейчас, пока Дройзен не сделает свою часть детективной работы.

— Хорошо. Позвони, как только узнаешь что-нибудь. — Он дал Дройзену номер телефона в Трескомбе. — Ну что ж, пока все, друзья.

Дьюкейн встал, Дройзен тоже. Биран остался сидеть, равнодушно глядя на Октавиена.

Дьюкейн мысленно отругал себя за плохие манеры. Он так привык, что в дружбе с Октавиеном он играл явно верховенствующую роль, что на минуту даже позабыл, в чьем он кабинете и кто проводит совещание. Но главным его чувством в этот момент была враждебность по отношению к Бирану. Однажды, много лет назад, на какой-то

вечеринке в ресторане Дьюкейн случайно услышал слова Бирана о нем. Биран вслух размышлял: гомосексуалист Дьюкейн или нет. Выругав себя за слишком цепкую память, Дьюкейн подумал, что Биран особенно неприятен, когда разражается издевательским смехом.

5

— Как варили яйца в Древней Греции? — спросил Эдвард Биран у своей матери.

— Не имею понятия, — сказала Пола.

— А как по-гречески «крутое яйцо»? — спросила Генриетта.

— Не знаю. Греки иногда упоминают об употреблении яиц в пищу, но я никогда не встречала никаких намеков на то, что их варили.

— Может быть, греки ели их сырыми, — предположила Генриетта.

— Вряд ли, — сказала Пола. — Вспомните, есть ли об этом что-нибудь у Гомера?

Близнецы чуть ли не с младенчества учились греческому и латыни у своей матери, теперь они были вполне продвинутыми классиками. Однако они не могли вспомнить никаких упоминаний о крутых яйцах у Гомера.

— Надо посмотреть у Лиддела и Скотта, — заметила Генриетта.

— Наверно, Вилли знает, — сказал Эдвард.

— Можно нам сегодня положить водоросли в ванну? — спросила Генриетта.

— Спросите об этом лучше у Мэри, — ответила Пола.

— Там внизу письмо для тебя, — сказал Эдвард, — можно мне взять марку?

— Ты свинья! — крикнула Генриетта. Близнецы, делившие между собой все остальное, соперничали из-за марок.

Пола засмеялась. Она как раз собиралась выйти из дома.

— Какая там марка?

— Австралийская.

Темная холодная тень укрыла Полу. Продолжая механически улыбаться и отвечать на детские вопросы, она вышла из комнаты и стала спускаться по лестнице. Разумеется, оно может быть от кого-то другого. Но в Австралии у нее не было других знакомых.

Письма всегда лежали на большом круглом столе из палисандрового дерева, стоявшем в центре холла, на котором всегда валялись газеты и книги, читаемые в данный момент всеми домашними, а также разные принадлежности детских игр. Эдвард забежал вперед и убрал свою «Об охоте на ос», под которой он скрыл письмо, чтобы Генриетта не обнаружила марку. Пола издали увидела на конверте почерк Эрика, его ни

с чьим не спутаешь.

— Можно я возьму ее, мамочка, ну пожалуйста?

— Можно мне будет взять следующую, а потом следующую и еще раз следующую? — кричала Генриетта.

Руки у Полы дрожали. Она быстро надорвала конверт, вынула оттуда письмо и, положив его в карман, отдала конверт сыну. Она вышла на солнечный свет.

Огромная сфера неба и моря — надтреснутая и незамкнутая — накрыла Полу, как холодный свод, и ей стало зябко под солнцем, как в лучах крохотной звездочки. Она наклонила голову, встряхнула ею так, будто сбрасывала покрывало, и ринулась через газон, через луг вдоль боярышниковой изгороди по тропинке к морю. Все в той же солнечной тьме она видела на бегу свои скользящие по лиловатым камням сандалии. Как будто падала в рай моря. Здесь берег круто спускался вниз, и она уселась, пройдя по гремящей гальке к каменному гребню, за ним открывалось море. Оно было спокойно сегодня и почти недвижно, только по временам тихо целовало берег, посылая к нему карликовую волну. Солнце светило прямо в зеленую воду, освещая песчаное дно и

камни на нем, а чуть подальше — пятнистую полосу розово-лиловых водорослей. Поверхность отбрасывала на дно блики и тени, отчего море походило на стекло с пузырьками.

О ее романе с Эриком Сирзом Поле напоминали только приходящие письма. Ее память молчала об этом. Верней, она сохраняла некоторые события и детали своего поведения, которые можно было объяснить только тем, что у нее с Эриком был роман. Но саму любовь она не могла вспомнить. Казалось, она была не только убита, но и навеки выброшена из светлой череды событий жизни, которые она принимала и помнила, уничтожена тем ужасным шоком, который она испытала от той ужасной сцены.

Из-за Эрика Сирза Пола развелась с мужем. Со стремительной жестокостью ревнивца Ричард, чьи многочисленные измены она прощала, развелся с ней из-за этого единственного проступка. Но повод к этому, ее безумная любовь к Эрику, совершенно стерся из ее памяти. Беда и стыд того ужасного времени жили в ней, но как бы отдельно, не ассимилировались, не стали понятными. Она вела себя безумно, она вела себя плохо, и в результате у нее ничего не осталось. Гордость Полы, ее достоинство, ее высокое представление

о себе — всему этому была нанесена ужасная рана, и эта рана еще болела и горела и днем и ночью. Она думала, никто не знает об этом, хотя иногда приходила к мнению, что, конечно, Ричард должен знать.

Ее роман с Эриком (он был очень коротким) теперь казался ей таким мелким и незначительным, что она никак не могла, хотя пыталась, заставить себя понять, что она была его героиней. Будучи крайне снисходительной к другим, к Ричарду хотя бы, Пола считала, что верность в браке исключительно важна. Неверность — недостойна и обычно влечет за собой ложь или, по крайней мере, полуправду и недомолвки. Полу волновало соблюдение того, что можно было бы назвать стильностью в морали. Кто-то сказал о ней не вполне, впрочем, справедливо: «Ей все равно, какие бы ужасы вы ни творили, лишь бы не говорили об этом». Действительно, Пола, уже после развода, почти смогла убедить мужа в том, что ей была ненавистна его ложь о своих похождениях, ненавистна больше, чем сами похождения. И когда она вспоминала о собственном поведении, ее оскорбляло не столько то, что она спала с Эриком, но полуправда, которую она говорила об этом Ричарду, и то, что она играла пошлую, суетливую

роль и позволила вовлечь себя в непонятную ей самой ситуацию и не могла ее контролировать. Она сожалела об этом с неумирающей силой, и только постоянные ухищрения разума мешали этому чувству окончательно отравить ей жизнь.

Что могло бы случиться, если бы не было той ужасной сцены с Ричардом, она не знала. Ричард, возможно, все равно бы развелся с ней, он был вне себя от ярости. Она не допускала мысли, что их любовь с Эриком могла иметь продолжение. Из-за него она потеряла слишком многое. Но действительно и, кажется, мгновенно разрушило ее любовь его полное поражение в драке с Ричардом. Это было несправедливо, но это была несправедливость, рожденная теми глубокими темными силами, которые властвуют над нами в решительные моменты жизни и которых, когда они появляются в нашей жизни, хотя они ничего общего не имеют с моралью, мы иногда признаем богами. Эта сцена преследовала Полу во сне и в ночных кошмарах: искаженное лицо Ричарда, вопли Эрика, кровь, которая, казалось, была повсюду. Конечно, все случившееся они выдали за несчастный случай.

Бедный Эрик. Он знал: темное решение Бога так же хорошо, как Пола, и он подчинился ему. Он

был страшно угнетен стыдом. Когда Пола навестила его в больнице, она поняла, что он не хотел увидеть ее. Расстались они враждебно. Эрик написал, что собирается в Австралию. Из Австралии он написал прощальное письмо и сообщил, что он встретил на пароходе девушку, на которой хочет жениться. Потом прошло почти два года. Пола не думала, что еще услышит об Эрике. Она вообще не хотела знать о его существовании.

Солнце злым блеском сияло на воде. Прищурившись, она развернула письмо.

Моя дорогая,

ты будешь удивлена, что я пишу тебе, а возможно, и не очень. Каким-то образом я знаю, что ты думаешь обо мне. Когда я писал тебе в последний раз, я думал, что собираюсь жениться. Что ж, из этого ничего не вышло. Должен признаться, что я очень страдаю, и это длится уже долго. Я не знал, что такое крайнее страдание может продолжаться так долго. Я пишу, чтобы сказать: приезд сюда был ошибкой. Расставание с тобой было ошибкой. И я решил вернуться домой. Когда ты получишь это письмо, я буду уже на корабле.

Разумеется, мне неизвестно, что могло или не могло случиться с тобой с тех пор, как мы расстались, но интуиция подсказывает мне, что ты не поспешила выйти замуж еще раз. Пола, мы связаны с тобой. К этому выводу я наконец пришел за эти ужасные месяцы беды. Есть вечные узы, ими связывают себя в отделах регистрации или в церквях, а есть вечные узы, связывающие людей другим странным и ужасным путем. Ты понимаешь, что я имею в виду, Пола. Я страдал из-за тебя, я был ранен из-за тебя, и существует пустота, которую только ты можешь заполнить, и боль, которую одна только ты можешь исцелить. Я думал, что смогу перешагнуть через то, что случилось. Я не смог. И я знаю, что ты тоже не можешь. (Я видел целый ряд крайне необычных снов о тебе, между прочим.) Думаю, мы принадлежим друг другу. Мы должны жить с тем, что случилось, мы должны вживить это в свои души, и мы должны это делать вместе. (Как странно устроен человеческий разум. У меня было очень много причин чувствовать се-

бя несчастным, с тех пор как я приехал в Австралию. Люди разочаровали меня, они обманывали меня и тянули вниз. Но что на самом деле причиняло мне боль, было связано только с этим, особым образом – было этим.) Это твой долг передо мной, а я знаю, что ты возвращаешь долги. Ты не можешь быть довольна тем, как ты вела себя по отношению ко мне, когда я был (намеренно употребляю это выражение) почти уничтожен из-за того, что любил тебя. Человек должен осознать свое прошлое, сжиться с ним, примириться с ним. Мы должны исцелить друг друга, мы должны спасти друг друга, Пола, и только мы можем сделать это друг для друга. Я чувствую эхо твоей души глубоко в своем сердце, и я знаю, что говорю правду. Жди меня, молись обо мне, прими меня, о моя дорогая. Я напишу тебе еще раз с корабля. Твой навеки

Эрик.

Пола скомкала письмо. Потом она разорвала его на мелкие кусочки и разбросала по тугой коже воды. Это письмо как будто вызвало Эрика

из небытия, со всеми характерными черточками, которые она, слава богу, забыла, он как будто стоял перед ней, как демон, затемняя яркое море; его искусственное исступление, его мистические утверждения — смесь, которую она когда-то находила трогательной, слабости и угрозы, жестокая хитрость эгоиста. Конечно, она вела себя плохо, в частности бросив его так внезапно. Но она навсегда избавилась от любви к нему и способности помогать ему. Это она знала твердо. И все же было ли это правдой, спросила себя Пола, пытаясь восстановить внутреннее равновесие, может быть, она еще способна помочь ему, должна ли она попытаться? Возможно, он был прав, говоря, что между ними существует все еще какая-то связь. Ее сердце содрогнулось при мысли о том, что может опять увидеть его, она почувствовала тошноту, страх, наводящий слабость. В Эрике было нечто демоническое. Пола никогда не боялась Ричарда, хотя он был способен на насилие. Теперь она понимала, что очень, очень боится Эрика. Это было проявлением любви, о которой она полностью забыла.

6

Этот большой абиссинский кот
Играет на арфе и сладко поет, —

напевал Эдвард, вытаскивая Монроза из корзины, в которую безуспешно пытался спрятаться Минго, напутанный холодным взором кота. Минго забрался в нее. Монроз сбежал от Эдварда на печь и сел там, нахохлившись, как птица.

— Можно нам положить сегодня водоросли в ванну? — спросила Генриетта у Мэри Клоудир.

— Зачем тебе водоросли в ванне? — спросила Мэри.

— Это наш собственный способ вылечиться от ревматизма, — сказал Эдвард.

— У вас нет ревматизма — или есть, Эдвард?

— Нет, это для дяди Тео на самом деле, но мы хотим вначале испытать на себе, не даст ли это токсический эффект.

— В прошлый раз, когда вы положили водоросли в ванну, они забили сливное отверстие, и долго никто не мог ее принимать, — сказала Кейзи, которая только что вошла с корзиной помидоров и салата.

— Мы обещаем, что в этот раз не допустим такого!

— Тогда ладно, — сказала Мэри. — Послушайте, я хочу, чтобы вы все камни вынесли в сад.

Кейт и Дьюкейн прошли мимо кухонной двери; улыбаясь друг другу, они направлялись в холл. Дьюкейн задержался в дверях кухни:

— О, Мэри! Кейт и я собираемся навестить Вилли.

— Хорошо, только не опоздайте к чаю, сегодня особый воскресный чай.

— Как поживает моя маленькая нимфа? — спросил Дьюкейн Барбару, на которую они натолкнулись в дверях.

– *J'aimerais mieux t'avoir dans mon lit que le tonnerre*[3], — сказала чопорно Барбара.

Дьюкейн рассмеялся, протягивая руку, чтобы дернуть ее за волосы, пока она вприпрыжку бежала за ними.

Барбара была такой же круглолицей, как ее мать, у нее были такие же пышные непослушные светлые волосы, только у Кейт волна волос окружала голову, как слегка безумный нимб, а у Барбары они были подстрижены гораздо более

---

[3] Примечания: 3

Лучше уж ты в моей постели, чем гром *(фр.).*

аккуратно и окружали ее голову, как изысканный драгоценный шлем. Цвет лица у нее был детский, розовый и сияющий тем восхитительным сиянием, какое напоминает отблески на боках крепких яблок и которое обычно исчезает у подростков. Длинноногая, в короткой юбке, босая — мелькающие ступни были такими же золотисто-коричневыми, как ее ноги.

— Почему бы тебе не пойти поискать Пирса, — сказала Кейт. — Я видела его около церкви, он показался мне очень одиноким.

Барбара встряхнула головой с видом кланяющегося виртуоза:

— Я должна пойти поупражняться на флейте. Я собираюсь сыграть для Вилли концерт Моцарта.

— Может быть, ты сыграешь и мне концерт Моцарта? — спросил Дьюкейн.

— Нет. Только для Вилли. — Подпрыгивая, она вернулась в дом.

— Как выросло это дитя! — сказал Дьюкейн. — Она ростом с тебя. И почти такая же хорошенькая.

— Дорогой! Боюсь, что Пирс и Барбара не очень-то ладят между собой, с тех пор как она вернулась.

— Ну, ты же понимаешь… Они взрослеют.

— Знаю. Они очень быстро развиваются теперь. Но я все-таки думала, что, когда они растут вместе, как брат и сестра, у них вырабатывается иммунитет.

— Никакого иммунитета против *этого* нет, — сказал Дьюкейн. И, говоря это, понял, что ему совсем не нравится мысль о вовлеченности Барбары в *это.* Он вообще хотел бы, чтобы она не взрослела.

— Но этот бедный парень, — сказала Кейт, возвращаясь к тому, о чем они беседовали раньше. — Почему он сделал это?

Дьюкейн не рассказывал Кейт о расследовании. Хотя он спокойно отнесся к новости о порученном ему Октавиеном задании, он был совсем не рад этому. Это все могло принести одни неприятности. Очень трудно будет быстро выяснить правду, и невозможно доказать, что здесь не замешаны интересы органов. Но дело для Дьюкейна было совсем не в том, что он боялся быть дискредитированным неудачей. Его отталкивала мысль о расследовании личной жизни другого человека. Чем больше он узнавал о Рэдичи, о котором он непрерывно думал с тех пор, как приехал в Дорсет, тем более загадочным и зловещим казался этот человек. Он был уверен, что спиритизм как-

то связан с самоубийством; он подозревал, что если начнет всерьез копать, то может открыть нечто очень неприятное.

— Я не знаю, почему он сделал это, — говорил Дьюкейн. — Он потерял жену. Наверно, в этом дело.

Они уже пересекли лужайку за домом, где росли две акации с листьями, похожими на огромные перья, перешагнули через загородку из веревочек и палочек — явно дело рук близнецов — и пошли между двумя одинаковыми изгородями пышной голубой вероники по тропинке, выложенной морской галькой в прошлом году стараниями Пирса и Барбары. Дьюкейн ласково провел рукой по твердым извивам кустов. В этот момент его ум работал сразу в нескольких направлениях, на нескольких уровнях. На первом уровне, возможно самом высоком, он думал о Вилли Косте, с которым он так недавно познакомился и которого уже давно не видел, потому что в последние два приезда Дьюкейна на выходные Вилли сказал по телефону, что не хочет никого видеть. На другом уровне он взволнованно и нервно думал о Рэдичи и о том, удастся ли Джорджу Дройзену что-нибудь выяснить на Флит-стрит. На третьем уровне, или третьим участком мозга, он с печалью вспоминал

свою слабость, проявленную в конце последней встречи с Джессикой, и тревожно размышлял, как же ему все-таки разрешить эту проблему на следующей неделе.

Все же сегодня он гораздо спокойнее думал об истории с Джессикой. Как правило, Дьюкейн не верил, что боги совершат чудо, чтобы помочь ему выпутаться из его безумных переделок, но сегодня его беспокойство по поводу Джессики стало слегка туманным, облако легкого оптимизма окутало его. Так или иначе, все обернется совсем неплохо. Может быть, потому, что еще одним участком мозга он ощущал чистую, сильную радость от присутствия Кейт, от близости их тел, которыми они иногда, неловко и дружески, случайно касались друг друга во время ходьбы, и оттого, что он лелеял мысль о том, что поцелует ее, когда они дойдут до прибрежного леса.

В его сознании присутствовал еще один, далеко не самый нижний, уровень, хотя сформулировать его было бы нелегко, это — ощущение всего, что окружало их: причастность природе, подстриженным извилистым кустам вероники, сферическому дереву катальпы с огромными листьями, к розовым, нагретым солнцем кирпичам стены, сквозь арку которой они сейчас проходи-

ли. Эти кирпичи с осыпавшимися краями были так стары и изъедены временем, что они казались естественным нагромождением красных камней, которыми прежде играло море. Все в Дорсете какое-то округленное, думал Дьюкейн: маленькие холмы, кирпичи, тисовые деревья, растущие около изгороди, и кусты вероники, и катальпа, и заросли бамбука по обеим сторонам арки. Он подумал: все в Дорсете соразмерно. Эта мысль принесла ему огромное удовлетворение и послала всем отделам и уровням мозга волну теплых и успокаивающих частиц. Так он шел в смятенном облаке своих мыслей рядом с Кейт, чья саморегулирующаяся и самозащитная химия служит главным условием умственного здоровья.

Сейчас они шли по узкой тропинке, зажатой между двумя холмами, поросшими цветущей белыми цветами крапивой, мелким ивняком, которые выползали из породившего их высокого желтого мха и на солнцепеке казались такими сухими и пыльными, что почти уже не походили на растения. Кукушка куковала в лесу — холодно, ясно, отрывисто, опустошенно, безумно. Кейт взяла Дьюкейна за руку.

— Я подумала, что не хочу идти с тобой к Вилли,

— сказала Кейт. — У него довольно подавленное настроение последнее время, и было бы лучше, если бы ты один навестил его. Не думаю, что он способен покончить с собой, как ты считаешь, Джон?

Вилли Кост часто заявлял о том, что жизнь стала невыносимым бременем для него и что скоро он оборвет ее.

— Я не знаю, — сказал Дьюкейн.

Он чувствовал, что мог бы больше сделать для Вилли. Большинство людей, знавших Вилли, ощущали то же самое, но он был из тех, которым помочь непросто. Дьюкейн впервые встретил Вилли, когда тот был ученым, специализировавшимся в области классических языков, он жил на пенсию, выплачиваемую правительством Германии, и работал над изданием Проперция. Они познакомились на ученом собрании в Лондоне, Дьюкейн читал там на довольно редкую тему доклад о понятии «specificatio» в римском праве. Он был ответственен за то, что уговорил Вилли отказаться от сиделки в Фулхэме и переехать в коттедж в Трескомбе. Он часто сомневался, правильно ли сделал. Он предполагал поместить друга в семейную обстановку. Но на самом деле Вилли ухитрился остаться в том же одиночестве.

— Если бы он всерьез помышлял о самоубийстве, вряд ли он пускал бы к себе так охотно детей, — сказала Кейт. Вилли часто отказывался принять взрослых, а дети приходили к нему, когда им только заблагорассудится.

— Да, ты, полагаю, права. Интересно, работает ли он на самом деле, когда отказывается пустить нас?

— Или просто размышляет и вспоминает? Страшно подумать.

— У меня никогда не было предрасположенности к самоубийству, а у тебя, Кейт?

— Слава богу, нет! Для меня жизнь всегда была такой забавной.

— Трудно людям, как мы, со здоровым, нормальным умом, — сказал Дьюкейн, — представить себе больной внутренний мир человека, похожий на ад.

— Понимаю. Воспоминания, которые его мучают по ночам.

Вилли Кост во время войны был в Дахау.

— Я бы хотел, чтобы Тео почаще навещал его, — сказал Дьюкейн.

— Тео! Да он сам совсем сломлен. Он сам сгусток нервов. *Ты* должен почаще навещать Вилли. Ты умеешь разговорить людей и советуешь, что им

предпринять. Большинство из нас не решается.

— Звучит устрашающе! — сказал Дьюкейн и засмеялся.

— Серьезно. Я уверена, что Вилли стало бы легче, если бы он попытался рассказать кому-нибудь о том, что происходило в лагере. Я думаю, он никому не сказал ни слова об этом.

— Сомневаюсь, что ты права. Невозможно даже представить себе, насколько это может быть трудно, — сказал Дьюкейн. Но та же самая мысль посещала его уже не раз.

— Нужно примириться с прошлым, — сказала Кейт.

— Когда кто-то перенес столько несправедливости и горя, сколько Вилли, — ответил Дьюкейн, — это может быть очень трудным.

— Невозможно простить?

— Конечно, невозможно простить. Невозможно избавиться от этого, перестать думать об этом.

Воображение Дьюкейна напрасно пыталось представить себе, что это такое — быть таким человеком, как Вилли Кост.

— Мне казалось, что Мэри умиротворяюще на него действует, — сказала Кейт. — Она знает его лучше всех, если не считать тебя, разумеется. Но она говорит, что он никогда не рассказывал

ей об этом.

Дьюкейн думал: мы почти дошли до леса, почти дошли до леса. Первые тени деревьев коснулись их, из леса неслось безумное похотливое кукованье.

— Давай посидим здесь немного, — сказала Кейт.

Серый голый ствол упавшего дерева лежал перед ними. С обеих его сторон свешивались ветви, а на них — охапки темно-золотых буковых листьев. Они сели на него, шурша ногами по высохшим листьям, и повернулись лицом друг к другу.

Кейт взяла Дьюкейна за плечи, пристально вглядываясь в него.

Дьюкейн глядел в слоистую, пятнистую, напряженную, темную голубизну ее глаз. Они оба вздохнули. Потом она прильнула к нему в долгом поцелуе. Дьюкейн закрыл глаза и, уже отстраняясь от ее крепкого поцелуя, тесно прижал ее к себе, чувствуя проволочный отпечаток ее эластичных волос на своей щеке… Некоторое время они не двигались.

— О боже, ты заставляешь меня чувствовать себя счастливой, — сказала Кейт.

— И ты меня делаешь счастливым. — Он слег-

ка отодвинулся от нее, улыбаясь ей, чувствуя спокойствие и свободу, желая ее, но при этом не испытывая мучения, глядя на темный ковер леса позади нее, а солнце светило на них через множество полупрозрачных листьев.

— Сейчас ты еще больше похож на герцога Веллингтонского, чем обычно. Мне нравится эта седая прядь справа, у тебя на лбу. Все правильно, Джон, правда?

— Да, — сказал он торжественно. — Да. Я много думал об этом и пришел к выводу, что все правильно.

— Октавиен — ну, ты знаешь чувства Октавиена. Ты все понимаешь.

— Октавиен очень счастливый человек.

— Да, Октавиен счастлив. Но это относительно, ты же знаешь.

— Я знаю. Дорогая Кейт, я одинок, а ты великодушна. И мы оба очень разумны. Значит, все будет хорошо.

— Я знала, что так будет, Джон, я только хотела это услышать от тебя. Я так счастлива. Ты уверен, что все это не будет мучить тебя, печалить, ну, ты понимаешь?…

— Конечно, мне будет больно, — сказал он, — но я сумею справиться с этой болью. И потом я так

счастлив.

— Да. Нельзя жить без боли, нельзя всегда быть довольным. Правда? Мы с тобой так много значим друг для друга. Любовь — вот что имеет значение. Кроме этого, ничто не имеет значения.

— Входите, — сказал Вилли Кост.

Дьюкейн вошел в коттедж.

Вилли сидел, раскинувшись в кресле у очага, его каблуки покоились на груде серой золы. Позади него граммофон играл медленную часть чего-то. Дьюкейну казалось, что граммофон Вилли всегда играет что-нибудь медленное. Звук сразу раздражил Дьюкейна, немузыкального до такой степени, что он решительно не выносил сладких звуков. Он входил в коттедж, будучи в высоком и напряженном душевном состоянии. Гармония, порожденная сценой с Кейт, совершенное понимание, которого они так быстро достигли, мешали ему мгновенно сосредоточиться на проблемах Вилли. Музыка казалась ему чужеродным присутствием.

Вилли, знавший, как Дьюкейн относится к музыке, встал и, подняв ручку звукоснимателя, выключил прибор.

— Извини, Вилли.

— Все в порядке, — сказал Вилли. — Садись.

Хочешь чего-нибудь? Чаю?

Вилли, прихрамывая, вышел в маленькую кухню, откуда донеслось шипение и потом урчание масляной плитки. В главной комнате коттеджа царили книги — некоторые стояли на полках, другие лежали еще в ящиках. Кейт, не признававшая существования без обширной личной территории, заполненной значимыми предметами, постоянно жаловалась, что Вилли так и не распаковал свои вещи. Она прощала ему то, что, когда она предлагала помочь распаковаться, по его телу проходила легкая дрожь.

Большой стол был завален текстами и записными книжками. Здесь, по крайней мере, было важное для хозяина место. Дьюкейн притронулся к открытым страницам, делая вид, что заглядывает в них. Он чувствовал легкое смущение, как всегда в присутствии Вилли.

— Ну, как движется, Вилли?

— Что движется?

— Ну, жизнь, работа.

Вилли, вернувшись в комнату, оперся о спинку стула, рассматривая гостя с любопытствующей отстраненностью. Вилли был небольшого роста, с тонкими чертами лица, с длинным, узким, извилистым ртом, который всегда казался влаж-

ным и дрожащим. На голове — большая копна длинных седых волос, темная, слегка блестящая и маслянистая кожа, сардонические узкие карие глаза. Коричневая бархатная родинка на щеке придавала ему забавную пикантность.

— День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.

Дьюкейн ободряюще улыбнулся:

— Славно!

— Славно? Извините меня, я принесу чай.

Он вернулся с чайным подносом. Дьюкейн взял чашку и стал бродить с ней по комнате. Вилли с большим стаканом молока опять уселся в кресло.

— В *этом* я тебе завидую, — сказал Дьюкейн. Он указал на стол.

— Неправда.

И действительно, он не завидовал. Всегда, когда они встречались после перерыва, какое-то время, продолжительное или не очень, Дьюкейн смущался, льстил. Он теперь покровительствовал Вилли, и они оба знали об этом. Этот барьер, воздвигнутый между ними спонтанной, как будто бы автоматической лестью и покровительством, Вилли мог бы легко разрушить своей прямотой, если бы у него хватило на это энергии. Иногда

она была у него. А иногда нет, и тогда он апатично сидел, пока Дьюкейн боролся с неловкостью, порождаемой их встречей. Дьюкейн и сам мог бы победить эту автоматическую фальшь, но это требовало не только времени, но и определенной серьезности и внимания. С Вилли всегда было трудно.

— Есть такие вещи, которым я завидую, — сказал Дьюкейн. — Возможно, я хотел бы быть поэтом.

— Сомневаюсь, что ты когда-нибудь этого хотел, — сказал Вилли. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Видимо, сегодня он был не в духе.

— Жить стихами, что может быть лучше, — сказал Дьюкейн. — Увы, я пробавляюсь совсем другим.

Он прочел наугад строки из открытой книги:

> *Quare, dum licet, inter nos laetemut amantes:*
>
> *Non satis est ullo tempore longus amor*[4].

При этих словах Проперция он ясно увидел Кейт, будто она стояла перед ним сейчас, особен-

---

[4] Примечания: 4

Будем радоваться, любящие, друг другу, пока возможно, Долгой, увы, никогда не бывает любовь (лат.).

но при слове «amor», которое звучало гораздо сильнее мелодичного итальянского «amore». Он увидел шелковистую мягкость ее плеч, которыми он так часто любовался по вечерам. Он никогда не ласкал ее обнаженные плечи. Amor.

— Слова, слова, слова, — сказал Вилли. — И у Проперция были свои клише. В подобных этим строках он говорит как во сне. Люди часто, впрочем, говорят будто во сне, даже великие поэты, — добавил он. — Единственная *amor*, в которой я что-то понимаю, это *amor fati*[5].

— Проявление чистейшей порочности ума, как по мне.

— Ты так полагаешь?

— Порочно ли любить судьбу? Да. То, что случается, зачастую не должно было бы случаться. Как же можно любить это?

— Конечно, судьбу нельзя мыслить как нечто имеющее цель, — сказал Вилли, — ее нужно мыслить как механическое начало.

— Но она совсем не механистична! — сказал Дьюкейн. — Мы не механизмы.

— Нет ничего более механического, чем мы. Вот почему нас можно простить.

---

[5] Примечания: 5
Любовь к року (судьбе) *(лат.).*

— Кто сказал, что мы можем быть прощены? Во всяком случае, любовь к судьбе не имеет к этому отношения.

— Это, конечно, трудно. Даже невозможно. Можно ли от нас требовать невозможного? Не понимаю, почему бы и нет.

— Подчиниться року, но не любить его. Чтобы его любить, нужно быть пьяным.

— А пьяным быть не нужно?

— Конечно нет.

— Предположим, опьянение — единственный способ продолжить существование.

— О, прекрати, Вилли! — сказал Дьюкейн.

Подобные речи Вилли порой пугали его. Он никогда не был уверен, говорит ли Вилли то, что думает, или имеет в виду прямо противоположное тому, что говорит. Он чувствовал, что его используют, что Вилли использует его как твердую нейтральную поверхность, о которую давит, как насекомых, мысли, терзающие его. Подобно сбитому с толку свидетелю на суде, он боялся, что его подводят к тому, чтобы высказать некое разрушительное, фатальное признание. Он чувствовал себя одновременно и беспомощным и ответственным. Он сказал:

— Есть и другие способы, чтобы продолжать

существование.

— Даже без Бога!

— Да.

— Я не понимаю зачем? — сказал Вилли.

Дьюкейн чувствовал, что между ними разверзается бездна, разделяющая умственно здоровых от умственных калек.

— Но ты ведь *работаешь?* — сказал Дьюкейн. Он понимал, что опять впадает в покровительственный тон. Он боялся непонятной направленности мыслей Вилли и опасался, что в такие моменты Вилли хочет, чтобы он неразумно произнес последний приговор отчаяния.

— Нет!

— Ну брось! — Дьюкейн знал, что Вилли ожидал этого визита. Он знал также, что этот визит делал Вилли еще более несчастным. Так уже случалось прежде. Действительно, так часто случалось, несмотря на выдумку, разделяемую всеми, в том числе и обоими протагонистами, что Дьюкейн необыкновенно «хорошо влияет» на Вилли.

Дьюкейн думал: если бы я не был скованным пуританином, я мог бы сейчас притронуться к нему, взять за руку, например.

— Што это сначит? — спросил Вилли, внимательно наблюдая за другом. Он выговорил

этот вопрос очень старательно, комически подчеркивая свой иностранный акцент. Это был ритуальный вопрос.

Дьюкейн засмеялся. Какое-то течение унесло его далеко от Вилли, делая его еще более отдаленным и непонятным.

— О, я просто беспокоюсь о тебе.

— Не надо, Джон. Расскажи мне о своих делах. Расскажи мне о жизни в твоей знаменитой «конторе». Знаешь, я никогда не был в таких местах, где так много людей проводят свою жизнь. Расскажи мне о службе.

Перед мысленным взором Дьюкейна предстал призрак Рэдичи, как почти ощутимое присутствие. А вместе с ним явился тайно и забавный страх, который он чувствовал раньше. Он знал, что не должен рассказывать Вилли о Рэдичи. Самоубийство — заразно, это — одна из причин, почему его нельзя совершать. Он чувствовал, кроме того, что в этом есть зерно безумия, даже зла, которое не должно приближаться к хрупкой организации души Вилли, хрупкой настолько, что даже трудно себе представить, до какой степени.

Он сказал:

— На службе очень скучно. Тебе повезло, что ты вне этого.

Он сказал себе: «Нужно напомнить другим, чтобы они не упоминали о Рэдичи при Вилли». Он подумал: если Вилли совершит самоубийство, я себе этого не прощу. Я бы думал, что это — моя вина. Но он был беспомощен. Что он мог сделать? Разве что уговорить Вилли рассказать о прошлом.

Он неожиданно сказал:

— Ты хорошо спишь последнее время?

— Да. Прекрасно, но кукушка будит меня в полпятого.

— Не снятся плохие сны?

Они смотрели друг на друга: Вилли, по-прежнему развалясь в кресле, а Дьюкейн с чашкой чая в руках. Вилли улыбался медленной, довольно лукавой улыбкой, а потом стал тихонько насвистывать.

Послышался резкий стук в дверь, а потом она распахнулась, и ворвались близнецы и сразу заговорили.

— Мы вам кое-что принесли! — кричал Эдвард.

— Вы никогда не угадаете что! — кричала Генриетта.

Они подбежали к Вилли и положили ему на колени какой-то легкий мягкий округлый предмет.

— Что бы это могло быть? Как ты думаешь,

Джон?

Дьюкейн наклонился, чтобы рассмотреть вытянутый шар глухого зеленого цвета, несколько дюймов длиной, который Вилли с любопытством трогал рукой.

— Я думаю, что-то вроде птичьего гнезда, — сказал он. Он почувствовал себя *de trop*, помехой, лишним в сцене, разыгрываемой соучастниками, ритма которой он уловить не мог.

— Это гнездо долгохвостой синицы, — крикнул Эдвард.

— Они выкармливали в нем своих деток, — без умолку трещала Генриетта. — Мы следили, как они строили гнездо и потом выкармливали птенцов, а теперь они улетели. Разве не прекрасное гнездо? Видите, снаружи оно из мха и лишайника, смотрите, как они сплетены воедино, а внутри все выстлано пухом.

— Можно насчитать больше двух тысяч перьев в гнезде длиннохвостой синицы! — завопил Эдвард.

— Оно очень красивое, — сказал Вилли. — Спасибо, близнецы! — Он смотрел на Дьюкейна через гнездо, которое легко держал в руках. — До свиданья, Джон. Спасибо, что навестил.

— Гадкая ворона хотела выгнать их, — объ-

ясняла Генриетта. — Но они оказались такими храбрыми…

Вилли и Дьюкейн улыбнулись друг другу. Улыбка Дьюкейна была иронической и печальной. Вилли улыбнулся, как бы извиняясь и с такой глубокой печалью, которую Дьюкейн не мог измерить. Попрощавшись, Дьюкейн повернулся к дверям.

Вилли крикнул ему вслед:

— Я в порядке, ты знаешь! Скажи всем, что я в порядке.

Дьюкейн шагал по луговой скошенной тропинке в пятнистую тень букового леса. Когда он подошел к гладкому серому стволу, на котором он обнимал Кейт, он не присел на него. Он постоял неподвижно несколько мгновений, а потом встал на колени в шуршащие сухие листья, положив руки на теплое дерево. Он не думал о Вилли, ему не было жаль Вилли. Ему было бесконечно жаль самого себя, потому что ему не дано силы, которая рождается из страдания и боли. Он хотел бы молиться о себе, призвать на себя страдание из хаоса мира. Но он не мог верить в Бога, а такое страдание, которое порождает мудрость, нельзя назвать, и нельзя, не совершая богохульства, молиться о даровании его.

7

— Мы *ни разу* не спели наш купальный гимн с тех пор, как ты вернулась, — пожаловалась Генриетта Барбаре.

— Ну так давай пой.

— Нет, мы должны петь вчетвером, иначе не считается.

— Я его забыла, — сказала Барбара.

— Я тебе не верю, — сказал Пирс.

Барбара вытянулась всем телом на плюще. Пирс стоял поодаль, слегка склонившись к могильному камню, с которого он энергично отковыривал ногтем желтый лишайник.

— Вот вы втроем идите и, ради бога, купайтесь, — сказала Барбара. — Я не пойду. Мне очень лень.

— Минго страшно жарко, — сказал Эдвард. — Почему собаки не чувствуют, что лучше лежать в тени?

Минго, тяжело дыша, лежал на плюще у ног Барбары, время от времени она голой ступней толкала и переворачивала его похожее на овечье туловище. Услышав свое имя, он скосил глаза,

слегка поднял свой толстый, как сосиска, хвост и затем медленно уронил его.

— Мне жарко даже смотреть на него, — сказала Генриетта. — Хоть бы дождь пошел.

— Так иди с ним, — сказал Пирс, — окуни его в море.

— Идите охотиться за летающими тарелками, — сказала Барбара.

— Мы правда видели одну, видели!

— Ты идешь, Пирс? — спросил Эдвард.

— Нет, вы идите искупайтесь, надоели уже.

– *Никто* не хочет купаться теперь! — чуть не со слезами сказала Генриетта.

— Пирс, ты сердишься! — предостерегающе крикнул Эдвард. Быть сердитым традиционно считалось у них серьезным проступком.

— Нет, не сержусь. Извини.

— Может быть, и вправду не стоит купаться, — сказала Генриетта Эдварду. — Давай лучше играть в «Бобровый городок».

— Нет, я хочу купаться, — заявил Эдвард.

— Идите вдвоем, — сказал Пирс. — Может быть, я скоро присоединюсь к вам. Идите. Не будьте дураками.

— Минго, идем, мальчик, — сказал Эдвард.

Минго довольно неохотно поднялся. Его косма-

тая серая мордочка как бы по обязанности улыбалась, но он слишком исстрадался от жары, чтобы вертеть хвостом, который так и висел безвольно, когда он пошел за близнецами, переставляя свои большие мягкие лапы по пружинистому плющу.

Недалеко, примерно в четверти мили от заброшенного кладбища, стояло здание. Вместе с шестиугольной церковью с зеленым куполом, пустым и запертым на замок храмом бога геометрии, оно было когда-то свидетелем веселого восемнадцатого века, от коего ныне остались только пирамидки. Старое кладбище сползало по холму к морю, а за ним можно было разглядеть затененные деревьями или пойманные случайным солнечным лучом в складках круглых гор выцветшие прямоугольные фасады домов, где жили когда-то канувшие в Лету обитатели. Если они еще оставались там, то это были очень тихие и вежливые привидения. Здесь же они охраняли прошлое от вторжения, став бестелесными, но вполне ощутимыми в реальных снах реальных людей. Задрапированные урны и обелиски, изысканно усеченные колонны, украшенные ангелочками, с надписями, начертанными с божественной ясностью и чувством пропорции, — все это дрожало сейчас в голубовато-белом

сиянии при ярком солнце, колеблясь между присутствием и отсутствием, превращаясь почти в галлюцинацию, как это бывает в некоторых греческих археологических заповедниках.

Но при всей своей компактности место не было похоже на некогда обитаемое селение. Это было некое нагромождение, несколько легкомысленно брошенное Богом на месте, куда он собирался вернуться, но впоследствии полностью позабыл об этом, — настороженный неразборчивый образец нечеловеческого искусства. Здесь было ощущение речи, как будто бы что-то говорилось, но, как в уличном театре, слова сразу же поглощались воздухом. Действительно, природа с почти зловещей жестокостью возобладала над церковным двором, она как будто нарочно стремилась парализовать, размыть, сделать неразличимым присутствие слишком чутких сновидцев. Очень плотный мелколистный плющ разросся по всей этой местности, покрыв целиком маленькие камни, взбираясь по тонким обломкам других, образуя между могилами сплошную пружинящую поверхность, которая казалась ковром, лежащим на земле.

Оттуда, где сейчас были Пирс и Барбара, с вершины кладбищенского холма, можно бы-

ло видеть тонкий серый шпиль трескомбской приходской церкви. Он возвышался среди деревьев, указывая на местонахождение деревни, на милю к востоку, но крыша Трескомб-хауса была едва различима на западе под сенью старых тисов, которые то наклонялись, то выпрямлялись, крепкий морской ветер трепал и ласкал их. Впереди виднелся изгиб пощипанной овцами травы, переходящий в усеянный камнями луг, он граничил с берегом. Близнецы уже достигли дальнего конца луга, шаг их замедлился на камнях. Им приходилось часто останавливаться и вытряхивать гальку из сандалий. Минго, видимо, избавился от летаргии, и его резкий, взволнованный лай (Эдвард называл его «морским» лаем) разносился далеко. Минго, хотя и был опытным пловцом-энтузиастом, всякий раз заново приходил в изумление при виде водной стихии. Чуть дальше виднелась фигура дяди Тео, шедшего очень медленно, с опущенной головой. Когда дядя Тео выходил на прогулку, он всегда смотрел на свои ноги, как бы восхищаясь их правильными движениями. В стороне от дяди Тео бродили чужие, приезжающие на выходные люди, которых дети называли «местными». К счастью, это место побережья посещали немногие не только потому,

что здесь был каменистый берег, но и потому, что глубина начиналась внезапно — и это в сочетании с сильными течениями делало купание опасным. Понежившись на мягком плюще, Барбара теперь растянулась на солнце. Она сбросила сандалии, а ее белое льняное платье в мелкий зеленый цветочек задралось, когда она упала в темную зеленую траву, обнажив загорелое бедро. Ее широко открытые глаза казались текучими и ускользающими.

Пирс, стоявший к ней спиной, яростно сдирал плющ с одного из небольших надгробий, чтобы очистить барельеф, изображающий парусник.

— Значит, ты думаешь — я лгу? — спросила Барбара, помолчав.

— Не верю, что ты забыла купальный гимн. Ты бы не смогла.

— Почему бы и нет? Из Швейцарии все здешнее кажется таким далеким.

— Это место важнее Швейцарии.

— Кто это сказал?

— Ты плакала, когда уезжала отсюда.

— Теперь я выросла. Я плачу теперь, только когда мне скучно. Мне с тобой скучно. Почему бы тебе не пойти купаться или еще куда-нибудь.

— Не хочу. Разве что вместе с тобой.

— Почему ты все время таскаешься за мной? Почему ты не можешь чем-нибудь заняться сам по себе? Почему ты вообще здесь, если на то пошло. Предполагалось, что ты будешь кататься на яхте с Пембер-Смитами.

— Черт побери этих Пембер-Смитов!

— Почему ты злишься?

— Я не злюсь.

— Ну и не кричи.

— Я не кричу.

Пирс сидел на плюще, прислонившись спиной к могильному камню. Ему хотелось положить голову на светло-коричневые ноги Барбары чуть повыше колен и громко зарыдать. Ему хотелось еще разрушить что-нибудь, все, может быть самого себя. Он навалился всем телом на плющ, погрузив руки глубоко в него, борясь с сопротивлением жилистых нижних ветвей.

Сделав над собой усилие, он сказал:

— Что-то не так у нас с тобой, Барби. Наверно, это просто проблемы пола?

— Может быть, у тебя с этим проблемы. А у меня все в порядке.

— Еще бы, ты уже достаточно взрослая, чтобы флиртовать с Джоном Дьюкейном!

— Я не говорила, что недостаточно взрослая

для чего угодно. И я не флиртую с Джоном Дьюкейном. Мы просто с ним подружились.

— Только посмотри, как ты задрала юбку.

— Я ее не задирала. Просто мне все равно — здесь ты или нет.

— Ты стала маленькой важной персоной, да?

— Я всегда была маленькой важной персоной.

— Хочешь посмотреть гнездо сойки, Барби?

— Нет, ты мне уже три раза говорил об этом гнезде.

— А ты мне уже пять раз рассказывала о своем посещении Шильонского замка.

— Тебе я не рассказывала. Я говорила об этом другим людям. А ты просто слушал. *Que tu es bête*[6], Пирс!

— Можешь не выпендриваться своим французским передо мной, на меня это не производит впечатления.

— Для меня это *естественно.* Я не выпендриваюсь, я говорю на этом языке месяцами.

— Не кричи на меня. Ладно, я ухожу. Сейчас отлив. Я пойду искупаюсь в Гуннаровой пещере. Я собираюсь заплыть *вовнутр*ь Гуннаровой пещеры.

---

[6] Примечания: 6
Как ты глуп *(фр.).*

Гуннарова пещера занимала первое место в детской мифологии. Она находилась в основании скалы прямо в море, и у нее была репутация пещеры контрабандистов, вход в нее открывался очень ненадолго, только во время отлива. Мэри Клоудир, с ее живым и мрачным воображением, сразу представив себе попадание в ловушку и утопление, давным-давно уже запретила детям заплывать в пещеру. Барбара и близнецы, и без того боявшиеся пещеры, повиновались. Пирс, который очень боялся пещеры, иногда ослушивался ее. Он несколько раз заплывал туда во время отлива, и хотя он не нащупал внутри ничего сухого, ему казалось, что она уходит вверх, в скалу. А если это так, то даже во время прилива там должна была находиться еще одна пещера, недостижимая для воды, — чудесное потайное место для контрабандистов. Пирс не видел другой возможности узнать это, как залезть внутрь пещеры, вскарабкаться как можно выше и ждать, что произойдет. Конечно, если он ошибся и прилив полностью затопит пещеру, тогда он утонет, но это видение хотя и ужасало Пирса, но и странным образом возбуждало. Особенно с тех пор, как Барбара вернулась, он постоянно думал о пещере, представляя ее темноту как род высшего испы-

тания, где найденные сокровища и смерть от утопления соединяются в звенящем водовороте божественной потери сознания. Но все это было лишь в его фантазиях. В реальности он делал только робкие и короткие попытки исследовать пещеру: ненадолго заплывал в ее пасть и сразу же выплывал оттуда, задолго до того, как прилив затопит вход, который открывался только на сорок минут.

— Ладно, иди, если хочется, — сказала Барбара. — Только, я думаю, глупо делать то, чего боишься. Это признак невротизма.

— Я не боюсь, мне интересно. Это пещера контрабандистов. Я бы хотел узнать, не осталось ли там чего-нибудь.

— Откуда тебе *знать*, что это пещера контрабандистов? Ты даже не *знаешь*, кем был Гуннар, контрабандистом или кем-то еще. Может быть, его вообще не существовало. Это не то что римляне. Гуннар — выдумка.

— Римляне! Ха-ха! Помнишь римскую монету, что ты нашла в бассейне?

— Да.

— Так вот, на самом деле ты вовсе и не нашла ее… Я подбросил ее туда, чтобы ты нашла. Я ее купил у одного парня из школы.

Барбара села и одернула платье. Она смотрела на Пирса.

— Мне мерзко то, что ты рассказал мне об этом сейчас! Ненавистно!

Пирс встал. Он пробормотал:

— Ладно, я сделал это, чтобы порадовать тебя.

— А сейчас ты говоришь, чтобы сделать мне больно.

Что случилось с нами, думал Пирс. Ведь нам было так хорошо когда-то.

С мягким пушистым звуком Монроз вдруг материализовался на вершине надгробия с парусником и, подобрав лапки, превратился в шерстяной шар, глядя на Барбару надменными узкими глазами. Пирс схватил кота на руки и, вдохнув запах одеколона Барбары, еще остававшийся на его шерсти, кинул кота Барбаре на колени.

Он сказал:

— Я виноват, Барбара, не сердись на меня.

Барбара повернулась и, стоя на коленях во мху, прижала Монроза к своему лицу. Пирс встал на колени напротив нее и, вытянув палец, коснулся ее обнаженного колена. Они в замешательстве смотрели друг на друга, почти со страхом.

— Я тоже виновата, — сказала она. — Думаешь,

мы стали плохими?

— Что значит — плохими?

— Ну, знаешь, когда я была моложе, я читала в газетах и книгах о мерзких, по-настоящему плохих людях. Но при этом я чувствовала себя хорошей и невинной, я чувствовала, что эти люди совсем другие, чем я, и что я никогда не стану плохой и не буду вести себя всерьез плохо, как они. Ты чувствуешь то же самое?

— Я не знаю, — сказал Пирс, — я думаю, мальчики всегда больше знают о плохом. — Но он не был уверен.

— Хорошо, — сказала Барбара, — боюсь, что все оказывается гораздо сложнее, чем я предполагала.

— Октавиен, дорогой, ты *никогда* не ляжешь спать?

— Сейчас иду, дорогая. Слышишь, сова!

— Да, как мило. Между прочим, Мэри решила арендовать пони для Барбары.

— Хорошо. Кейт, дорогая, зубная паста кончилась.

— Там новый тюбик на столике. Не споткнись о карты и путеводители.

— Дорогая, я думаю, у нас не получится поехать в Ангкор.

— Знаю. Я уже передумала насчет Ангкора. Я решила, что хочу в Самарканд.

— А ты знаешь, дорогая, что это в Советском Союзе?

— Неужели? Что ж, они нас не съедят.

— Там будет очень жарко.

— Самарканд у моря?

— Нет. Боюсь, что нет. Не поехать ли нам лучше на море?

— Да. Мы, вообще-то, думали о Родосе, конечно…

— Надо расспросить Полу о Родосе. Помнишь, она ездила туда в круиз. Между прочим, что такое с Полой? Мне кажется, она выглядит ужасно подавленной и взволнованной.

— О, это просто конец учебного года. Она так ответственно относится к экзаменам.

— Дьюкейн навестил Вилли, да?

— Да, Дьюкейн видел его, а потом и Мэри тоже.

— Вилли в порядке?

— С ним все прекрасно. Он сказал Мэри, что Дьюкейн сильно взбодрил его.

— Дьюкейн так мил.

— Он такой *хороший…*

— Для Вилли он точно хороший.

— Он для всех нас хороший. Октавиен…

— Да, дорогая?

— Я целовалась с Дьюкейном в буковом лесу.

— Как тебе повезло! Ему понравилось?

— Он был очень *мил.*

— Не влюбляй его в себя слишком, дорогая. Я имею в виду, это может причинить боль.

— Нет, ему не будет больно. Я слежу за ним.

— Он очень умен на самом деле, и к тому же он очень порядочный человек.

— Да. Забавно, что он никогда не был женат.

— Не нужно строить по этому поводу догадки.

— Не знаю. Не думаешь ли ты, что он педик, хотя бы на бессознательном уровне? Я никогда не слышала ни о каких его связях с женщинами.

— Это потому, что он дьявольски скрытен, он как устрица.

— Да. Он как устрица. Ты знаешь, он мне так и не рассказал, что ему поручили это расследование.

— Он очень нервничает по этому поводу.

— Тем более меня сердит, что он не рассказал мне! Кстати, он думает, нам лучше не рассказывать Вилли об этом бедном парне, как бишь его зовут, Рэдичи.

— Он совершенно прав. Мне не приходило в голову.

— Он думает обо всем. Рэдичи ведь не мог быть шпионом или кем-то в этом роде?

— Конечно нет. Я предполагаю, что Джона нервирует мысль о копании в чужой жизни.

— А я нашла бы это увлекательным!

— Кажется, это пугает его. Он боится, что откроет нечто… странное.

— В сексуальном смысле?

— Да. Он же старый пуританин, ты знаешь.

— Знаю, и меня это приводит в восторг. Как ты думаешь, он думает о том, чем *мы* занимаемся?

— Он об этом вообще не думает.

— Октавиен, поторопись. Я уверена, что Дьюкейн теперь мне все расскажет, я имею в виду — насчет женщин, о своем прошлом. Он *расскажет* теперь.

— Ты собираешься расспрашивать его?

— Да, я не боюсь Дьюкейна.

— Думаешь, я боюсь? Что ж, может быть, в некотором роде. Мне невыносима мысль, что этот человек может плохо подумать обо мне.

— Да, мне тоже. Тебе не кажется все же подозрительным, что он завел слугу?

— Нет, не кажется. Дьюкейн не гомосексуалист.

— Октавиен, ты когда-нибудь видел этого слу-

гу?

— Нет.

— Я спрошу Дьюкейна об этом слуге тоже. Он не способен лгать.

— Он способен смутиться.

— Да, тогда я попробую *разузнать* об этом слуге. Я зайду, когда Дьюкейна не будет дома, и посмотрю на него.

— Кейт, милая, неужели ты действительно думаешь…

— Нет, нет, конечно. Дьюкейн безупречен. Это в нем и восхищает.

— Безупречен? Этого нельзя сказать ни об одном человеке.

— Безупречен. Вот почему он неуязвим.

— И ты неуязвима. И я.

— Дорогой Октавиен, как мне нравится, что мы все друг другу рассказываем.

— Мне тоже.

— Бог в небесах, и на земле благоволение. Иди спать, дорогой.

— Сейчас приду.

— Дорогой, ты такой кругленький…

— Ты готова, дорогая?

— Да, я готова. О, дорогой, *угадай*, что Барби привезла в качестве подарка для дома — она

прячет его для твоего дня рожденья.

— Что?

— Часы с кукушкой!

8

Дьюкейн через стол смотрел на Макграта, учрежденческого курьера, сидевшего напротив.

Шелковым голосом Дьюкейн спросил:

— Я получил информацию, заставляющую меня заподозрить, что вы, мистер Макграт, были связаны с недавней продажей прессе непристойной истории, касающейся мистера Рэдичи.

Дьюкейн ждал. В комнате было жарко. За окном приглушенно шумел Лондон. Маленькая беззвучная муха резко спикировала на руку Дьюкейна.

Светло-голубые глаза Макграта пристально смотрели в лицо Дьюкейна. Потом Макграт отвел глаза и закатил их, будто делая упражнение. Потом несколько раз моргнул. Он опять посмотрел на Дьюкейна и доверчиво и робко улыбнулся.

— Ну-у, сэр, я думаю, это уже вышло наружу, правда, — сказал Макграт.

Дьюкейна раздражал неопределенный шотландский выговор, не дававший возможности определить, из какой именно местности он происходит, и цветовая гамма, присущая этому человеку. Мужчина не имеет права иметь такие

рыжие волосы и белую кожу, и такие бледно-водянистые голубые глаза и, в довершение всего, такой сладкий розовый рот. Макграт был воплощением дурного вкуса.

— Я хочу получить некоторую информацию от вас, мистер Макграт, — сказал Дьюкейн, торопливо, с видом делового человека роясь в бумагах и стряхивая приставучую муху. — Прежде всего, я хочу знать, в чем заключается эта история, которую вы продали, а затем я задам вам еще несколько дополнительных вопросов.

— Меня выпрут? — спросил Макграт.

Дьюкейн колебался. Конечно, увольнение Макграта было делом решенным. Однако в данный момент Дьюкейн нуждался в его сотрудничестве. Он ответил:

— Я этим не занимаюсь, мистер Макграт. Начальство, несомненно, сообщит вам, если срок вашей работы здесь истек.

Макграт положил руки, слегка поросшие рыжеватыми волосами, на стол и наклонился вперед. Он доверительно сказал:

— Готов биться об заклад, что меня турнут. Будете спорить?

Дьюкейн теперь понял, что у него интонации кокни.

— Я бы хотел иметь копию той истории, мистер Макграт. Можете ли вы снабдить меня ею?

Макграт откинулся назад. Он поднял брови со слегка испытующим видом. Брови были чуть рыжеваты и почти незаметны на его лице.

— У меня нет копии, — сказал он.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал Дьюкейн.

— Клянусь, у меня не было копии, сэр. Я же не записывал эту историю. Да и не больно-то ловок я в писании. Вы же знаете этих журналюг. Я просто рассказывал, а они записывали. Потом они перечитали это мне вслух, и я подписал. Сам я ничего не писал.

Это наверняка правда, подумал Дьюкейн.

— Сколько они вам заплатили?

Бледное лицо Макграта стало плоским.

— Финансовые дела — это личное дело человека. Сэр, можно…

— Я бы советовал вам немного снизить тон, мистер Макграт, — сказал Дьюкейн. — Вы поступили крайне безответственно, и у вас могут быть серьезные неприятности. Почему вы продали эту историю?

— Ну, видите ли, такой джентльмен, как вы, сэр, даже не подозревает, что значит нуждаться в

самом необходимом, сэр. Я продал ради денег, сэр, и я этого не стесняюсь. Я просто оказался первым, сэр, и вы на моем месте поступили бы так же.

Наглый парень, думал Дьюкейн, и, кажется, законченный негодяй. Хотя Дьюкейн полностью не осознавал этого, но в огромной степени его адвокатской карьере помешало то, что ему не хватало способности представить внутренние мотивы подлости, на которую он сам не был способен. Его воображение, проникая в мир зла, просто преувеличивало его собственные проступки. Поэтому его суждение о Макграте как о «совершенном негодяе» было беспомощным и абстрактным. Дьюкейн не мог представить себе, что это значит — быть вот таким Макгратом. Полная непроницаемость для него такого рода подлости, как ни странно, сделала Макграта более интересным в его глазах и даже более симпатичным.

— Хорошо. Вы продали это ради денег. А сейчас, мистер Макграт, я хочу, чтобы вы рассказали мне как можно более подробно то, что вы уже передали прессе о мистере Рэдичи.

Макграт опять закатил глаза, стараясь тянуть время. Он сказал:

— Я уже плохо помню…

— Вы думаете, я поверю вам, — сказал Дьюкейн.

— Продолжайте. Нам нужно знать все как можно скорей. И если вы мне поможете, я тоже смогу помочь вам.

— Ладно, — сказал Макграт, в первый раз несколько разволновавшись, — ладно…

Потом он сказал:

— Мне нравился мистер Рэдичи, сэр, да, нравился…

Дьюкейн ощутил вспышку интереса. Он почувствовал себя ближе к Макграту, как тореро, который смог притронуться к быку…

— Вы хорошо его знали? — спросил Дьюкейн мягко.

Ему часто приходилось допрашивать людей, и ему хорошо было знакомо это ощущение — как будто в тихой комнате прядется паутина симпатии, заглушающей недоверие. Дьюкейн чувствовал себя слегка виноватым в том, что умел хорошо это делать. Уметь «разговорить» человека не просто, дело не в том, что́ ты говоришь, и даже не в том, как ты это говоришь, для этого надо обладать талантом, который вырастает из интуиции и почти физически ощущаемых телепатических эманаций.

— Да, — сказал Макграт. Он положил руки на стол и рассматривал их. Его руки были удиви-

тельно чистыми. Муха села на руку, но он не стряхивал ее. Макграт и муха смотрели друг на друга. — По мне, он был очень милым господином. Я помогал ему кое в чем. Вне работы.

— В чем? — спросил Дьюкейн.

— Ну, ему нужно было кое-что для занятий магией. Я часто приходил к нему домой в Илинг.

— Вы хотите сказать, что приносили ему какие-то предметы, необходимые для магических ритуалов?

— Да, он был чудной человек, этот мистер Рэдичи. Безобидный, вроде лунатика. Он все знал о разных магических штуках, об ее истории, обо всем таком. Вы никогда не видели таких толстых книжек, какие у него были. Он был настоящий волшебник, он много знал.

— Что же вы ему приносили?

— О, разное. Никогда не догадаешься, что ему понадобится в следующий раз. Однажды ему нужны были перья, белые перья. И всякие травы и масла. Я обычно брал их в магазинах здорового питания. А иногда ему требовались птицы, мелкие животные, мышки к примеру.

— Живые?

— Да, сэр. Я их покупал в зоомагазине. Там меня в чем-то заподозрили в конце концов.

Дрожь прошла по телу Дьюкейна.

— Продолжайте, — сказал он.

— А кое-что он сам добывал — дикие растения, паслен и всякое такое. Он хотел научить меня распознавать их, чтобы я мог поехать за город и накопать для него, но мне не хотелось.

— Почему?

— Я не люблю сельскую местность, — сказал Макграт. Он добавил: — Мне было довольно страшно, я боюсь этих растений, когда они растут. В магазине — другое дело, понимаете…

— Понимаю. Мистер Рэдичи действительно *верил* в ритуалы?

— О господи, да, — сказал Макграт сокрушенным тоном. — Он же не просто так для забавы этим занимался. Он умел с этим справляться. Я имею в виду, это работало…

— Работало?

— Ну, я не знаю, меня там не было, но мистер Рэдичи — очень странный человек. Можно сказать, человек, обладавший сверхъестественной силой. Забавная атмосфера была у него в доме.

— Есть ли у вас подлинные свидетельства его сверхъестественных способностей? Или вы просто чувствовали нечто?

— Нет, свидетельств у меня нет, просто чув-

ствовал…

— Могу себе это представить. Где вы впервые встретили мистера Рэдичи?

— Здесь, в конторе, сэр.

— Понимаю. Он платил вам за все мелкие поручения, которые вы для него выполняли?

— Ну да, платил, но очень мало порой…

— Ясно. Вы видели миссис Рэдичи?

— Мельком. Она держалась особняком, сэр, я только здоровался и прощался с ней…

— Она не возражала против ваших посещений?

— О нет, сэр. Она знала обо всем этом. Очень веселая леди, очень расположенная ко всем и вежливая.

— Как вы думаете, у них с мистером Рэдичи все было хорошо?

— Я бы сказал, он ее обожал. Я никогда не видел, чтобы человек так страдал, как он после ее смерти. Он даже на несколько месяцев магию забросил.

— Миссис Рэдичи не волновалась по поводу его занятий магией?

— Я не замечал, сэр, чтобы она из-за чего-то волновалась, разве, может быть, из-за девушек. Слегка.

— Девушек?

— Да, знаете, для магии нужны девушки.

Ну наконец-то, подумал Дьюкейн. Он слегка задрожал, комната тихо вибрировала от электрических животных эманаций.

— Да, я понимаю, что для многих магических ритуалов необходимы девушки, порой девственницы. Можете вы мне об этом рассказать?

— О *девственницах* мне ничего не известно, — сказал Макграт со слегка безумным смешком.

Рэдичи восхищал его, подумал Дьюкейн. В смехе Макграта звучало сумасшедшее обожание.

— Кто были эти девушки, которых мистер Рэдичи, как бы сказать, использовал? Вы их знаете?

— Иногда видел, да, — сказал Макграт. Он стал осторожней. Качнул рукой, чтобы спугнуть упорную муху. Он смотрел на Дьюкейна, двигая бесцветными бровями. — Они были уличные девки, но я их видел только мельком, понимаете.

— Как вы думаете, зачем они были ему нужны? — спросил Дьюкейн. Он поймал себя на том, что подбадривающе улыбается Макграту, почти как заговорщик. Предмет беседы помимо их воли создал уютную мужскую атмосферу.

— Что он с ними делал? — ответил Макграт, улыбаясь в ответ. — Ну, я не знаю на самом деле,

хотя я пытался подглядеть пару раз, но только через окно. Мне было любопытно, понимаете. Вам бы тоже было любопытно, сэр.

— Думаю, да, — сказал Дьюкейн.

— Он не делал с ними того, что обычно с ними проделывают, он был очень странный парень. Однажды девушка лежала на столе, а на животе у нее стояла серебряная чаша. Одежды на ней не было, понимаете.

Дьюкейн подумал — черная месса.

— Девушки приходили все вместе или поодиночке?

— По одной, сэр, зараз. Но на случай, когда ему нужно, а не может прийти ни та, ни другая, ни третья, у него их было четыре постоянных. Раз в неделю, по воскресеньям, а иногда и чаще.

— Что вы еще видели?

— Нельзя сказать — *видел.* Но кругом лежали разные странные вещи.

— Какие, например?

— Ну, кнуты, кинжалы, такое все. Но я никогда не видел, чтобы он применял их к девицам.

— Понимаю, — сказал Дьюкейн. — Теперь расскажите мне о Елене Троянской.

— Елена Троянская? — Белое лицо Макграта внезапно порозовело. Он убрал руки со стола.

— Такой не знаю.

— Бросьте. Бросьте, Макграт, — сказал Дьюкейн. — Мы знаем, что вы упомянули о ком-то с таким именем, когда говорили с журналистами.

— А, Елена *Троянская?* — сказал Макграт, как бы только сейчас поняв, о ком идет речь. — Да, была одна молодая леди, которую так называли. Она была одна из этих девиц.

— Почему же вы только что сказали, что не слышали о такой?

— Я не расслышал вопрос как следует.

— Хм. Хорошо, расскажите о ней.

— Нечего рассказывать, — сказал Макграт. — Я об этих девицах толком и не знал. Я с ними ни разу не встретился. Просто однажды услышал это имя, и оно застряло в голове.

Он лжет, думал Дьюкейн. Что-то тут кроется. Он спросил:

— Вы знаете имена этих девушек и где их можно найти? Полиция может ими заинтересоваться.

– *Полиция?* — Лицо Макграта сморщилось, будто он вот-вот заплачет.

— Да, — сказал Дьюкейн успокаивающе. — Конечно, это просто формальность. Они могут понадобиться следствию.

Это было неправдой. С полицией уже дого-

ворились о том, что дознание, которое должно состояться завтра, не будет вторгаться в «странные аспекты» образа жизни покойного.

— Нет, я не знаю их имен и где они живут, — пробормотал Макграт. — Я с *ними* никак не был связан.

Он больше об этом мне ничего не скажет, думал Дьюкейн.

— Видите ли, мистер Макграт, я слышал, что в проданной вами истории говорилось о шантаже. Не будете ли вы так любезны просветить меня, о чем шла речь?

Лицо Макграта опять порозовело, это придавало ему просто младенческий вид.

— Шантаж? — сказал он. — Я ничего не говорил о шантаже. Я не говорил ни слова об этом.

— Слова не важны, — сказал Дьюкейн. — Важна суть. Некоторая сумма перешла в другие руки, не так ли?

— Я ничего не знаю об этом, — сказал Макграт. — Ребята из газеты говорили об этом, это была их идея, правда.

— Но они не могли просто придумать это. Вы должны были что-то сказать им.

— Они заговорили об этом, — сказал Макграт, — они *первые.* А я сказал им, что мне ничего об

этом не известно, совершенно точно.

— И все же вы что-то знали или догадывались о чем-то? О чем?

— Мистер Рэдичи однажды сказал что-то такое, но я плохо понял его. Я говорил ребятам…

— Что он сказал?

— Дайте вспомнить, — сказал Макграт. Теперь он открыто смотрел в лицо Дьюкейну. — Он мне сказал, дайте вспомнить, что кто-то требует у него денег. Но он не сказал кто и вообще больше об этом не говорил ни слова. А может быть, я не понял его как следует и теперь вижу, что не надо было об этом говорить, но эти ребята так пристали, будто это самое главное во всей этой истории.

Он лжет, подумал Дьюкейн. По крайней мере, насчет Рэдичи. Вдруг с внезапной ясностью к нему пришло подозрение: шантажистом был сам Макграт. Может быть, и правда, что газетчикам удалось выжать из него намек на шантаж. Тут алчность победила шотландскую хитрость Макграта. Он, несомненно, воображал, что выйдет сухим из воды. Неумелый мошенник, подумал Дьюкейн.

— Я предполагаю, вы думали, что вам все сойдет с рук, мистер Макграт? — спросил Дьюкейн,

приятно улыбаясь. — То есть вы были уверены, что мы не узнаем, кто продал газетам всю эту историю?

Макграт посмотрел на него с облегчением и даже громко вздохнул.

— Ребята из газеты говорили, что никто не прознает.

— Ребята из газеты что угодно скажут, — ответил Дьюкейн, — если они хотят от вас что-то узнать.

— В следующий раз буду знать, — сказал Макграт, — я имею в виду…

Они оба рассмеялись.

— Должен ли я понимать, мистер Макграт, что вы мне рассказали в основном то же самое, что и газетчикам?

— Да, сэр, хотя, конечно, они так все переиначили, когда записывали, но больше я им ничего не говорил.

— Вы ничего не утаили, мистер Макграт? Я бы вам не советовал этого делать, скоро все материалы будут у нас в руках. Вы уверены, что вам нечего больше сказать мне?

— Нет, больше ничего, сэр. — Макграт помолчал. Потом он сказал: — Вы, наверно, плохо думаете обо мне, сэр. Да и выглядит это плохо,

конечно, — продавать историю о джентльмене, который только что умер, тем более сам убил себя. Но мне нужны деньги, понимаете, сэр. Дело совсем не в том, что мне, предположим, не нравился мистер Рэдичи, в этом не было ничего личного. Он был очень добр ко мне — мистер Рэдичи, и я действительно любил его. Я бы хотел, чтобы вы понимали это. Сэр, я очень любил мистера Рэдичи.

— Я понимаю это, — сказал Дьюкейн. — Я думаю, пока все, в настоящий момент. Больше я вас не задерживаю.

— В настоящий момент, — повторил Макграт. Он встал. — Вы захотите еще раз поговорить со мной, сэр?

— Возможно, — сказал Дьюкейн. — А возможно, и нет.

— Нужно ли мне прийти на дознание, сэр?

— Думаю, вы там не нужны.

— Меня погонят отсюда, да, сэр? Я работал здесь больше десяти лет. И что будет тогда с пенсией? Что будет со мной, если…

— Это решать начальству, — сказал Дьюкейн. — Хорошего дня, мистер Макграт.

Макграт не хотел уходить. Беседа породила странную теплоту, почти интимность, и Макграт

хотел, чтобы Дьюкейн успокоил его. Он также хотел разузнать у Дьюкейна, насколько сурово расценят его поведение, но никак не мог найти нужных слов. Он стоял, глядя вниз, открывая и закрывая свой розовый, почти как у котенка, рот.

— До свиданья, — сказал Дьюкейн.

— Спасибо, сэр, большое спасибо, сэр, — сказал Макграт. Он повернулся и медленно вышел. Маленькая муха не отставала от него.

Так, так, так, сказал про себя Дьюкейн, откидываясь в кресле. Возможно, Макграт сказал ему правду о Рэдичи и, конечно, девушки были главной сенсацией, проданной им газетчикам. Здесь было из чего сделать сенсацию. Макграт явно утаил нечто об одной из девушек, Елене Троянской, но, скорей всего, он и газетам рассказал о ней далеко не все. Макграт мог просто упомянуть ее в разговоре с журналистами, потому что, как он сказал Дьюкейну, его поразило ее *nom de guerre*[7], и он упомянул его как колоритную деталь. И конечно, утаенное могло быть вполне безобидным, как, например, он мог скрыть, скажем, свое увлечение именно этой девушкой. Но это могло быть и чем-то важным. Беда в том, подумал Дьюкейн,

---

[7] Примечания: 7
Прозвище *(фр.)*.

что хотя я сказал ему, что скоро все материалы будут в нашем распоряжении, но может случиться иначе. В нынешней ситуации газета может заупрямиться и не передать их нам.

Насчет шантажа Дьюкейн колебался. Во время беседы он пришел к выводу, что Макграт сам был шантажистом или одним из них. Теперь эта идея не казалась ему такой бесспорной. Возможно, Макграт был способен на шантаж, но, думал Дьюкейн, только на мелкий. Дьюкейн мог вообразить, как Макграт, ухмыляясь, намекает Рэдичи, что его траты в магазинах гораздо больше, чем на самом деле. И он мог представить, что Рэдичи, несколько удивившись, платит ему больше. И он вполне допускал, что после гибели курицы, несшей золотые яйца, Макграт мог попытаться извлечь из этого выгоду. Но он не мог допустить, что Макграт требовал от Рэдичи огромные суммы. Макграт для этого был слишком слаб и не казался до такой степени подлым. Возможно, он действительно любил Рэдичи и по-своему восхищался им. Но если Макграт требовал только небольшие суммы, это вряд ли могло бы послужить Рэдичи мотивом для самоубийства. Значит, был кто-то еще, настоящий шантажист за спиной Макграта?

Дьюкейн напомнил себе, что целью расследования было выяснить, пострадали ли интересы государства в этом деле. Поскольку у Рэдичи официально доступа к секретным документам не было, то простой факт, что он позволил себя шантажировать и, возможно, его действительно шантажировали, не вызвал бы такого интереса, если бы его самоубийство не осталось необъяснимым. Если Рэдичи *ex hypothesi*[8] уговорили достать и передать секретные материалы и если он боялся разоблачения, и даже если не боялся, все равно это могло послужить достаточным мотивом для самоубийства. С другой стороны, не было ни малейших доказательств, что Рэдичи на самом деле занимался такими вещами: он не был близко знаком ни с кем, кто мог бы передать ему секреты, а те, кто знал его хорошо, считали, что такое поведение ему несвойственно, и Дьюкейн готов был согласиться с ними. Конечно, никто не знает, на что был готов пойти Рэдичи, чтобы утаить нечто, может быть, нечто такое, о чем Макграт не рассказывал и представления не имел, но тогда надо допустить, что был другой и более важный шантажист. Но Дьюкейн не мог серьезно

---

[8] Примечания: 8
Гипотетически *(лат.)*.

полагать, что Рэдичи стал шпионом. Что-то другое крылось во всем этом. Он думал: моя главная задача состоит в том, чтобы выяснить, почему он убил себя. И ему казалось: причина может оказаться ужасно простой, он мог это сделать просто из-за жены. А если это ужасно просто, то это ужасно трудно доказать!

Всем казалось, что мистер и миссис Рэдичи были преданы друг другу, и было достаточно свидетельств тому, что брак их был счастливым. Мотив действительно мог быть здесь. Как мистер Рэдичи мог сочетать это с его общением с «девицами», Дьюкейн просто не мог себе представить, но, впрочем, теперь, когда ему приоткрылась мистерия жизни супружеских пар, он понял, что для этих необыкновенных организмов практически нет ничего невозможного. Миссис Рэдичи вполне могла терпимо относиться к девушкам. Макграт говорил о ней как о «веселой леди», и это не противоречило другим свидетельствам. Макграта, конечно, следует допросить еще раз, и более жестко и методично. Это было только первое знакомство. Не будет слишком трудной задачей, думал Дьюкейн, расколоть Макграта, если припугнуть его по-настоящему. Но Дьюкейн не хотел этого делать прежде, чем узнает — удастся

ли уговорить газету отдать его историю. Уладить это деликатное дело было поручено Джорджу Дройзену.

Тут Дьюкейн начал думать о Джессике. Связь мыслей была следующей. Невозможно быть адвокатом и не представлять себя на месте судьи, воображение Дьюкейна часто предпринимало этот полет. Однако — и это было главной причиной окончательного отвращения к судебным делам — ему было противно «судить». Он близко знал судей, с которыми приходилось работать, и он пришел к заключению, что ни одно человеческое существо недостойно быть судьей. В теории судья просто представляет власть и беспристрастность закона, он лишь орудие закона. На практике, из-за расплывчатости законов и несовершенства самого судьи, тот пользуется в значительной мере своей персональной властью, которую может мудро применять или нет. Умом Дьюкейн понимал, что существуют справедливые суды, и что английские законы в целом хороши, и что английские судьи — хорошие судьи. Но он отвергал конфронтацию между заключенным на скамье подсудимых и судьей, одетым как король или папа, возвышающимся над ним. Его иррациональная душа, видя надмен-

ность судей, изнемогала и говорила, что так быть не должно; она говорила это тем более страстно, что в глубине души что-то в Дьюкейне хотело быть судьей.

Дьюкейн знал — знал и наполовину винил себя. Наполовину злился на себя за то, что, подслушивая свой внутренний голос, в иные моменты он говорил: «Я — единственный из всех людей достаточно добр, достаточно смиренен, чтобы быть судьей». Дьюкейн был способен не только представлять себя стремящимся быть судьей, но и считал себя действительно справедливым человеком и справедливым судьей. Он не знал, как справиться с подобными наваждениями. Иногда он толковал их, с тех пор как отринул реальную возможность стать судьей, как безвредный идеализм. Иногда он думал, что они самые разрушительные стремления в его жизни.

Дьюкейн испытал на себе, таким странным для него образом представляя себя судьей, один из самых больших парадоксов морали, хотя до конца и неясный ему, а именно: для того чтобы стать хорошим, достаточно представить, что ты — хороший, а такое представление как раз и будет помехой в реальном самоусовершенствовании, потому что продиктовано тайным самодоволь-

ством или иной, еще более зловредной заразой, возникающей, когда неверно трактуют понятие добра. Чтобы стать хорошим, необходимо мыслить добродетель, хотя нерефлектирующие простые люди могут достигнуть совершенства не мысля. Дьюкейн, во всяком случае, был в высшей степени рефлектирующим и с самого детства сознательно поставил себе цель стать хорошим человеком, и хотя демонического в его природе было немного, но все же в нем жил дьявол гордости, жесткий кальвинистский шотландский дьявол, который был способен довести Дьюкейна до окончательной погибели, и Дьюкейн прекрасно знал это.

Эта метафизическая дилемма часто представлялась ему не в ясной концептуальной форме, а скорее как атмосфера, ощущение смятенной вины, почти сексуальная по сути и отнюдь не неприятная. Если бы Дьюкейн не перестал верить в Бога еще в пятнадцать лет, порвав с суровым шотландским протестантизмом, в котором был воспитан, то он бы истово и постоянно молился, чтобы отогнать это ощущение. Но когда оно нападало на него, он выносил это мрачно, как будто бы с крепко закрытыми глазами, стараясь, чтобы оно оставило его в покое. Это чувство естественно

приходило всегда, когда он должен был применять власть, особенно официальную власть, над другим человеком, и сейчас оно проявилось во время допроса Макграта.

Дьюкейн с печалью осознавал, что укоры совести из-за его поведения с Джессикой только частично порождались горечью разрыва, его больше угнетало то, что запутавшийся любовник Джессики, несомненно, не был хорошим человеком. На самом деле Дьюкейн давно решил, что не должен заводить романы, и его интрижка с Джессикой — он это ясно видел теперь — была типичным примером того, как человек, стремясь к добру, творит зло. Однако он полагал, что прошлое надо сурово судить только по одной причине — ради совершенствования в будущем. При создавшейся запутанной ситуации что было бы правильным? Может ли он, поддаваясь собственному гадкому представлению, пытаться быть судьей, справедливым судьей в деле Джессики? Как отделить себя от этого, как осудить ошибку, если ты сам и есть эта ошибка? Мысли Дьюкейна запутались от вторжения знакомого обвиняющего голоса, который сообщил ему, что он всего лишь стремится упростить свою жизнь, чтобы совесть была чиста, — или еще грубее — он просто

хочет освободить место для гораздо более значительных отношений с Кейт. И все же неужели не ясно, что он должен, не важно какими мотивами руководствуясь, окончательно порвать с Джессикой и больше ее не видеть? Бедная Джессика, о боже, думал он, бедная Джессика.

— Можно к вам на минутку?

Мысли Дьюкейна прервал голос Ричарда Бирана, просунувшего голову в дверь.

— Заходите, заходите, — сказал Дьюкейн любезно, чувствуя легкую мгновенную судорогу внезапной враждебности, которая пробегала по его телу всякий раз при виде Бирана.

Биран вошел и сел напротив Дьюкейна. Дьюкейн посмотрел на умное лицо своего посетителя. У Бирана было длинное, красивое, слегка страдающее интеллигентное лицо, к тому же удлиненное прической — жесткие проволочные волосы плохо укладывались, топорщась гребнем. Его бесформенный рот был изогнутым и довольно подвижным. Его высокий педантичный голос физически беспокоил, он как бы заставлял предметы вокруг себя вибрировать и стремиться к погибели. Дьюкейн мог представить, что он должен был нравиться женщинам.

— Дройзен рассказал мне о Макграте, — сказал

Биран. — Интересно, виделись ли вы с этим грешником и удалось ли что-нибудь вытянуть, если это не слишком прямой вопрос?

Дьюкейн не видел причин воздерживаться от обсуждения этого дела с Бираном, который, в конце концов, присутствовал при начале драмы. Он ответил:

— Да, я виделся с ним. Он кое-что рассказал мне. У меня сложилось первое представление обо всем этом.

— О, что же вы вытянули из него?

— Он говорит, что делал покупки для магических занятий Рэдичи. Он говорит, что в магических обрядах участвовали голые девушки. Видимо, то же самое, с небольшими прикрасами, он сообщил и прессе.

— А удалось выяснить что-нибудь о девушках?

— Пока нет. Макграт сказал, что он о них ничего не знает, чему я не верю.

— Хм. А что насчет шантажа?

— Не знаю, — сказал Дьюкейн. — Мне кажется возможным, что Макграт сам потихоньку шантажировал Рэдичи. Но это не важно. Тут что-то еще. Тут кто-то еще.

— Кто-то еще? — спросил Биран. — Не понимаю почему. Это просто ваша догадка? Мне кажется,

вы уже собрали достаточно сведений, чтобы объяснить все.

— Не сходится что-то. Почему Рэдичи убил себя? И почему не оставил записки? И почему сделал это на рабочем месте? Я не могу не чувствовать во всем этом какой-то смысл.

— Мог бы сделать это в другом месте, бедняга! Интересно, что вы думаете — Макграт мог шантажировать его? В этом, может быть, и причина?

— Я так не думаю. Но я скоро узнаю.

— Очень самоуверенно звучит. Есть ли еще зацепка?

Дьюкейн вдруг почувствовал, что надо быть осторожней. Его беспокоило то, что Биран сидел напротив него в кресле, из которого еще не испарился полностью образ многоцветного Макграта. К нему опять вернулось тревожное чувство смешанного отвращения и стремления быть судьей, которое причинил ему допрос Макграта. А над Бираном у Дьюкейна не было власти. Биран не был заключенным на скамье подсудимых.

Он почувствовал желание мистифицировать своего посетителя. Он ответил:

— Да, одна-две ниточки есть. Посмотрим, посмотрим.

Сейчас он физически ощущал смятение от

своей старой неприязни к Бирану. Он должен наконец забыть о его издевательском смехе. Он сам часто шутил над беззащитными людьми, просто так. Надутое и уязвленное «я» должно прекратить докучать наконец. Он вспомнил о военных заслугах Бирана. Вот и еще один повод для зависти, еще один источник его абсолютно бессмысленной неприязни. Пока Дьюкейн смотрел на Бирана, собиравшегося уходить, в пыльном солнечном кабинетном свете он вдруг прямо перед глазами увидел Полу и близнецов, как он в последний раз видел их на пляже в Дорсете. Дьюкейну никогда не приходило в голову — он ведь любил Полу и восхищался ею — сомневаться, что Биран был виновником их развода. Он слышал, как Биран говорит о женщинах. Но то, что он чувствовал сейчас, следя за тем, как посетитель уходит, было больше чем жалость: у этого человека была такая жена, как Пола, такие дети, как близнецы, и он добровольно и навсегда потерял их.

9

— Делай что хочешь, — говорила Джессика, — только не говори слова «никогда». Я умираю от этого слова.

Джон Дьюкейн молчал с несчастным видом. Его робкий затравленный вид превратил его в другого человека, в незнакомца.

— Я просто не понимаю, — сказала Джессика. — Должен быть какой-то выход, *должен* быть. *Думай*, Джон, *думай*, ради Христа.

— Нет иного выхода, — пробормотал он, — нет.

Он стоял у окна в ярком солнечном свете, съежившись от боли, несчастье, физически жуткое и странное, как будто покрыло его тело струпьями. Он медленно поворачивал голову — туда-сюда, без всякого смысла, как животное, пытающееся освободиться под непосильным ярмом. Он бросил быстрый враждебный взгляд на Джессику и сказал:

— О господи.

— Ты хочешь, чтобы я сама помогла тебе разорвать со мной, — сказала Джессика. — Но я не могу. С таким же успехом я могла бы попытаться

перестать дышать, чтобы умереть.

— Мое бедное дитя, — сказал он тихо, — не борись, не борись.

— Я не борюсь. Я просто хочу остаться в живых.

— Все так ужасно запуталось, Джессика…

— Может, в тебе что-то запуталось. Я не изменилась. Джон, почему ты не можешь *объяснить*? Зачем ты это делаешь? Мы не можем продолжать жить в такой внутренней неразберихе. У нас нет никакой основы, стабильности, обычности. Мы живем чувствами и просто съедаем друг друга. И это разрушительно для тебя. Ты не обо мне думаешь, Джон, — сказала она, — я знаю это. Ты думаешь о себе. Что же касается обычности, почему мы должны быть обычными? Мы — необычные люди.

— Я имею в виду, что мы не можем сосуществовать, как прежде. Мы не женаты, и мы не друзья. Ничего не выходит, Джессика, это плохая ситуация.

— Она была такой последнее время, но все придет в норму, если ты перестанешь дергаться.

— Нужно все упростить. Человек должен упрощать свою жизнь.

— Не понимаю почему. Ведь жизнь вообще не

проста.

— Да. Но должна быть. Человеческая жизнь должна быть проста и открыта. Но если все это так и будет продолжаться, то она таковой не станет. Мы живем как наркоманы какие-то.

— Нечему продолжаться, кроме моей любви. Вот что тебя беспокоит.

— Хорошо, меня это беспокоит. Я не должен был допустить такие отношения между нами с самого начала, Джессика. Ответственность лежит целиком на мне. Я повел себя совершенно неправильно.

— Мне кажется, что то, что ты вступил в эти отношения, — самое лучшее, что ты сделал за всю свою жизнь, каков бы ни был финал.

— Прошлое все равно останется, каков бы ни был конец.

— Почему ты не можешь жить настоящим? Ты живешь где угодно, только не в настоящем. Почему ты не можешь быть просто милосердным ко мне?

— Мы — люди, Джессика. Мы не можем жить только настоящим.

Джессика закрыла глаза. Ее любовь к Джону была такой сильной в этот момент, что будто заживо сжигала ее. Она подумала: если бы я могла

исчезнуть сейчас и пеплом упасть к его ногам.

Его внезапное решение не видеться больше было совершенно непонятно девушке. Это было как смертный приговор, который вынес тайный суд за неизвестное преступление. Все ведь было как раньше, и вдруг это случилось.

Джон Дьюкейн был первым человеком в жизни Джессики, на которого она могла опереться. Она не знала своего отца, он умер, когда она была еще младенцем. Дом матери и отчима, типичный дом рабочего класса, был ей чуждым, и она наконец сбежала оттуда в школу искусств. Но ее студенческая жизнь казалась Джессике теперь какой-то нереальной, в воспоминании она всплывала как какая-нибудь случайная пьянка. Она спала с разными парнями. Она перепробовала множество новых и модных течений изобразительного искусства. Но никто и не пытался учить ее.

Как и большинство ее соучеников, Джессика не была христианкой; Джон Дьюкейн даже не понимал до какой степени. Она не только никогда не верила и не молилась, но ни в школе, ни дома ее не познакомили ни с библейскими легендами, ни с учением церкви. Христос был просто мифологическим персонажем для нее, она знала о нем столько же, сколько и об Аполлоне. Она была чи-

стейшей язычницей, хотя это слово предполагает некоторые убеждения, которых у нее не было. И если бы кто-нибудь вознамерился спросить ее, зачем и ради чего Джессика жила в студенческие годы, ответ, возможно, звучал бы так: «Ради юности». Ее и ее друзей объединял и укреплял один символ веры — они были молоды.

Джессика думала, по крайней мере раньше, что у нее есть дарование, но так и не смогла решить, что с ним делать. Образование не дало ей какого-то направления в мастерстве и даже знания истории живописи, а только жажду немедленной и эфемерной «художественной активности». Только в этой единственной форме она могла выражать свой духовный голод. Она и ее друзья соблюдали определенные правила поведения, включавшие и что-то похожее на племенные табу. Но Джессика не смогла создать своей собственной морали, она ограничивалась раскрашиванием и структурированием своего жилища. Она не развила в себе то, что называется этическими нормами. Боясь условностей, она обнажила свой мир. Ее морали недоставало последовательности. Ее контакты со сверстниками — а она общалась только с ними, строго со своими ровесниками — были настолько публичными и

свободными, что наконец это выродилось просто в дурновкусие. Она даже часто занималась любовью в присутствии трех-четырех человек не из-за извращенности, а ради проявления свободы. И в конце концов, квартира была маленькая, да и никто не обращал на это внимания. Никому не было до этого дела.

Джессике несколько раз казалось, что она влюблена, но в основном она концентрировала свое внимание на том, чтобы не зачать ребенка. Постоянная смена партнеров и отсутствие серьезных чувств были общим правилом, которого Джессика религиозно придерживалась и которое позволяло ей оставаться неопытной и в каком-то смысле неиспорченной и невинной. Ее образ жизни был честным. Ее цельность выразилась в презрении к установленному, постоянному, прочному, в общем, «старому». Это презрение, когда она стала старше, превратилось в разновидность глубокого страха. В ней обнаружилось врожденное стремление к абсолюту, к чему-то самому прочному, самому постоянному, самому надежному, но не казавшемуся таковым. Поэтому Джессика старалась создать и любить нечто совершенное, хотя и существующее лишь мгновение.

В ней был пыл, фанатизм, она пыталась передать его детям, которых учила в школе. Она учила их работать с бумагой, которую в конце урока сминают, с пластилином, который потом снова превращают в бесформенные куски, с кирпичами, камнями и цветными шарами, которые потом снова сваливают в кучу; и если уж краска наносилась на белую поверхность, то она должна была течь как река, как туман, как меняющиеся постройки облачного мира. Никому не разрешалось *копировать* что бы то ни было, и однажды она сурово отчитала мальчика, который хотел унести домой сделанную им бумажную конструкцию, чтобы показать матери. «Значит, это все *игра*, мисс?» — озадаченно спросил ребенок у Джессики. В этот момент Джессика почувствовала обжигающую гордость успешного учителя.

Отказ Джессики идти на компромисс с установившимся был для нее и, возможно, действительно являлся синонимом чистоты сердца — он прежде был для нее залогом ее духовного превосходства, но к тому времени, когда она встретила Джона Дьюкейна, она хотя и сохраняла прежний догматизм, но уже потеряла былую уверенность. В одном из первых разговоров Дьюкейн выразил удивление тем, что она не знает великих

художников, а она осудила то, что назвала вялым эклектизмом его вкусов. Казалось, ему нравится все! Он *любил* Джотто, *и* Пьеро, *и* Тинторетто, *и* Тициана, *и* Рубенса, *и* Рембрандта, *и* Веласкеса, *и* Тьеполо, *и* Энгра, *и* Ренуара, *и* Матисса, *и* Боннара, *и* Пикассо! Джессика была недалека от мысли, что такие ортодоксальные вкусы были на самом деле неискренни. Иногда под натиском Джона она осторожно признавала, что ей нравится та или иная избранная картина, которую она хорошо знала. Но на самом деле ей нравилось только то, что она могла немедленно оценить и использовать в своей собственной деятельности, а такого с течением лет становилось все меньше и меньше.

Дьюкейн был самым серьезным событием ее жизни. С ним она почувствовала полную неуверенность в себе, но в то же время он подарил ей то, что, казалось, было единственным лекарством от этой неуверенности. Скрытое стремление Джессики к абсолюту, стремление, так и рвавшееся из ее лихорадочно быстрых пальцев, нашло невинное и безусловное удовлетворение в Джоне. Девушка любила его безоглядно. Его особенная устойчивость, чуждая ей солидность и уверенность, его принадлежность к истеблишменту, его

возраст, несмотря на его пуританизм, казались ей тем, что она искала всю жизнь. Его пуританская скромность и сдержанность заставляли ее дрожать от страсти. Она благоговела перед серьезностью, с какой он относился к любовному акту.

Но на самом деле Джон и Джессика никогда так и не сумели понять друг друга, и в этом в основном была вина Джона. Если бы он был мудрее, если бы у него хватило решимости — а он был слишком утонченным, чтобы обладать ею, — он бы твердо взял юную Джессику в руки и обращался бы с нею как с ученицей. Джессика просто жаждала, чтобы Джон руководил ею. Конечно, она сама не знала, чему она хочет научиться, но в самой природе ее любви коренилась мысль о нем как о мудром и цельном, а о себе — как о глупой и пустой. И Джон понимал это ее стремление, но инстинктивно боялся его и не собирался играть роль учителя. Он тщательно уклонился от «влияния» на юную и теперь такую послушную любовницу. Как только он почувствовал свою большую власть над нею, он старался не замечать ее, и в этом был грех неискренности — более тяжкий грех, чем эстетический эклектизм, в котором его обвиняла Джессика. Это отрицание своей вла-

сти было ошибкой. Джону должно было хватить смелости учить ее. Это сделало бы их отношения более понятными и могло даже побудить Дьюкейна раскрыть свою душу девушке. Но Джон устранился, чтобы не повредить Джессике, чтобы у нее было пространство для раскрытия, но она не могла раскрыться и поклонялась ему в этом пространстве, не понимая его. Ее сущность стала для него совершенно непостижимой, когда он применил к ней слово «художник», что он ассоциировал с общепринятой идеей и желал, чтобы Джессика слилась с этим понятием, не понимая, что она была совершенно другим животным.

Джессика думала: я не могу вынести эту боль, он должен облегчить ее. Это, наверно, ночной кошмар, страшный сон, это не может быть правдой. Когда мы перестали быть любовниками, я думала — это означает, что я буду в его жизни всегда. Я согласилась с этим, я решилась на это потому, что я любила его так сильно, потому что я хотела быть для него желанной. И он позволял любить себя, и он *должен* был быть счастлив, оттого что я люблю его. Он не может уйти от меня теперь, это невозможно, это — немыслимая ошибка.

Летний полуденный лондонский свет согрел

комнату, сделал ее призрачно яркой и заброшенной, а фигура Джона растворилась в полосе пыльного света, делая его нереальным, как будто там стояла кукла и говорила его словами, а настоящий Джон вселился в ее измученное тело.

Дьюкейн молчал некоторое время, глядя в окно.

— Обещай, что ты придешь еще, — сказала Джессика. — *Обещай*, или я умру.

Дьюкейн обернулся.

— Это не приведет ни к чему хорошему, — сказал он тихим, безжизненным голосом. — Лучше я сейчас уйду. Я напишу тебе.

— Ты хочешь сказать, что не вернешься?

— В этом нет смысла, Джессика.

— Ты говоришь, что бросаешь меня?

— Я напишу тебе…

— Ты говоришь, что ты уходишь и не вернешься?

— О господи. Да. Я говорю это.

Джессика завопила.

Она лежала в постели на спине, и Джон Дьюкейн лежал рядом с нею, зарывшись лицом в ее плечо, и его сухие, холодные волосы касались ее щеки. Руки Джессики, скользнув по темной материи его пиджака, встретились друг с другом и

сжались, замыкая его в крепком, тугом объятии. Когда ее руки замкнулись на его спине, она глубоко вздохнула, глядя в потолок, на который косой золотистый свет вечера бросил тени, испестрил и сделал глубоким, и золото наполнило ее глаза, и они стали расширяться и расширяться, как большие озера, полные до краев покоя. Потому что ужасная боль ушла, ушла совершенно, и все тело и душа тоже размягчились, благословляя ее уход.

10

Наверху что-то загрохотало, а потом послышался чей-то плач.

Мэри с чувством легкой вины швырнула Генриеттин журнал «Обзор летающих тарелок» на столик в холле, который она до этого просматривала, и, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась наверх.

В комнате дяди Тео она застала картину, которую и ожидала увидеть. Дядя Тео сидел в кровати с довольно придурковатым видом, держа Минго в своих объятиях. Кейзи плакала, пытаясь отыскать платок в карманах своих панталон. Поднос с чаем Тео лежал на полу, а на нем и вокруг него в беспорядке валялись разбитые чашки, разбросанные бутерброды и куски кекса. Ковер не пострадал, так как пол в комнате был покрыт толстым слоем старых газет и нижним бельем Тео и этот уплотнившийся хлам легко впитал в себя разлитый чай.

— О, Кейзи, прекрати, — сказала Мэри, — ступай вниз и поставь чайник снова. Я приберусь. Иди же.

Кейзи, подвывая, вышла.

— Что случилось? — спросила Мэри.

— Она сказала, что она никому не нужная, сломленная жизнью старая сука, а я с ней согласился, и тогда она швырнула поднос на пол.

— Тео, вы не должны так подлавливать Кейзи, вы всегда так делаете. Это нехорошо.

Минго спрыгнул с постели и принялся исследовать обломки на полу. Пучки шерсти, росшие по обеим сторонам пасти, которыми он поводил сейчас над разбитым фарфором, походили на усы. Его мокрый розовый нос сморщился, он выпятил нежную розовую губу и очень деликатно подобрал тонкий кусочек бутерброда.

— Не позволяйте Минго сожрать кекс, — сказал Тео. — Кекс кажется очень вкусным, и я определенно намерен съесть его сам. Будьте добры, положите его сюда. — Он протянул ей газетный лист.

Мэри подобрала самые большие из уцелевших кусков кекса и положила их на газету. Сморщив нос, как Минго, она начала собирать обломки на поднос. В комнате дяди Тео, где он редко разрешал прибираться, стоял легкий запах лекарств и средств от насекомых и более въевшийся — стариковского пота. Этот едкий запах, как считали

близнецы, роднил дядю Тео с Минго, и Мэри, почти соглашаясь с этим, рассматривала этот аромат скорее как духовную эманацию, порожденную союзом собака — человек, чем прямой физической причиной.

Собака снова забралась на постель, но дядя Тео схватил ее поперек туловища, собачьи лапы беспомощно повисли, ее косматая морда сияла, а хвост разочарованно вилял. Тео тоже сиял, его лицо округлилось, теплея, по нему пробежала легкая светлая тень, которую трудно было назвать улыбкой. Трезво глядя на них, Мэри поняла, что Минго стал походить на Тео, или наоборот.

Дядя Тео был загадкой для Мэри. И еще большей загадкой было то, что остальные члены семейства не проявляли к нему никакого любопытства. Когда ей рассказали о том, что Тео покинул Индию при каких-то темных обстоятельствах (рассказали так, будто это было так же неотъемлемо от него, как имя или титул), Мэри — ей казалось это совершенно естественным — спросила, в чем состояли эти темные обстоятельства. Сначала Мэри подумала, что ее вопрос сочли бестактным. Позднее она поняла, что он просто никого не интересовал. Странность заключалась в том, что отсутствие интереса провоцировалось каким-то

определенным образом самим дядей Тео, как если бы он испускал лучи, парализовавшие способность других людей думать о нем. Это было похоже на способность становиться невидимым. Тео часто делался как бы неощутимым для других — в буквальном смысле, так что иногда говорили: «Там никого не было. Ах да, Тео там был».

Почему дядя Тео парализовал таким путем мысли других людей о нем? По этой проблеме у Мэри сложились две противоречащие друг другу теории, между которыми она колебалась. Одна, малоубедительная, состояла в том, будто этот эффект происходил оттого, что в дяде Тео было много животной безмятежности, но голова его представлялась пустой, поэтому он казался просто недостойным внимания, как паук в углу комнаты. Правда, что он вел себя как больной, по крайней мере, он проводил несчетное время в постели, завтракая в ней, обедая и ужиная. Он много рассуждал о мучивших его недугах, называя их «вирусами». Но никто никогда не верил, что у него есть какая-то определенная реальная болезнь. И хотя он порой бывал язвителен и мрачен, никто не принимал это всерьез, потому что он придавал всему этому шутовской оттенок. У Тео был особенный дар полного расслабления.

В нем не было никакой наэлектризованности, никакого магнетизма. Возможно, этот вид пустой и бессмысленной опустошенности полностью лишал других способности интересоваться им. И вроде бы интересоваться было нечем.

Но по временам Мэри отдавала предпочтение другой, более волнующей, теории, согласно которой невыразительность дяди Тео была его достижением или, возможно, проклятием. Тогда лень и расслабленность Тео казались Мэри не то чтобы формой отчаяния, но чем-то лежащим по ту сторону отчаяния, чему названия она не знала. Как если бы у кого-то все кости были перебиты, а он все еще двигался бы, как сломанная кукла. Она поняла это не путем прозрения через маску его поведения, за которой проскальзывает искра страдания. Маски не было. Просто цельность особой бессмысленности Тео заставила ее вдруг увидеть другой *gestalt*[9], который обнажал в нем человека, прошедшего через ад и лишившегося после этого опыта воли.

Мэри смотрела, как Тео привычно дразнит Минго, страстно сопя носом, как терьер, преследующий крысу. На младшего брата Тео почти не

---

[9] Примечания: 9
Образ *(нем.).*

походил, он был худой и довольно высокий. Он был плешив, только на затылке пряди грязных седых кудрей падали на шею. У него был широкий лоб, но все черты его лица были устремлены вперед, как если бы торопливая рука Творца вытянула их к кончику его длинного носа. Из-за этого его широкое лицо казалось все-таки маленьким, убогим и напоминало собачью морду. Мэри никак не могла, даже пристально вглядываясь, определить цвет его глаз. Однажды, прибирая его комнату, она нашла его старый паспорт и, открыв его, чтобы узнать, как сам Тео определял цвет своих глаз, нашла определение: грязный.

Мэри переживала, что ее любопытство и интерес к Тео со временем уменьшились. Возможно, эти лучи, делавшие его невидимым, убили ее заинтересованность в нем и сделали ее такой же равнодушной к нему, как все прочие. Мэри, привыкнув, что часто люди откровенничают с ней, пыталась раз или два расспросить Тео об Индии, но он только улыбался по-собачьи и менял тему. Она чувствовала к нему сострадание, но ее отношение к нему оставалось абстрактным. Грустная правда заключалась в том, что Мэри не любила его достаточно сильно, чтобы отчетливо понять его. Он физически отталкивал ее, а она

принадлежала к тому разряду женщин, которые могут глубоко любить только то, что им хотелось потрогать.

— Не приготовите ли вы мне чай еще раз? — спросил Тео.

— Да. Я поручила это Кейзи. Вы должны помириться с ней. Вы по-настоящему огорчили ее.

— Не беспокойтесь. Мы с Кейзи — добрые друзья.

Это было правдой. Мэри заметила, что эти двое были привязаны друг к другу.

— Я бы хотела, чтобы вы поднялись и навестили Вилли, — сказала она. — Вы не виделись с ним уже три недели. В чем дело? Вы поссорились?

Тео закрыл глаза, все еще светясь тихой улыбкой.

— Нельзя ожидать, что двое таких невротичных эгоцентрика, как я и Вилли, будут выносить друг друга.

— Как можно назвать Вилли невротичным эгоцентриком?

— Ладно, дорогая. Я решил воздержаться от Вилли, а потом я обнаружил, что могу обходиться без него.

— Я собираюсь навестить его сейчас и уверена, он спросит о вас. Предположим, вы нужны ему?

— Я никому не нужен, Мэри. Идите, и пусть эта милая девушка принесет чай.

Мэри спускалась по лестнице, злясь на саму себя. Я неправильно веду себя, думала она. Ее разочаровывали эти разговоры с Тео, ее неспособность понять и увидеть его по-настоящему, особенно когда он напускал на себя жалость к самому себе, которая делала его образ еще более неясным. Мэри зависела, больше, чем она думала, от представления о себе как о существе, наделенном талантом служить людям. Ее неудача с Тео ранила ее тщеславие.

Внизу она увидела Кейзи, та уже не плакала, но была в ярости и почти швыряла на поднос чайник и чашки. Когда Мэри проходила к задней двери, она услышала, как Барбара наверху начала играть на флейте. Пронзительная хрипловатая и труднопостигаемая красота звуков действовала Мэри на нервы. Она не могла запомнить ни единой ноты, и поэтому музыка особенно остро действовала на нее. Флейта Барбары, хотя она играла хорошо, была почти что орудием пытки для Мэри. Она гадала, где сейчас Пирс и слушает ли мальчик, лежа у себя в комнате или спрятавшись где-то, эти душераздирающие звуки.

Летний полдень убаюкал сад, и воздух, густой

от солнечного света и цветочной пыльцы, как теплая пудра, просыпался на ее лицо. Агонизирующий звук флейты был уже едва слышен. Она прошла через дорожку, засыпанную гравием, и, выйдя из ворот в стене, начала подниматься в гору по тропинке, с обеих сторон которой шли пригорки. Они поросли белой цветущей крапивой — любимый цветок Мэри, и она сорвала несколько стебельков и сунула их в карман бело-голубого клетчатого платья. Когда она вошла в сень букового леса, то, почти автоматически освобождаясь от пут вялого полдня, села на упавшее дерево и застыла, а ее ноги в сандалиях подбрасывали свернувшиеся сухие листья. Дерево сверху было гладким и серым, но пониже веток, на стороне, обращенной к земле, оно принимало оттенок молочного шоколада, и, когда Мэри села и потревожила дерево, распространился терпкий грибной запах, от которого она принялась чихать. Она стала думать о Вилли Косте.

Мэри уже некоторое время ощущала в себе растущую печаль и считала причиной ее свои взаимоотношения с Вилли. Она чувствовала что-то похожее на то острое чувство неудачи, которая постигла ее с Тео, только с Вилли было все иначе, потому что она очень любила его и

находила необыкновенно трогательным. Он приехал в Трескомб, когда Мэри уже обжилась там, если она вообще обжилась в Трескомбе, и она сразу же возложила на себя ответственность за него. «Как поживает Вилли?» — спрашивали ее обычно все домашние. Поначалу она считала само собой разумеющимся, что Вилли доверится ей и расскажет все о своем прошлом, но этого не случилось. Никто даже не знал наверняка, где Вилли родился. Дьюкейн говорил, что в Праге, Октавиен — в Вене. У Мэри не было своего мнения, в конце концов она просто приняла печальную европейскую таинственность Вилли как некое присущее ему физическое качество, и она вызывала в ней нежность больше, чем любое знание.

Мэри постоянно говорила себе, как она должна быть счастлива оттого, что живет вместе с таким большим числом людей, любимых ею, и что, конечно, такое количество любви может заполнить жизнь женщины целиком. Она прекрасно знала — и кровью своего сердца, и разумом, — что любить — это самое главное в жизни. И все же она также хорошо знала, что была глубоко неудовлетворенной, и порой испытывала острые дикие приступы непонятных стремлений, когда воспринимала свою жизнь как маскарад, в котором она

благочестиво исполняла роль доброй любящей женщины, живущей ради других. Это не было ни восторгом, ни благодатью, однажды просиявшей в ней и унесшей прочь из этого мира. Восторг и благодать были ее наваждением, но никак не проявлялись в ее жизни. Ее любовь к мужчинам всегда была невротичной и недовоплощенной, это относилось даже к ее мужу. Она очень сильно любила Алистера, но как-то нервно, разодранно, и хотя и тело, и душа участвовали в этой любви, они никогда не были в согласии друг с другом. Она никогда не была исполнена любовью как налитый до краев, умиротворенный сосуд. Скорее она стойко выносила любовь, как дерево терпит зимние морозы, и образ холода смешивался в ее сознании с воспоминаниями о супружеской любви. Мэри не верила в возможности самоанализа, и только смутное подозрение иногда закрадывалось в ее сердце, что она способна исключительно на такую нервную, недовоплощенную любовь. Ее взаимоотношения с Вилли Костом не удовлетворяли ее и даже сводили с ума, но стали очень важными для нее, и теперь Мэри едва ли могла надеяться, что они станут лучше, легче, полнее. Она больше не ожидала «прорыва». Она больше не ждала, как поначалу, что Вилли внезапно схва-

тит ее за руки и расскажет, как это было в Дахау. Она даже больше и не хотела, чтобы так вышло. Однако она надеялась, что некий всезнающий, маленький дух, наблюдавший за их странной дружбой, как-нибудь устроит так, чтобы они стали ближе друг к другу, мягче и нежнее.

— Вилли, можно войти?

— О, Мэри, входи, входи. Да, я ждал тебя. Ты уже пила чай?

— Да, спасибо. — На самом деле она еще не пила чай, но не хотела затруднять Вилли. Она хотела, чтобы он тихо сидел в своем кресле, а она заботилась о нем.

Вилли опустился в кресло возле очага.

— Может быть, молока? Я как раз пью.

— Нет, спасибо, Вилли.

Она, как обычно, заметалась по комнате, пока Вилли, вытянув ноги, причем каблуки его погрузились в золу, попивал молоко и наблюдал за ней. Они часто подолгу молчали, после того как Мэри приходила. Мэри иногда просто забывала о том, что находится в его присутствии. Она вдруг вспоминала об этом и испытывала легкий шок. Чтобы противостоять ему, она плела свою паутину по всей комнате, повсюду, чтобы хотя бы ее присутствие было для него явным.

Коттедж Вилли был прямоугольным кирпичным строением, воздвигнутым за небольшие деньги бывшим владельцем еще до Октавиена. Он состоял из просторной гостиной, с кухней, ванной и крошечной спальней в западной стороне дома. Почти все стены были закрыты книжными полками, которые Октавиен заказал местному плотнику, увидев, сколько у Вилли ящиков с книгами. На южной стороне дома на море смотрело узкое длинное окно с широким белым подоконником, на котором стояли самые различные вещи, оставленные посетителями, желавшими утешить Вилли или порадовать его, даря ему часто совершенно бесполезные предметы; их просто оставляли, вроде того как оставляют блюдечки с молоком рядом с логовом священной змеи.

Потрогав этот подоконник, автоматически проверяя, не запылился ли он, Мэри заметила два светло-серых камня, на которых был виден слабый отпечаток ископаемых, возможно подарок близнецов, а также картонную коробку с птичьими яйцами — несомненно, тоже от близнецов, кусок мха с перьями, казавшийся разоренным птичьим гнездом, бумажную сумку с помидорами, банку из-под варенья — в ней стоя-

ли две белые розы «Мадам Харди», росшие рядом с домом, — деревянную тарелку, украшенную нарисованным эдельвейсом, которую Барбара привезла Вилли из Швейцарии, бинокль, также подарок Барбары, и грязную чашку, ее Мэри убрала. Тут она вспомнила о белых цветах крапивы, которые все еще лежали в кармане платья. Она прошла в маленькую кухню и вымыла чашку, тарелки и ножи, лежавшие рядом. Потом она достала длинный винный бокал из буфета и, поставив туда поникшую крапиву, отнесла его обратно на подоконник. Кто же принес розы, гадала она. На Вилли это было не похоже.

— Ты принесла цветущую крапиву и поставила ее в винный бокал?

— Да.

— Если бы я был поэтом, я написал бы об этом стихотворение. Жгучая крапива, поставленная в бокал девушкой…

— Она не жгучая, — сказала Мэри. — Эта не жжется. И я не девушка.

Упорное нежелание Вилли изучать местную флору, так же как и вообще местную жизнь, сначала возмущало, а потом очаровало ее.

— Девушка, девушка, — повторил он мягко.

Хотел ли Вилли стать поэтом, думала Мэри. Ей

захотелось притронуться к нему, но она знала, что сейчас этого делать не стоит. Она сказала:

— Вилли, я бы хотела, чтобы ты зашел к нам и повидался с Тео.

— Я никуда не хожу и никого не вижу. Люди приходят ко мне.

— Да, я знаю. Но я думаю, он нуждается в тебе…

— Нет, нет. В его мире я — ненужная гипотеза.

— Не согласна. Ты совсем *особенный* для него.

— Только один человек особенный для Тео, и это, разумеется, не я. Расскажи мне, как все остальные, как твой красавец-сын?

— Ох, я вспомнила, Вилли, не мог бы ты немного натаскать Пирса в латыни в эти выходные? Он ужасно беспокоится о своей латыни.

— Да, конечно. Я могу с ним позаниматься в любой день в это же время.

Вилли не принимал посетителей после шести. Он объяснял это тем, что работает в это время, но Мэри сомневалась. В поисках ключа к внутреннему замку Вилли она часто размышляла о природе его одиночества. Каково ему было вечерами, ночами? Однажды сильное любопытство заставило ее неожиданно зайти к нему около девяти. Свет был выключен, и он сидел рядом с мерцающим

очагом; ей показалось, что он плачет. Вилли был так поражен и раздосадован ее поздним визитом, что она больше не осмеливалась повторить его.

— Кажется, он думает, что с греческим у него все в порядке. Хотя я должна сказать, ему далеко до близнецов, как по-моему.

— Да, — сказал Вилли, — их греческий просто *erstaunlich*[10].

Мэри раздражало, когда Вилли употреблял немецкие слова или фразы. В первое лето, когда он только приехал, она уговорила его учить ее немецкому и несколько раз в неделю по утрам тратила на это час. Вилли вежливо прекратил это занятие после того, как стало ясно, что у Мэри нет времени, чтобы делать все необходимые упражнения и домашние задания, и был очень огорчен ее неудачей. Мэри не любила вспоминать об этом. Следующим летом он уделял такое же время Поле, и они вместе прочли целиком вслух «Илиаду» и «Одиссею». Тогда Мэри физически остро страдала от ревности.

— В чем дело? — спросил он с сильным акцентом.

— Ни в чем, — коротко сказала она, но знала,

---

[10] Примечания: 10
Поразителен *(нем.)*.

что Вилли точно угадал, о чем она подумала.

— Что происходит с Полой? — спросил Вилли. Мысли Вилли и Мэри часто забавным образом совпадали, когда она бродила по комнате, а он наблюдал за ней.

— А что?

— Мне кажется, она чем-то обеспокоена, или испугана, или что-то такое.

— Думаю, это просто окончание учебного года, — сказала Мэри. — Она переутомилась. Она навещала тебя? Может быть, это Пола принесла две белые розы.

— Нет, я встретил ее на берегу, когда я совершал утреннюю прогулку.

Летом Вилли часто очень рано выходил на прогулку вдоль моря, прежде чем кто-либо проснется.

Мэри опять остановилась у окна, где в легкой пыли ее испытующие пальцы оставят двойной отпечаток, ясно видимый при ярком свете. Трескомб-хаус был не виден отсюда — мешал лес, но зато можно было разглядеть за верхушками деревьев кусочек побережья с мысом ржавого цвета, называвшимся Красной Башней, справа, а слева, за кривым зеленым полем, — вид на заброшенное кладбище и маленький зеленый купол божества

геометрии, а дальше серее и туманнее виднелась линия дюн с черно-белым маяком в конце. Мэри посмотрела прямо перед собой и увидела, что в море что-то болтается на волнах, совсем близко от берега; она взяла бинокль, чтобы посмотреть, что это.

— Уф! — сказала она.

— Что?

Бинокль не настроен.

Когда она отфокусировала его, то далекие листья в лесу приблизились прямо к ее глазам. Она никогда не имела дела с такими мощными линзами. Она передвинула светлую, освещенную точку вниз по горе и через гальку пляжа, чтобы увидеть, что же это плавало в море. Она увидела легкие складки прибрежных волн и гладкую сатиновую кожу спокойных вод, а затем и руку, опущенную в воду. И тогда уже в ее поле зрения попала маленькая зеленая лодка, которую близнецы называли «кораклем» — как лодки в «Острове Сокровищ». В лодке были Кейт и Джон Дьюкейн, оба в купальных костюмах. Она могла понять по темному блеску материи, что они только что плавали. Они расслабленно, забыв обо всем, смеялись, и Дьюкейн положил руку на колено Кейт. Мэри опустила бинокль.

Вернувшись в комнату, она встала прямо перед Вилли и пристально посмотрела на него. Она печально подумала: в моей судьбе нет места веселью и смеху. Алистер был веселый, но Мэри скорей сочувственно созерцала его веселость, чем разделяла ее. Кейт была веселой и смешила других, даже самого Вилли. Пола тоже была приятна Вилли, у них спокойная дружба и общие интересы. А я только навожу на него грусть, думала Мэри, и он наводит на меня грусть.

— Что с тобой, мое дитя?

— Ты, — сказала она, — ты, ты, ты. О, я люблю тебя.

Она часто произносила эти слова, но они тут же улетучивались, как если бы их моментально поглощала бесконечность отрицания, что словно облаком окружало Мэри. Она хотела пронзить Вилли этими словами, потревожить, даже причинить ему боль, но он оставался отстраненным, и даже его нежность к ней была отстраненной. Ей не приходило в голову усомниться в том, что Вилли мог бы остаться равнодушным к ней, не могла она сомневаться и в своей привлекательности. Не будучи формально красавицей, Мэри обладала абсолютной уверенностью в своей способности привлекать, что стоит многих иных

физических качеств. Нет, что-то другое разделяло их. Если Тео казался ей человеком, разгуливающим со сломанными костями, то Вилли наводил на мысль о существе из другого измерения, которое лишь с большим трудом могло поддерживать связь с обыкновенным миром. Это беспокоило бы ее в меньшей степени, если бы она не представляла себе это другое измерение ужасным местом. Пытаясь думать более конкретно, она пыталась понять: что это значит — перенести такую несправедливость? Сможет ли он когда-нибудь *простить их*? Мэри подумала, что это может быть проблемой для нее самой. Но не было никаких признаков того, что это было проблемой для Вилли. Возможно, у него были другие демоны.

Она села, придвинула стул близко к нему, глядя ему в лицо. Делая это, она взглянула вниз и увидела свои груди, прижатые друг к другу, как две одинаковые птицы, и она подумала: я сокровище, ждущее, чтобы его нашли.

— Смотри, Мэри, твоя белая крапива подняла головки.

— Ты, ты… — сказала она, — ты — тролль, вот что ты такое. О, ты изводишь меня!

Она начала ласкать его, очень легко проводя пальцами по его длинным шелковистым

волосам, гладя их, пока они не начали слегка потрескивать и подниматься к ее ладони. Потом она стала ласкать его лицо кончиками пальцев, сначала легко обводя его профиль, широкий лоб, изборожденный морщинами, тонкий еврейский нос, нежную впадинку над верхней губой, колючий подбородок, затем притронулась к его глазам — они моргали, будучи закрытыми, и, когда он открыл их, тоже моргали; она ласкала его щеки с выступающими скулами, проводя кончиками пальцев по всей длине его рта, — мягкое ощущение человеческого лица над черепом, трогательное, ранимое и смертное. Наконец движением, не нарушавшим ритма ее ласк, Билли схватил ее руку и прижал ладонью к своей голове. Его глаза были закрыты сейчас, и так, не двигаясь, они долго сидели. Это был их способ заниматься любовью.

11

— Думаешь, это всегда безопасно — говорить о ком-то, что он счастлив? — спросила Кейт.

— Думаю, было бы неблагодарностью со стороны такого человека, который, как ты, всегда счастлив, не признаваться в этом порой.

— Неблагодарность? К кому? У них нет ни морали, ни благодарности. Да. Признаюсь, я всегда счастлива. Но есть разные степени счастья. Вот в этот момент я чувствую такое невероятное счастье, что могу упасть в обморок!

Они плыли в маленьком зеленом коракле по совершенно спокойному морю, в котором они только что искупались. У коракля не было весел, грести надо было руками. Он был неустойчив и легко переворачивался, на нем можно было плавать, только когда море было тихим.

Неподалеку, на берегу, близнецы, уже искупавшись, предавались своему бесконечному занятию — исследованию камней. Дядя Тео, который не любил камни и находил их угрожающими, однажды сказал, что близнецы ведут себя как люди, обреченные Богом исполнять

одну и ту же непосильную задачу. Сам дядя Тео, недавно поднявшись после чая, сидел на берегу рядом с одеждой Пирса. Мэри запретила входить в дом в мокрых купальниках, и дети всегда переодевались на пляже. Пирс, который до этого немного поплавал, сейчас лежал расслабленно на прибрежной гальке, как приплывший к берегу морской зверь, — ноги его были в воде. Минго, купавшийся с Пирсом, отряхивался, обрызгав радужными каплями брюки Пирса и левый рукав пиджака дяди Тео. Монроз, сидя на зубчатых обломках дерева, прибитых морем, нахохлился и был похож на круглую птицу, злобно следя своими желтыми глазами за проделками Минго. Пола и Октавиен, уже переодевшись, медленно брели по берегу, разговаривая о политике. На некотором расстоянии отдыхали местные жители. Был воскресный день.

— Да. Всегда нужно помнить, как нам повезло, — говорила Кейт, — подумай, мы могли бы родиться индийскими крестьянами… — Но на самом деле она не могла сейчас думать ни об индийских крестьянах и ни о том, как ей повезло, она могла только ощущать нежное легкое прикосновение солнца к ее пухлым ногам и плечам, чувствовать, как соленая влага высыхает на них.

— Ты знаешь, я думаю, они все пусть немного, но боятся тебя, — сказала Кейт, возвращаясь к тому, о чем говорила раньше. — Вилли боится, Мэри, Октавиен, конечно. Вот что меня удивляет, а я не боюсь!

— Не могу поверить, что кто-то боится меня, — сказал Дьюкейн, но ему все равно явно было приятно.

— В твоем обществе я испытываю такое счастье! Отчасти потому, что я чувствую себя с тобой абсолютно свободной, как будто больше никого нет! Я *одержима*, знаешь?

— А я нет. И это хорошо для нас обоих, — сказал Дьюкейн.

— Дорогой! Прости меня! Ну конечно, ты прощаешь. Ты тоже ужасно счастлив. Я чувствую это. Боже, какое великолепное солнце. Близнецам хочется, чтобы пошел дождь, но я хочу, чтобы всегда все было как сейчас. — Кейт была в состоянии восторга, когда речь льется, как естественный лепет, как птичье пение или журчание ручья.

Лодка, движимая ленивым шевелением рук Дьюкейна в приятно сопротивляющейся воде, почти остановилась. Кейт и Дьюкейн находились очень близко, но не касались друг друга. Он лежал на закругленной корме, слегка неуклюже

подняв колени и раскинув руки. Она сидела на почти таком же круглом носу лодки, поджав под себя ноги. Между голыми ногами Дьюкейна и ее коленями было пустое пространство в полдюйма, они ощущали его, как если бы через этот узкий проток что-то великолепно и бурно струилось.

Кейт следила за Дьюкейном с нежной серьезностью. Конечно, она уже видела его таким, прошлым летом хотя бы, но только тогда он не значил для нее так удивительно много, как теперь.

Как прекрасно, думала Кейт, быть способной влюбляться в старых друзей. Это одна из радостей среднего возраста. Не то чтобы я по-настоящему была влюблена, но это похоже на влюбленность, которая избавляет тебя от всякой боли. Это апофеоз дружбы, нечто такое, о чем в юности думаешь, что оно возможно, а потом забываешь об этом. Все волнение любви присутствует, но добавляется ощущение абсолютной безопасности. Как он трогательно худощав, и кожа такая белая. А волосы на груди начинают седеть. В чем привлекательность мужского тела? Она гораздо более загадочна, более духовна, чем женская привлекательность. Почему это так *божественно* — торчащие кости на его запястьях? О боже, я

не хочу, чтобы ему казалось, что я критически разглядываю его. Он должен чувствовать себя обожаемым. Вот и он смотрит на меня так же.

Она крепче подтянула колени к телу, чувствуя приятную упругость мокрого купальника, прижимавшего грудь. В этот момент ее любопытствующий взгляд встретился с глазами Дьюкейна, и они засмеялись, понимая друг друга. Дьюкейн вытащил руку из воды и, наклонившись вперед, очень осторожно коснулся колена Кейт. Она почувствовала медлительную твердость его руки, с которой на ее теплое и уже высохшее под солнцем колено стекала холодная морская вода.

Лодка неожиданно дернулась вперед. Дьюкейн резко отвел руку. Впереди послышался плеск. Пирс, незаметно подплывший к лодке, схватил веревку, висевшую на носу, и начал буксировать лодку к берегу.

Дьюкейн был раздражен и взволнован этим вторжением. Он надеялся, что мальчик ничего не заметил. Но бездумное наслаждение летящим мгновением, солнцем, дрейфом, милым ирландским выговором Кейт было сразу же испорчено. Его настроение пошло прахом, и яркий день уступил место черной стене, имя которой было — Джессика.

Его отношения с Джессикой превратились в какую-то битву, и он не знал, есть ли выход из этого. Между ними сейчас возникли такие сильные эмоции, как если бы они все еще были любовниками. Он пасовал перед ее плачем. И он знал, что дал ей на время дозу успокоительного, необходимую ему так же, как и ей. Когда он думал об их связи, он понимал, что нужно с этим покончить. Но когда представлял детали этого процесса, он содрогался и не был уже уверен в своей правоте. Правильно ли причинять столько боли? Если бы сразу перешагнуть через это, минуя ужас расставания. Он думал: я не могу просто написать ей письмо. В таком случае она просто сразу придет ко мне. Она придет и на работу.

Имел ли он право даже мгновение быть счастливым, принять то, что Кейт так щедро предлагала ему, в то время как он причинял такое страшное страдание другому человеку? Что подумала бы Кейт, которая воображала, что она ближе всех к нему, если бы узнала об этих запутанных отношениях? А если бы случилось, что Джессика вдруг узнала бы о том, что ей показалось бы фривольным флиртом с Кейт? И какую роль играет во всем этом он, Дьюкейн, честный человек? Конечно, теперь легко рассуждать о том, что лучше бы

вообще не связываться с Джессикой. Еще совсем недавно он был не в состоянии думать о том, что теперь ясно представилось ему как его собственный грех. И через него пришло страдание, и он знал — для нее тоже, но страдание это было чистым. Они просто должны были расстаться, и, как бы мучительно это ни было, больше ничего не оставалось. Но теперь он уже не был в этом уверен. Когда он лежал на кровати, уткнувшись в плечо Джессики, после того как прекратил ее плач обещанием увидеться с ней еще, Дьюкейн почувствовал новую разновидность отчаяния. В ясновидящем, мучительном прозрении он увидел, как велико было его безумие, принесшее им обоим столько вреда.

Когда Дьюкейн впервые начал думать о своих отношениях с Кейт как о чем-то важном и когда он решил порвать с Джессикой, еще не понимая, как тяжело это будет, он оценил как значительный аспект своего нового мира то, что теперь он мог прислушиваться к нуждам других людей. В конце концов, он не был влюблен в Кейт. Он обожал ее, и она могла бы осчастливить его, но он не был по-настоящему влюблен в нее. Это было цивилизованным взлетом чувств людей среднего возраста. Кейт никогда не могла бы стать

бременем или наваждением. Пока он был любовником Джессики и в последнее время, когда он пытался расстаться с ней, он стал бесчувственным, ускользающим, равнодушным. Он был слишком погружен в себя, чтобы помочь людям, просившим помощи… Он перестал интересоваться кем-либо, кроме себя самого. Мир, в котором они существовали с Кейт, был миром не только для них двоих, там присутствовало много людей, и это был счастливый мир. Самое чудесное было то, что Кейт была недоступна; и это давало ему вечную свободу. Она облегчит его слишком долго мятущееся сердце, и тогда он сможет более полно жить в мире других людей, он сможет уделять им все свое внимание, потому что — счастлив.

Но эта картина была еще далека от него, картина, в которой нет Джессики. Удастся ли мне это когда-нибудь, сомневался он. Не должен ли я отойти от Кейт любой ценой, хотя бы на время? Может быть, я обязан остаться с Джессикой? Сейчас дела обстоят так, что я приношу вред всем. Я не могу думать ни о ком, кроме себя. Я был нехорош с Вилли этим утром. Вилли встревожил Дьюкейна степенью своей отчужденности, своим отказом от разговора. Дьюкейн думал: если бы я был всерьез внимательным к Вилли этим утром,

я бы, наверное смог заставить его общаться со мной. Может быть, Вилли нужно было остаться в Лондоне. Здесь он еще более одинок. Возможно, я совершил ужасную ошибку. Если Вилли убьет себя, это будет моя вина.

Следующий сдвиг черноты его мрачных мыслей напомнил ему о Рэдичи. Он до сих пор не получил от газетчиков историю, и было похоже, что придется действовать, не зная ее. Он решил неожиданно навестить Макграта у него дома в следующий понедельник вечером и действительно выяснить все, что знал этот парень. Но чего это будет стоить ему? С горькой усталостью Дьюкейн подумал о «бичах, кинжалах и прочих вещах», которые Макграт видел в доме у Рэдичи. Что *делал* Рэдичи с теми девицами? Сейчас он почувствовал странное облегчение своих страданий и опять обрел способность любоваться загорелыми плечами Кейт и ее пухлой спиной, которой она к нему повернулась, глядя по направлению хода лодки, и он подумал: как естественно исцелять муки совести испорченностью, сам грех является спасением от ужасного чувства вины, и есть еще более глубокие ямы, в которые упасть было бы облегчением. Потом он подумал: бедный Рэдичи.

Пирс очень быстро тащил лодку, зажав веревку

в зубах. Минго, который бросился в воду вслед за ним, тоже сопровождал лодку; его смешная, важно задранная сухая голова контрастировала с мокрой, со слипшимися волосами, головой мальчика, нырявшего и скользившего под водой подобно тюленю.

— Где Барб? — спросила Кейт у Пирса.

— Катается на своем пони, — сказал он, выронив веревку и хватая ее снова, как спаниель.

— Она помешана на верховой езде теперь, — сказала Кейт, поворачиваясь к Дьюкейну, — и она, пожалуй, *слишком* бесстрашная. Я очень надеюсь, что мы правильно поступили, послав ее учиться в Швейцарию.

— Она все равно поступит в Оксфорд, — сказал Дьюкейн. — Она умная девочка, и ее французский будет великолепен.

— Я бы очень хотела, чтобы Вилли переменил свое решение насчет занятий с ней немецким. — Вилли без всяких объяснений отказался помогать Барбаре в немецком.

Лодка замедлила скорость. Пирс бросил веревку и поплыл к скалам на восточной оконечности Красной Башни, где они отвесно спускались в море. Дьюкейн почувствовал облегчение, освободившись от присутствия маленького демона.

— Не лезь туда, Пирс! — кричала Кейт вслед ему.

— Не буду.

— Это пещера Гуннара, — сказала Кейт, показывая на темную полосу у основания скалы. — Должно быть, начался отлив.

— Да. Ты говорила, вход открывается только в отлив.

— У меня мурашки бегут по коже, — сказала Кейт. — У меня была фантазия, что там полно утопленников, которые забрались туда в поисках сокровищ, и море поймало их в ловушку.

— Возвратимся, — сказал Дьюкейн. Он дрожал. Он начал ритмически погружать руки в воду, заставляя коракль скользить по сияющей поверхности моря. Кейт чуть передвинулась так, что их ноги соприкоснулись. Они смотрели друг на друга испытующе, взволнованно.

12

— Почему Шекспир так и не написал пьесу о Мерлине? — спросила Генриетта.

— Потому что Шекспир сам был Мерлином, — ответил дядя Тео.

— Я тоже часто задумывалась об этом, — сказала Пола. — Почему он не воспользовался легендами об Артуре?

— Думаю, что я знаю, — сказала Мэри.

Все замолчали. Мэри колебалась. Она была уверена, что знает, но очень трудно было выразить это в словах.

— Почему? — спросил Джон Дьюкейн, подбадривающе улыбаясь.

— Шекспир знал… что мир магии… что это — предмет опасный… и все эти отношения… Не такие, как в реальном мире… Это было несвойственно ему… У него была своя собственная атмосфера… Ему незачем было прибегать к этим легендам…

Мэри умолкла. Это было не вполне точно, и все же она *знала.* Мир Шекспира был совсем другим, шире.

Разговор рассыпался, каждый беседовал со своим соседом. Это был воскресный обед за круглым столом в холле, он уже подходил к концу. Кейзи кружила вокруг стола, собирая тарелки и громко разговаривая сама с собой, как она делала обычно, прислуживая за столом, входя и выходя на кухню, через открытую дверь которой вошел Монроз в своем продолговатом, а не круглом проявлении. Потом можно было видеть, как он залезает в корзину для животных рядом с Минго, который стоял в состоянии явного возбуждения. Минго то клал свою лапу в корзину, то нервно отдергивал ее опять. Монроз возлежал в ней с неподвижностью уверенной в себе силы.

— С женщинами в России обходятся правильно, — бубнила Кейзи, убирая тарелки из-под пудинга. — В России я могла бы быть машинистом.

— Но ты же не хочешь быть машинистом, а? — спросила Мэри.

— Женщин за людей в России считают. А здесь они просто грязь. Ничего хорошего нет в том, чтобы быть женщиной.

— Могу представить, как тебе несладко, но…

— О, пожалуйста, заткнитесь, Тео.

— Я думаю, чудесно быть женщиной, — сказала Кейт. — Я бы ни за какие блага не променяла бы

свой пол.

— Ты меня успокоила! — сказал Дьюкейн.

— Я бы тоже хотела быть машинистом, — сказала Мэри насмешливо.

Кейзи удалилась в кухню.

За воскресным обедом не было специально предназначенных для каждого мест. Каждый усаживался где хотел, по мере прибытия. В этот особенный день за столом сидели в таком порядке: Мэри сидела рядом с дядей Тео, который сидел рядом с Эдвардом, который сидел рядом с Пирсом, который сидел рядом с Кейт, которая сидела рядом с Генриеттой, которая сидела рядом с Октавиеном, который сидел рядом с Полой, которая сидела рядом с Барбарой, которая сидела рядом с Дьюкейном, который сидел рядом с Мэри.

Эдвард сейчас подробно рассказывал дяде Тео о жизни птиц, называемых «медовыми наводчиками»; они живут в амазонских джунглях, у этих птиц сложились весьма взаимовыгодные отношения с медведями и прочими животными, птицы ведут их к ульям диких пчел, а там медведи и все прочие взламывают ульи, чтобы достать мед, и, таким образом, птицы тоже могут отведать меду. Генриетта объясняла Кейт, что в пространственно-временном континууме

существуют петли и провалы, поэтому космическому кораблю потребуется только пятьдесят лет, чтобы достичь центра Галактики, но обратный путь может длиться тысячу лет. («Не думаю, что я все поняла», — сказала Кейт.) Октавиен дискутировал с Полой о перспективах реформ в профсоюзном движении, но вдруг встревожился и спросил, хорошо ли она себя чувствует, потому что она совсем ничего не ела. Дьюкейн и Барбара флиртовали на французском, которым Дьюкейн владел и который любил, и пользовался любым случаем это продемонстрировать.

Мэри, которая до этого часто вставала, чтобы помочь Кейзи на разных стадиях обеда, сейчас, как часто бывало, осталась на разговорную паузу. Ей нравился этот промежуток, она чувствовала нечто вроде материнской гордости по отношению ко всем беседующим за столом. Кейзи сейчас ставила на стол фрукты и сыр. Октавиен потянулся за графином кларета. Все пили вино, кроме близнецов, предпочитавших содовую, и Полы, пившей воду. Мэри принялась наблюдать за лицом сына, сидевшего напротив.

Пирс, сидя между Эдвардом и Кейт, не имел собеседников. Он с озлобленной сосредоточенностью следил за разговором между Барбарой и

Джоном Дьюкейном. Мэри подумала: надеюсь, никто не смотрит на него. Он выглядит таким напряженным и странным. А потом она подумала: О господи, что-то может случиться.

– *Quand est ce que tu vas me donner ce petit concert de Mozart?*

— *Jamais, puisque tu ne le mérite pas!*

— *Et pourquoi ce, petite égoiste?*

— *Tu n'y comprand rien à la musique, toi.*

— *Tu vas m'enseigner, alors.*

— *Tu seras docile?*

— *Mais oui, mon oiseau!*

— *Et qu'est ce que tu vas me donner en retour?*

— *Dix baisers.*

— *C'est pas assez.*

— *Mille baisers alors!*[11]

Пирс резко встал, отодвинув стул так, что он противно заскрежетал о каменные плитки пола. Потом стул перевернулся и с грохотом упал. Пирс подошел к передней двери и вышел, хлопнув ею. Воцарилось изумленное молчание.

— В школах так воспитывают, — сказала Кей-

---

[11] Примечания: 11

— Когда ты мне сыграешь тот маленький концерт Моцарта? — Никогда, потому что ты этого не заслуживаешь! — А почему, маленькая эгоистка? — Ты ничего не понимаешь в музыке. — Тогда научи меня. — Ты будешь послушным? — Конечно, моя птичка! — А что я получу взамен? — Десять поцелуев. — Этого недостаточно. — Тогда тысячу! *(фр.)*

зи.

Мэри было привстала, но дядя Тео и Джон Дьюкейн с разных сторон удержали ее. Мэри уселась опять. Дядя Тео сказал Эдварду:

— Продолжай рассказывать о дельфинах.

Кейт заговорила:

— Не беспокойся, Мэри, дорогая…

Мэри поняла, что не может остаться. Она встала, тихо прошла через кухню и вышла в сад. В саду было жарко, тихо, парило, и даже кукушка молчала. Мэри пошла по дорожке, трогая рукой пышные кусты вероники. Она прошла через ворота в стене. Она не собиралась искать Пирса. Она знала, что он побежал куда-то, как только вышел из дверей. Он мог быть на полпути к кладбищу сейчас, и там, зарывшись в плющ, он мог бы прятаться, бесполезно было искать его. Во всяком случае, она не знала, что сказать сыну, и перестала думать о нем. Его измученные нервы резонировали с ее нервами, и только туманное и неопределенное бремя накопившейся тоски заставило ее уйти из-за стола.

Я вела себя как идиотка, думала Мэри, и это еще хуже. Мне не восемнадцать. Я не должна поддаваться внезапным эмоциональным бурям и жалости к себе. Для этого нет никаких причин. Во-

обще, во всем этом не было реальной причины.

Она шла по тропинке, сжатой, как труба, пригорками, через горячий запах мха и наконец дошла до рощицы и села на ствол дерева, опустив ноги в кучу мертвых листьев. Возможно, мне нужен отдых, возможно, дело всего лишь в этом. Подчас я чувствую себя такой далекой от всех этих людей, у них у всех есть что-то свое, а у меня нет. Мне бы надо найти подходящую работу. Но, думаю, я нужна им здесь, я нужна детям. Когда близнецы вырастут, я поступлю на учительские курсы, и это будет совсем другая жизнь.

Потом она подумала: и это все, на что я могу рассчитывать в будущем, чем я себя успокаиваю? Еще годы ведения чужого дома, а потом работа учительницей? Но мои желания огромны, ненасытны. Я хочу любви, я хочу блеска и силы любви, и я хочу этого сейчас, я хочу кого-то, кто стал бы только моим. О, Вилли, Вилли, Вилли.

Тень промелькнула в пятнистом свете. Мэри взглянула вверх. Это был Джон Дьюкейн. Она поднялась, волнуясь.

Мэри очень любила Дьюкейна и слегка боялась его. Кейт совершенно правильно поняла, что она слегка побаивалась его.

— О, Джон.

— Мэри, присядьте, пожалуйста. Простите, что я пошел вслед за вами.

Она опять села, и он сел рядом, боком на бревно и глядя на нее.

— Мэри, я так виноват. Я чувствую свою вину в том, что случилось. Я вел себя глупо, бесчувственно. Я только надеюсь, что вы не очень расстроены.

Расстроены? Да я вне себя. Я в отчаянье. Она сказала:

— Нет, нет, не волнуйтесь. Боюсь, Пирс вел себя ужасно. Надеюсь, Барбара не слишком обижена.

— Нет, она все понимает, — сказал Дьюкейн. — Боюсь, я не понял, как все серьезно, я должен быть более тактичным в будущем. Пожалуйста, не огорчайтесь. Молодежь — она всегда страдает, мы не можем помочь им…

Наплевать на их страдания, думала Мэри. Она сказала:

— Да. Но они легко восстанавливаются.

Мэри вдруг подумала: отвратительно сидеть здесь и вести светский разговор, ведь я в отчаянье, уничтожена, внутри как будто все разорвано. Она подумала: неужели ничего нельзя сделать? Затем ей показалось, что сделать можно только одно и что она уже делала это раньше. Она разра-

зилась потоком слез.

— Господи помилуй, — сказал Джон Дьюкейн. Он вынул большой чистый носовой платок, развернул его и протянул Мэри, и она уткнулась в него лицом.

Через минуту или две слезы немного утихли, и она начала сморкаться в платок. Дьюкейн очень нежно прикоснулся к ее плечу, не похлопывая по нему, а просто напоминая о том, что он рядом:

— Это из-за Пирса?

— Нет, нет, — сказала Мэри, — на самом деле я не очень волнуюсь за него. Это из-за меня самой.

— В чем дело? Расскажите.

— Дело в Вилли.

— А что с Вилли? Вы опасаетесь, что он?…

— Нет, я никогда не думала, что Вилли может покончить с собой. Это просто… ну ладно, я влюблена в него. — Произнесенные слова удивили ее. Ведь ее неопределенное нежное волнение не имело ничего общего с былой резкой определенностью ее других любовей. И все же оно заполняло все ее сознание и, наверно, было глубокой причиной ее неожиданных взрывов, когда она чувствовала себя такой несчастной.

Дьюкейн воспринял информацию серьезно и задумчиво, как если бы Мэри была клиент-

кой и рассказала суть своего дела. Помолчав, он сказал:

— Я очень рад, потому что это может только помочь Вилли. Что он чувствует по этому поводу? Он знает?

— О, он знает. А что до его чувств… вы знаете Вилли так же хорошо, как и я. Как можно понять, что он чувствует?

— Думаю, с вами он, может быть, ведет себя совершенно иначе?

— Нет, нет. Мы хорошо изучили друг друга, может быть, именно потому, что я не скрываю своих чувств. Со мной он нежен, но отчужден, пассивен. Он абсолютно пассивный.

— Он никогда не рассказывал вам о том месте?

— Он вообще никогда не рассказывал о себе.

— Вы хотите навестить его сейчас?

— Нет, он просил не приходить сегодня. Вы же знаете его.

Они сидели рядом. В лесу стояла тишина. Мэри вытерла лицо платком. Дьюкейн, сосредоточенно насупившись, склонился вперед и растирал пальцами засохший лист. Пара серых бабочек, играя и трепеща крылышками, пронеслась мимо них. Мэри вытянула руку в сторону бабочек.

Она сказала:

— Я так виновата, что огорчила вас этим. Каждый должен сам нести свое бремя. На самом деле я в полном порядке. В конце концов, я не девочка. Я справлюсь, все уляжется.

Уляжется, подумала она. Да, все уляжется, превратится в серость, покой, забвение и скуку. Она понимала, что ее мучила не острая трагическая страсть, а скорей это был гораздо более расплывчатый припадок неудовлетворенной женской природы. Эта серость уже была тут, она была частью ее порывов, ее слез. От этой мысли она почувствовала такое отчаяние, что опять готова была зарыдать.

Потом она увидела, что Дьюкейн встал. Он стоял перед ней, глядя на нее своими голубыми глазами, которые сейчас казались удивленными. Он взволнованно сказал:

— Знаете, что я думаю, Мэри? Я думаю, вам с Вилли надо пожениться.

— Пожениться? — переспросила она уныло. — Но я же говорила вам, как он себя со мной ведет.

— Что ж, измените его. Я уверен, все зависит от вашей воли. Вы разрешаете ему заражать вас его пассивностью, вы поддаетесь его умонастроению.

Это было правдой. Она принимала его умона-

строение.

— Вы думаете, я и вправду могла бы?…

— Вы должны попытаться всеми силами, какие вы можете найти в себе. Вы слишком смиренны с ним. Зачастую гораздо милосерднее обращаться с человеком как с равным, а не как с тем, кто выше тебя. Любящая женщина — это огромная духовная сила, если она правильно направлена. Вы даже не подозреваете, какой властью обладаете над нами! Я давно догадался, что только вы можете помочь Вилли. Но я не видел в вас готовности к борьбе, вы должны удивить его, разбудить, даже причинить боль. Мэри, попытайтесь. Вы поженитесь с Вилли и увезете его отсюда.

Достаточно ли у меня сил, думала она. С тех пор как она познакомилась с Вилли, она сразу же полностью подчинилась ему. «Демонстрация чувств» не изменила ничего. Невзирая на все ее жесты, она просто исчезала в его присутствии, желая только одного — чтобы он был. Теперь ей казалось, что такое поведение было в корне неправильным, что именно такая политика породила в них обоих разочарование и печаль, которые казались Мэри его способом защиты от нее.

— Скажите это сами себе, — сказал Дьюкейн,

— все в ваших руках.

Мэри подумала: да, я выйду за Вилли и *увезу* его отсюда. Эта мысль озарила ее таким счастьем, что она легко и как бы не по своей воле встала, как будто бы два ангела подхватили ее под локти и приподняли над землей.

— Я попытаюсь, — сказала она, — попытаюсь.

— Я слышал, ты несносно вел себя за обедом.

— Кто вам сказал?

— Близнецы.

— Ну и что?

— Ничего. Давай взглянем на твою латинскую прозу.

— О Вилли, я так несчастен, простите.

— Барбара?

— Да.

— А она?

— Я только раздражаю ее.

— Не могу тебя утешить, Пирс. Ты будешь страдать. Но постарайся загнать страдание внутрь. А потом раздави его в своем сердце, как это сделал Одиссей.

— Правда, что первая любовь — самая трудная?

— Нет.

— О господи, Вилли. Мне кажется, я должен

уехать отсюда. Если бы она хотя бы бросила играть на этой проклятой флейте! Это меня почти что убивает.

— Да, могу представить, флейта ужасна.

— Вы не возражаете, если я похожу по комнате? Вы не можете представить себе, каково это — когда каждую секунду ты сознаешь, что тебе ужасно больно.

— Могу немного.

— Кто был вашей первой любовью, Вилли?

— Девочка, девочка, девочка…

— Какая она была?

— Это было очень давно.

— Наверно, хорошо быть в таком возрасте, когда уже не влюбляешься.

— Как Кефал в первой книге «Республики».

— Да. Я раньше не понимал этого. Я завидую вам. Как вы думаете, она может перемениться?

— И не надейся.

— Что же поможет?

— Только искусство. Или еще бóльшая любовь.

— Я бы умер от еще большей любви.

— Умри в жизнь, Пирс.

— Нет, просто умер бы. Ах, черт, я разбил одно из яиц, что вам подарили близнецы. Я пойду умоюсь.

Почему это маленькое расколотое яйцо, которое он смывал с кончиков пальцев, обломки пятнисто-голубой скорлупы и ярко-желтое содержимое так остро заставили его снова думать о Барбаре?

«Мое имя — смерть в жизни и жизнь в смерти». Безоглядная любовь должна быть силой жизни, вносящей в мир строй и красоту. Но эта же любовь может быть такой сильной и в то же время такой беспомощной, что разбивает сердце. Любовь не направлена к жизни, она нацелена на смерть, на ревущие морские пещеры уничтожения. Или она приводит к такой безделке — к маленькому разбитому яйцу, остатки которого уносятся водой из-под крана. Точно так же в один прекрасный день Бог может раздавить Вселенную и смыть ее бесплодные, беспомощные любови потоком безразличной силы.

— Извините, Вилли. Давайте взглянем на мою прозу.

— Я решил иначе. Прозу посмотрим завтра. Сегодня мы почитаем любовные стихи. Ты будешь читать вслух, и мы вместе поплачем. Вот:

Будем, Лесбия, жить, любя друг друга!
Пусть ворчат старики – за весь их ро-

пот

Мы одной не дадим монетки медной!

Пусть заходят и вновь восходят солнца,

—

Помни: только лишь день погаснет краткий,

Бесконечную ночь нам спать придется...[12]

[12] Примечания: 12
Перевод с лат. С. Шервинского.

13

Ленивый, угрюмый летний вечер отяжелел от пыли и испарений бензина, и усталость возвращающихся домой человеческих существ стелилась вдоль Ноттинг-Хилла, как отравляющий газ. Постоянный грохот транспорта трансформировался порой в яркий свет, искажающий фасады домов и лица людей. Весь район вибрировал, дергался и легко съезжал в сторону, как будто бы посторонние и злые силы пытались через пробелы, узелки и маленькие сумасшедшие углы, в которых линиям не удавалось сомкнуться, просочиться в обыкновенный мир.

Дьюкейн торопился, сверяя свой путь по маленькому чертежу, занесенному им в блокнот, чтобы легче отыскать дорогу к месту, где жил Макграт. Он несколько волновался по поводу этого неожиданного визита. Ему не нравилось разыгрывать из себя нахала, и расчетливо выверенное нахальство как раз и было необходимо в этом случае. Его волновало, не окажется ли это бессмысленным. Если уж нужно действовать напористо, то нужно делать это быстро и

эффективно и достигать желаемого результата. Но, к несчастью, он так мало знал о своей жертве и был не уверен, подействует ли на него угроза. И если преимущество неожиданности не сработает, Макграт может отказаться говорить, может настаивать на своих правах и вообще «обозлиться».

За всеми этими размышлениями стоял тот нервирующий факт, что расследование зашло в тупик. Премьер-министр требовал предварительного доклада, а Октавиен, хотя и не говорил ничего, начинал нервничать. Газета так и не выдавала полученные сведения, розыск Джорджа Дройзена на Флит-стрит ни к чему не привел, а напасть на след Елены Троянской представлялось невозможным. Дьюкейн обыскал кабинет Рэдичи в офисе и не обнаружил ничего интересного, а обещанное разрешение осмотреть дом Рэдичи и взглянуть на его счет в банке задерживалось по техническим причинам. Дьюкейн имел право жаловаться на то, что если расследование не имело определенного статуса, то оно и не могло быть успешным. Но он согласился вести его на этих условиях и поэтому не мог допустить мысли о неудаче и о том, чтобы подвести Октавиена. Макграт по-прежнему был его единственной

зацепкой, и все зависело от того, удастся ли разговорить его. Эта мысль заставила Дьюкейна еще больше занервничать, когда он свернул на улицу Макграта.

Макграт жил на шумной узкой улочке, по сторонам которой стояли дома с облупившимися фасадами, в некоторых из них помещались лавочки и магазины. Почти все двери были распахнуты, большинство обитателей, основная часть которых были цветные, либо сидели на улице, либо высовывались из окон. Номера были далеко не на всех домах. Дьюкейн отсчитал от последнего дома, на котором красовался номер, и смог найти дверь, на которой среди большого списка имен и звонков обнаружилось имя Макграта. Он колебался, прежде чем нажать на звонок, сердце его отчаянно билось… Он мрачно подумал: похоже на любовное свидание! И при этой мысли в его уме промелькнуло воспоминание о Джессике, как будто большая черная птица пронеслась прямо над головой. Он собирался увидеться с ней завтра.

— Звонки не работают, — сказал человек, спускавшийся по лестнице. — Кто вам нужен?

— Макграт.

— Четвертый этаж.

Дьюкейн стал подниматься по темной и пахнущей кошками лестнице. И действительно, пока он поднимался, три призрачных кошки появились и стали сопровождать его, лавируя между его башмаками и балясинами ограждения, поджидая его на площадках и снова бросаясь к нему. На четвертом этаже была единственная покрашенная дверь с американским замком и звонком. Дьюкейн позвонил и услышал, что звонок сработал.

Женский голос спросил: «Кто там?»

В собранных о Макграте сведениях не упоминалось, что он был женат, и Дьюкейн считал его холостяком.

Дьюкейн сказал:

— Я хотел бы побеседовать с мистером Макгратом.

— Минуту. — Послышались шаги, а потом дверь приоткрылась на дюйм. — Только не пускайте сюда крыс, ради бога.

— Крыс? — спросил Дьюкейн.

— Кошек, я их называю большими крысами. Я собираюсь открыть дверь, и вы должны *влететь* сюда, иначе они вбегут за вами, быстрей!

Дверь отворилась, и Дьюкейн быстро вошел, ни одна кошка не успела увязаться за ним.

У открывшей ему дверь высокой женщины был очень темный цвет лица, такой темный, что он сначала подумал, что она индианка. Она была одета в белый халат, а голова была укутана полотенцем. Возможно, белый тюрбан и навел на мысль об Индии. В этой женщине было нечто удивительное, но Дьюкейн не мог сразу понять, что именно. В комнате было темно и сумрачно, так как занавески были наполовину опущены.

— Я не выношу кошек, они все тащат, они вечно хотят есть и *царапаются.* Моя мать рассказывала, что однажды в мою колыбель прыгнула кошка и села прямо мне на лицо, и с тех пор я прихожу в ужас, если кошка входит в комнату. Забавно, правда? Вы тоже не выносите кошек?

— Нет. Я против них ничего не имею, — сказал Дьюкейн. — Извините, что беспокою вас, но я ищу мистера Макграта.

— Вы из полиции?

Вопрос насторожил Дьюкейна.

— Нет, разве мистер Макграт ждет полицию?

— Я не знаю, чего *он* ждет. Я жду полицию. Я жду, что атомная бомба упадет. У вас такой вид — как у охотника.

— Нет, я не из полиции, — сказал Дьюкейн. Но почти то же самое, подумал он с легким стыдом.

— Макграта сейчас нет. Но он скоро вернется. Можете подождать, если хотите.

Дьюкейн заметил, что его нервность сейчас полностью исчезла, сменившись спокойной заинтересованностью. Он почувствовал непринужденность. Он вполне мог поверить, что у него охотничий вид, и спокойно к этому отнесся. Он стал осматриваться и начал с женщины, которая стояла напротив.

Высокая белая женщина в тюрбане, конечно, не была индианкой. Цвет ее лица был довольно темным, и почти черные локоны выбивались из-под полотенца, но ее глаза были яркими, темно-голубыми, густого темного цвета Северного моря в солнечный день. Дьюкейн подумал, что в ней, должно быть, течет кельтская кровь. Она стояла перед ним, глядя на него со спокойным достоинством, с опущенными руками, взгляд безмятежный и слегка туманный — как жрица на вершине огромной лестницы, будто разглядывала далекую процессию, движущуюся к ее алтарю.

Вздрогнув от этого внезапного видения, Дьюкейн опустил глаза. Он не очень-то вежливо разглядывал ее, и до него вдруг дошло — слишком долго.

— Не говорите, кто вы, я угадаю.

— Я из… — начал было Дьюкейн.

— О, не беспокойтесь. Если вам интересно знать, кто я такая, я — Джуди Макграт. Миссис Макграт. Но, конечно, не *старая* миссис Макграт, она умерла десять лет назад, старая сука. Я жена Макграта, да поможет мне Бог. Вряд ли вы приняли меня за его мать, верно, хоть я уже и не та, какой была, когда победила на конкурсе красоты в Райле. Я там победила, знаете ли, что вы так смотрите? Я вам покажу фотографию. Вы женаты?

— Нет.

— Я так и подумала, что вы холостяк, у них такой свежий непотрепанный вид. Гей?

— Нет.

— Так вы мне и скажете! Это обычно их матери, старые суки, рассказывают. Почему бы вам не присесть? Денег за это не берут. Выпейте розового вина, оно ужасное, но, по крайней мере, все же алкоголь.

Дьюкейн сел на софу, покрытую покрывалом с цветами, подоткнутым под сиденье. В комнате царил беспорядок. Было душно, и пахло косметикой. Дверь была открыта во вторую комнату, там было темно. Кроме софы, мебель

состояла из низких карликовых стульев, обитых пластиком, и современных налакированных до ужаса кофейных столиков, расставленных вокруг телевизора в углу. Столы были покрыты слегка запылившимися салфетками, на них были расставлены маленькие вазы, замысловатые пепельницы, фарфоровые фигурки животных. На одном из стульев лежала очень дорогая на вид фотокамера. Белая нижняя юбка в оборочках лежала на покрытом линолеумом полу, у входа в темную комнату. Комната напоминала магазин или приемную, веяло временным, легкой тоской: атмосфера скуки — скуки, которую, наверно, испытывала сама миссис Макграт.

— О боже, мне было так скучно, когда вы пришли! — сказала миссис Макграт. — Ждать — такая скука.

Кого же она ждала, думал Дьюкейн. Почему-то ясно было, что не мужа.

— Нет, спасибо, — сказал он, отказываясь от протянутого ею стакана вина. Он заметил, что она держала что-то в другой руке — это было ручное зеркальце.

— Нос покраснел, да? Я официально замужем за Макгратом, знаете ли. Хотите заглянуть в паспорт? Или вы боитесь, что я вас заколдую?

Я не негритянка. Я не хуже вас. Или вы против валлийцев? Вы бы удивились, сколько людей их терпеть не могут. «Тэффи был валлийцем, Тэффи вором был» — и все такое. Я австралийская валлийка, по крайней мере, мои родители были австралийскими валлийцами, но потом они вернулись домой, и я родилась в Рэйле, где я победила на конкурсе красоты. Я могла бы стать моделью. А вы англичанин?

— Шотландец.

— Господи, как Макграт, но на самом деле он — гиена из Южного Лондона, хоть и родился в Кройдоне. Меня зовут, между прочим, Джуди. О, прошу прощения. Извините, я должна переодеться.

Миссис Макграт исчезла в соседней комнате, подхватив по дороге лежавшую на полу юбку. Через минуту она вернулась одетая в очень короткое зеленое полотняное платье, расчесывая свои почти черные волосы. Ее волосы, роскошные и жесткие, густой однородной волной закрывали шею, закругляясь на концах и придавая ей что-то египетское.

Дьюкейн поднялся. Он знал теперь, что́ в ней было так необычно, — она была очень красивой женщиной. Он сказал:

— Я передумал, я бы выпил немного вина.

— Очень мило с вашей стороны за компанию. Господи, какая гадкая бормотуха. Вот, возьмите. Садитесь, садитесь. Я сяду рядом с вами. Здесь. Вас не раздражает, что я расчесываюсь? Нет, вам не повезло, я ношу колготки, не на что посмотреть.

Миссис Макграт, усевшись рядом с Дьюкейном, скрестила ноги будто напоказ. Он прихлебывал розовое вино. Если она действительно заколдовала его, сейчас ему это было абсолютно безразлично. В комнате запахло алкоголем, скорее всего, сама миссис Макграт распространяла запах алкоголя. Дьюкейн понял, что она была слегка навеселе.

Низкий вырез зеленого платья обнажал смуглую впадину между двумя круглыми, нежными, едва прикрытыми белыми грудями. Ее лицо, на котором не видно было следов макияжа, казалось бледнее, загорелая кожа блестела. Крепкие черные волосы потрескивали и вздымались от ударов щеткой. Темная леди, подумал Дьюкейн. Он подумал — Цирцея.

Холодные темно-голубые глаза смотрели на него спокойно, туманно. Миссис Макграт, не переставая причесываться, достала левой рукой стакан: бум-бум. Она слегка звякнула своим

стаканом о стакан Дьюкейна и вдруг, вывернув мускулистое запястье, нежно погладила тыльной стороной руки его руку. Щетка замерла.

Рука миссис Макграт все еще соприкасалась с рукой Дьюкейна. Дьюкейн чувствовал сильный локальный ожог, и в то же самое время длинное теплое копье будто вонзилось в самую сердцевину его существа. Он не отнял руки.

Щетка упала на пол. Правой рукой миссис Макграт взяла оба стакана, прижав их друг к другу, и поставила их на один из столиков. Ее рука, как змея, стала обвиваться вокруг его руки, пальцы медленно скользили по его ладони, сжимая ее.

Дьюкейн смотрел в ставшие вдруг сонными темно-голубые глаза миссис Макграт. Она нагнулась и нежно прижалась губами к его рту. Секунду или две они тихо сидели в этой позе. Потом руки миссис Макграт обняли его за плечи, и она с силой прижалась к нему, раздвигая его губы. Дьюкейн ощутил ее язык и зубы. Через мгновение он отстранился и встал.

Миссис Макграт не шелохнулась, обе руки остались поднятыми в том же положении, в каком они только что обнимали его, когда он вставал. Ее глаза цвета Северного моря сузились теперь, забавляющиеся, хищные и острые. Она мягко

сказала:

— Мой сладкий, мой сладкий, я вас люблю, я вас люблю.

Позднее Дьюкейн много размышлял о своем поведении в этом случае и не смог оправдать себя в том, что позорным образом «поддался ходу вещей». Но в тот момент главное, что переполняло его, — огромный безответственный физический восторг, связанный с тем, что случилось только что, как будто их движения с момента, когда их руки соприкоснулись, претворились в некий вибрирующий образ внутри его нервной системы. Он почувствовал необузданную радость, как человек, на шее которого висел тяжелый нелепый венок и неожиданно его сняли. Одновременно он почувствовал необходимость быть предельно прямым с миссис Макграт и сообщить ей всю правду, какова бы она ни была.

Он сказал очень быстро:

— Миссис Макграт, это правда, что я не полицейский, но я — представитель государственного департамента, в котором работает ваш муж. Боюсь, что у вашего мужа неприятности, и я пришел сюда, чтобы задать ему ряд довольно неприятных вопросов.

— Как вас зовут? — спросила Джуди Макграт,

расслабляясь.

— Джон Дьюкейн.

— Вы — сладкий.

Дьюкейн осторожно сел за один из столиков, бережно отодвинув фарфоровую семейку хрюшек.

— Я боюсь, дело может обернуться очень серьезно…

— Вы очень сладкий. Вы знаете об этом? Выпейте еще розового вина. Что вы хотите узнать у Макграта? Может быть, я смогу вам рассказать?

Дьюкейн торопливо подумал: «Могу ли я?» И его профессиональная жесткость, усилившаяся еще от чувства вины, подавив его зачарованные нервы, сказала: «Да». Он проговорил, предупреждая посерьезневшим взглядом:

— Миссис Макграт, ваш муж шантажировал мистера Рэдичи.

Глаза Джуди Макграт перестали быть похожими на очи жрицы. Она глядела на Дьюкейна проницательно, хоть и доверчиво. Она смотрела на него так, как смотрят на старого друга, сообщившего дурную весть. Через минуту она сказала:

— Он, наверно, потеряет работу?

— Сколько давал ему Рэдичи за молчание? — спросил Дьюкейн. Он устремил на нее холодный,

почти циничный взгляд, и все же, когда он потом думал об этом, ему казалось, что и в вопросах, и в ответах таилась страсть, как будто им предшествовала буря.

— Я не знаю. Немного. Питер не особенный умник. Он питался газетной жвачкой с самого детства.

Дьюкейн глубоко вздохнул. Он опять встал.

Пока он формулировал следующий вопрос, на лестнице послышались шаги. Они быстро обменялись взглядом. Она сказала тихо:

— Это он. Мы встретимся еще, мой сладкий, мы встретимся еще.

Дверь открылась, и вошел Макграт.

План Дьюкейна застать Макграта врасплох, несомненно, удался. Макграт замер в дверях — его розовый рот открылся — и глядел на Дьюкейна. Потом он бросил испуганный мрачный взгляд и неловко и резко повернулся к жене.

— Добрый вечер, мистер Макграт, — сказал Дьюкейн мягко. Он чувствовал тревогу и холод.

— Что ж, я пошла в паб, — сказала Джуди Макграт.

Она взяла с софы свою сумочку и двинулась к двери. Так как Макграт все еще стоял там, вперившись в Дьюкейна, она оттолкнула его. Он

захлопнул за ней дверь ногой.

— Извините за вторжение, — сказал Дьюкейн. — Я понял, что задал вам в прошлый раз не все вопросы.

— Ну?

Опасное чувство равенства между ними повисло в воздухе. Грубый жест Макграта по отношению к жене как будто еще длился во всем его теле. Дьюкейн подумал: я должен ошеломить его. Он сказал:

— Макграт, вы шантажировали Рэдичи.

— Это вам жена сказала?

— Нет. Бумаги Рэдичи рассказали об этом. Как вы знаете, кара за шантаж очень строгая.

— Это был не шантаж, — сказал Макграт. Он прислонился к двери.

— Что ж, скажем так: Рэдичи вознаграждал вас за то, чтобы вы держали рот на замке. Честно говоря, Макграт, вы мне безразличны, и, если вы мне сейчас откроете *всю* правду, я сделаю все, что от меня зависит, и вытащу вас. Но если нет, то вами займется закон.

— Я не понимаю, — сказал Макграт, — я не сделал ничего плохого.

— Ну-ну. Мы знаем, что вы выжимали деньги у Рэдичи. Вам не приходило в голову, что, может

быть, вы частично ответственны за его смерть?

— Я? — Макграт прошел в комнату и схватился за спинку софы. Он понял, что ему легко не отделаться, и лицо его стало потрясенным и одновременно брюзгливым, он все равно был уверен в своей правоте. — Он никогда не упрекал меня. Он не волновался *из-за меня.* Я любил его. Мы были друзьями.

— Боюсь, что не верю вам, — сказал Дьюкейн. — Вот что я хочу знать…

— Это не было *шантажом*, — сказал Макграт, — и вы не сможете доказать обратное. Мистер Рэдичи давал мне деньги на всякие поручения. Я не беспокоил его, это не из-за меня, лучше спросите мистера Бирана, он лучше расскажет вам о том, что творилось у мистера Рэдичи дома. Я никогда не угрожал мистеру Рэдичи ничем, вы не докажете, что это был шантаж, это не было шантажом, старый джентльмен просто любил меня, он *любил* меня и щедро платил, вот и все.

Дьюкейн шагнул назад. Его ум метался в разные стороны, чтобы справиться с тем, что только что так неожиданно узнал. Он сказал холодно:

— Мистер Биран… Да, конечно, он там бывал много раз, не правда ли?

— Говорю вам, бывал, — подтвердил Макграт,

— и я расскажу, что было между мной и стариком. Какой я шантажист! Да я мухи не обижу! Я…

Макграт начал горячо говорить.

Дьюкейн подумал: итак, Биран лгал о своих взаимоотношениях с Рэдичи. Почему? Почему? Почему?

14

Три женщины медленно шли по кромке моря. Гладкое море было похоже на легкий искрящийся голубой мундир, брошенный здесь, — сверкающий, поблескивающий украшениями, отделенный тонкой темной линией от бледного голубого неба. Если смотреть на него, то в такие дни, кажется, взор теряется в бесконечности. На пляже было несколько местных, но сейчас, в мертвое время раннего полдня, они ушли. На фоне открытых зеленых холмов Барбара, скачущая на своем новом пони, была похожа на фигуру, нарисованную на заднем плане полотна Уччелло.

Силуэты женщин, резко очерчиваясь на фоне бледно-голубого неба, казались монументальными на этой пустой сцене. Они медленно и лениво шли друг за другом гуськом. Первая — Пола, завернувшись в льняное покрывало, следующая — Мэри, на ней было белое платье, вышитое маленькими голубыми маргаритками, и замыкала процессию Кейт, в пурпурово-красном одеянии в узорах цветов островов южных морей. Кейт, в своих полотняных туфлях, не боялась идти прямо

по краю воды. При отливе образовалась гладкая песчаная полоса, она и шла по ней. Другие ступали чуть выше, по гребню лиловых и белых камешков.

Пола все крутила и вращала обручальное кольцо на тонком пальце. Ей очень хотелось бросить его в море, но ее останавливал остаток древнего суеверия. Она думала: ради всего святого, что же мне теперь делать? Она только что получила почтовую открытку от Эрика, посланную из Сингапура. Что-то в этом медленном продвижении по глобусу ее бывшего любовника угнетало и ужасало ее. Ее первой реакцией был неприкрытый ужас. Возможно, она почувствовала, что ее связывают обязательства, долг, и при слове «долг» она снова обрела способность размышлять. Возможно, раненый и поврежденный по ее же вине разум Эрика мог быть исцелен только с ее помощью? В конце концов, ей совсем не нужно было выходить замуж за Эрика или опять становиться его любовницей; как ей показалось вначале под влиянием шока, по непонятно какой причине она сперва думала, что обязана выйти за него. А необходимым было только одно — нужно противостоять ему, нужно разумно и добро поговорить с ним, говорить, если нужно, бесконечно.

Он слишком быстро уехал, и ее так безумно обрадовало это. Она ведь никогда по-настоящему не понимала ситуацию, не размышляла над ней, просто отбросила прочь. Возможно, если бы она сейчас попыталась *понять* сама и помочь Эрику понять ее, то, возможно, это породило бы нечто доброе, природу чего она сейчас постигнуть была еще не в состоянии. Мысль о противостоянии Эрику была такой чистой и ужасной болью, что она не могла справиться с ней умом.

Я так и не поняла, что произошло, думала Пола. Все было так ужасно, что я перестала думать. Я никогда не пыталась представить, чем все это было для Ричарда. Если бы я смогла, я бы удержала его. Но я ненавидела себя и всю эту запутанную ситуацию. Я позволила Ричарду уйти потому, что хотела остаться одна. А я должна была бы покорить Ричарда своим пониманием. И все же его уход казался неизбежным. Да и был таковым. Разве не бесплодно думать о прошлом и выстраивать логические схемы — почему оно пошло не в ту сторону, куда бы нужно? Я никогда не верила в угрызения совести и раскаяние. Но с прошлым надо что-то делать. Оно не может исчезнуть просто так. Оно продолжает существовать и воздействовать на настоящее новыми и

разнообразными путями, как будто бы в каком-то другом измерении оно само растет.

Она оглянулась на унылую тихую голубую поверхность моря, несущего к ней по волнам Эрика. Если бы я могла сейчас ясно понять, думала она, свое тогдашнее поведение, принесло бы это нам всем пользу? Она подумала, что это «нам всем» должно было бы включать и Ричарда, но она уже никогда ничего не может сделать для Ричарда — только оставить его в покое. Одному Эрику, а не Ричарду она теперь имела силу помочь, и сейчас она должна избавиться от безумного страха, возникающего при мысли о *проблеме* — как осуществить это. Я должна все обдумать заранее, думала она, и нужно контролировать себя. Эрик может заставить меня делать ужасные вещи. Конечно, Пола никому не рассказала о своей тревоге. Она сложила ее в своем сердце как ужасную кровавую тайну мистической религии.

Мэри думала: а что было бы, если бы я вышла за Вилли и увезла его отсюда? Мысль была туманной, чудесной и открывала возможности перемены, новых пространств, нового смысла. Это была удивительная мысль. А все-таки почему бы и нет? Дьюкейн был прав, когда говорил, что она приучилась чувствовать себя ниже Вилли.

Она разрешила ему произнести над ними обоими дурное сонное заклинание. А сейчас нужно было проявить волю и найти в своей душе некую свежесть, способную побороть это заклинание. Я никогда не веселилась сама по себе, думала Мэри. Алистер был веселый, вся радость брака была только его уделом. В моей природе какое-то беспокойство, думала она. Глупое, порочное беспокойство… даже сейчас, когда я иду вдоль голубого моря, сияющего сахарным блеском. Я вижу все через призму беспокойства. Мой мир — коричневый мир, смутный, пятнистый, расплывчатый мир — как старая фотография. Могу ли я ради Вилли изменить это? По милости богов нам посылается доброта. Возможно, иногда милость посылает радость. А может быть, это одно и то же, а другое имя для них обеих — надежда. Если бы я хоть чуточку верила в счастье, я могла бы властвовать над Вилли, *спасти* Вилли.

Действительно, слова Джона Дьюкейна «в вас есть достаточно силы» изменили ее отношения с Вилли. Но пока она не могла представить себе, как она будет предлагать ему жениться на ней, хотя и пыталась нарисовать в воображении эту картину. Да, между ними все теперь иначе. Думаю, я слишком была одержима идеей, что он

должен рассказать мне о своем прошлом — что там *такое* было. И это создало барьер между нами. Но теперь я должна перескочить через этот барьер, подойти к Вилли ближе и разбудить его чем-то вроде *простой* любви. Не мое дело распутывать прошлое Вилли и пытаться интегрировать его в настоящее, которое я разделяю с ним. Это невозможно. Я должна просто и спокойно любить его, пусть даже заботясь о своем счастье! Я уже чувствую себя более независимой с ним. Мэри ощущала эту возросшую независимость как почти физическую, упругую радость жизни, она и двигалась по комнате Вилли совсем по-другому. И она видела, что Вилли приятно удивлен этим и поставлен в тупик. Когда она видела на его любимом лице этот удивленный взгляд, она смеялась самым своим лучшим смехом, каким не смеялась уже давно.

Кейт думала о том, как приятно вода холодит лодыжки, чудесное чувство, когда нечто холодное ласкает нечто теплое, как в некоторых пудингах — горячий торт спрятан под пластом ледяного мороженого. И какое яркое голубое море, совсем не синее, а будто котел света. Какой чудесный цвет, как бы я хотела искупаться в *цвете* этого моря, падать вместе с голубизной в водоворот

чистого блеска, где уже нет никакого цвета, а только одно блаженство. Как все чудесно, а Октавиен нисколько не огорчился из-за Джона. Я знаю, что нет, ни капельки, его это совсем не беспокоит. Октавиен счастлив, и я собираюсь сделать Джона тоже счастливым. Он еще немного беспокоится по поводу Октавиена, но он скоро поймет, что все в порядке, все великолепно, и тогда он тоже станет счастлив. Как прекрасна любовь. Это самое прекрасное, что есть в мире. И как же я счастлива, что способна любить без всякой запутанности, без страха, в абсолютной свободе. Конечно, Октавиен великолепен, у него божественный характер. И если на то пошло, я такая же. Мы оба балованные дети, у нас было счастливое детство. Тут есть существенная разница. Я думаю, что быть добрым — это просто вопрос темперамента. И мы все будем добрыми и счастливыми. О, как невероятно прекрасно быть мной!

15

— О, это ты, — сказал Вилли Кост. — Давненько не виделись.

Тео медленно вошел в коттедж, не глядя на хозяина, и закрыл дверь, прислонившись к ней плечом. Он прошелся по комнате и поставил на подоконник бутылку виски. Он зашел в кухню Вилли, взял два стакана и кувшин с водой. В каждый стакан он плеснул немного воды и немного виски и предложил один стакан Вилли, сидевшему за столом.

— Что это за музыка? — спросил Тео.

— Медленная часть Двенадцатого квартета. Опус сто двадцать семь.

— Я его не выношу.

Вилли выключил граммофон.

— Эта медленная часть изображает агонию сознания.

— Да, — сказал Вилли.

Тео, прислонившись к высокому окну, выглянул в него.

— Чудесный бинокль. Это Барбара тебе подарила?

— Да.

— Я вижу трех наших граций, идущих по краю моря. Одна красивее другой.

— О да.

— Знаешь, почему я так долго не приходил?

— Почему?

— Я подумал, что вреден для тебя.

Вилли пил виски.

— Ты знаешь, это не так, Тео.

— Так. Тебе нужны простые обыкновенные люди. Мы с тобой всегда говорим о метафизике. Но вся метафизика от дьявола, от *дьявола.*

— Значит, нет метафизики добра?

— Нет. По крайней мере, об этом ничего не может быть *сказано.*

— Печально для человеческого рода, потому мы все по природе болтуны.

— Да. Мы все по природе болтуны. И это углубляет, удлиняет, распространяет и усиливает зло, живущее в нас.

— Брось, брось, — сказал Вилли. — Очень немногие люди разделяют дьявольские теории, о которых ты говоришь.

— Но эти теории влияют на людей, проникают в них. Эти теории порождают иллюзию знания. Даже то, в чем мы совершенно уверены, всего

лишь иллюзорная форма.

— Как что, например?

— Как суета. *Все* — суета, Вилли, и человек проходит тенью. Ты и я — мы единственные люди здесь, которые знают это, вот почему нам так трудно друг с другом. Нам хорошо бы поболтать на эту тему. Ты и я — мы единственные люди, которые знают, но мы также знаем, что не знаем ничего. Наши сердца слишком испорчены, чтобы познать такую вещь, как истина, мы знаем ее только как иллюзию.

— Есть ли выход?

— Есть миллион выходов на *эту сторону*, обратно в мираж обыденной жизни. Булочки к чаю — один из выходов. Проперций — выход. Но есть и дырки от гвоздей. Нужно суметь… пробраться через них… на другую сторону.

— Может быть, ты и прав насчет Проперция. Но я хочу защитить булочки к чаю.

— Мэри.

— Нет, не Мэри. Мэри из другой оперы. Только булочки к чаю.

— Есть булочки и булочки, — уступил Тео. — Но возьмем для примера Проперция. В чем смысл твоей активности, к чему ты *действительно* стремишься? Бессмысленная суета, заполнение

пропасти, которая должна бы оставаться пустой, тогда тебе легче было бы спасти свою душу. Разве твое издание Проперция будет великим научным достижением?

— Нет.

— Оно необходимо человеческому роду?

— Нет.

— Не великое и даже не необходимое. Нечто среднее, то, чем просто заполняют время. Зачем же ты этим занимаешься?

Вилли задумался на минуту. Он сказал:

— Это выражает мою любовь к Проперцию и мою любовь к латинскому языку. Любовь стремится найти себе выражение, ради нее надо работать. Может быть, это невозможно определить в рамках твоей дьявольской метафизики, без того чтобы не извратить, но это — несомненное добро. И если несомненное добро достижимо, то нужно протянуть к нему руку.

— Разреши мне исправить твое определение, Вилли. Объект любви тут — ты сам, это та ценность, которую ты с помощью Проперция и латыни стремишься пробудить и защитить.

— Возможно, — сказал Вилли. — Но я не вижу, почему так уж нужно знать. Ты велик потому, что ничего не знаешь. Лучше не знать, правда?

Тео отошел от окна и встал у стола, упершись в него костяшками пальцев и рассматривая своего хозяина. Полы его пиджака слегка распахнулись и обнажили засаленную рубашку, пятнистые коричневые подтяжки и грязный шерстяной жилет. Присущий Тео запах пота и собачьей шерсти распространился над открытыми книгами и словарями. Вилли нагнулся, потирая тонкую лодыжку своей изящной рукой.

— А что после Проперция? Что?

— Другое пустое занятие, чтобы заполнить время, наверно.

— Кто-нибудь рассказал тебе о парне, покончившем с собой?

— Нет, — ответил Вилли удивленно. — Кто?

— О, кто-то, кого мы не знаем, как говорит Кейт. Какой-то незначительный человек из конторы моего дорогого брата. Они все разволновались. Это самое забавное, что случилось с тех пор, как Октавиен стал кавалером ордена Британской империи. При *тебе* молчат об этом, ты знаешь почему! Для всех здесь ты стал какой-то священной коровой.

— Зря они беспокоятся обо мне, — пробормотал Вилли. — Я выстою до конца своего срока.

— Да, я это знаю, — сказал Тео, — хотя и не знаю

почему. И не знаю, почему и я выстою тоже. Мне плохо в последнее время. И мне трудно выносить это там, в доме. Вот почему я прихожу мучить тебя. А там все становится хуже. Они так мило следят друг за другом, так ласково. *Homo homini lupus est*[13]. Они все — сексуальные маньяки и даже не подозревают об этом. Вот хоть мой дорогой братец, этот совершенный шар, получающий эротическое удовлетворение, наблюдая за тем, как его жена флиртует с другим мужчиной…

— Почему бы не быть к ним немного снисходительным, — сказал Вилли. — Они не причиняют никому вреда. Ты поносишь нас за то, что мы не святые.

— Да, да, да. А когда я перестану обличать, я просто умру. Это все, что я знаю, и я буду выкрикивать это, как скучная птица, знающая только один напев.

— Если ты знаешь так много, ты должен знать большее. Есть *свет*, в котором ты судишь нас.

— Да, — сказал Тео, — свет являет мне зло, но не дает надежды на добро, ни на волосок надежды, ни на волосок.

— Ты наверняка ошибаешься, — сказал Вилли,

---

[13] Примечания: 13
Человек человеку — волк *(лат.)*.

— *наверняка* ошибаешься.

— Ты выражаешь трогательную и фундаментальную форму религиозной веры. Тем не менее все они прокляты.

— Тео, — сказал Вилли, — расскажи мне как-нибудь, расскажи хоть сейчас о том, что на самом деле случилось с тобой в Индии, что *случилось*?

Он потряс головой, склонив над столом свое узкое, заостренное лицо.

— Нет, душа моя, нет. — Он помолчал. — Ты, Вилли, расскажи мне как-нибудь, хоть сейчас расскажи, что было с тобой… там.

Вилли молчал, разглядывая свою руку, как будто пересчитывая пальцы. Он медленно сказал:

— Я мог бы… когда-нибудь… рассказать тебе.

— Чушь, — сказал Тео. — Ты не должен мне рассказывать, о таких вещах не говорят, я не буду слушать.

Он отшатнулся от стола. И, обойдя его, подошел к Вилли сзади. Он положил свои широкие плотные руки на плечи Вилли, ощущая маленькие, как у кошки, кости. Он помял его плечи. И сказал:

— Я очень глупый человек, Вилли.

— Я знаю. Некий *курос*…

— К черту куросов. Ты должен простить меня,

отпустить мне грех.

— Ты всегда хочешь, чтобы тебя прощали. За что тебя прощать? Конечно, не за то, что ты груб, неделикатен, и неверен, и эгоистичен…

— Нет!

Они оба рассмеялись.

— Я могу простить тебя, Тео. Я не могу отпустить тебе грехи. Ты сам должен отпустить себе грехи. Прости прошлое и дай ему уйти… навсегда… прочь.

Тео наклонился вниз, и его лоб коснулся шелковых белых волос. Он закрыл глаза, и его руки скользнули вниз с плеч Вилли, чтобы получить то успокоение, за которым он пришел, чтобы получить в ответ ласковое пожатие рук Вилли.

16

— Октавиен, я обнаружил нечто очень странное.

— Садись, Джон. Должен сказать, я счастлив, что ты *обнаружил* хоть что-нибудь, странное или нет. Что же?

— Слушай, — сказал Дьюкейн. — Я был вчера вечером дома у Макграта…

— Макграт *шантажировал* Рэдичи?

— Да, но не это важно. Макграт упомянул о Биране. Он сказал, что Биран часто бывал дома у Рэдичи.

— Биран? Я думал, что он вообще не знаком с Рэдичи.

— Он хотел, чтобы мы так думали. Что ж, я не выразил удивления, я просто позволил Макграту продолжать, и я навел его на рассказ о том, что именно случилось, когда он вошел в кабинет Рэдичи сразу после выстрела, тут всплыло кое-что еще. Биран *запер дверь.*

— Запер дверь кабинета Рэдичи? Изнутри?

— Да. Макграт сказал: «И тогда мистер Биран впустил меня».

— Правду ли сказал Макграт?

— Допускаю, что да.

— Может быть, он запер дверь инстинктивно?

— Странный инстинкт. Разумеется, дверь могла оставаться запертой всего лишь мгновение. Макграт уверяет, что не прошло и минуты, когда он подошел к двери. Но почему вообще она запиралась? Но погоди, это еще не все. Я начал думать о том, что могло случиться в эти несколько мгновений, и я заметил кое-что, что надо было бы заметить, как только я увидел полицейские фотографии.

— Что?

— Рэдичи был левшой.

— Я не обращал внимания. Да?

— Ты мог и не заметить. Но один левша сразу замечает другого. Один из немногих серьезных разговоров, которые были у меня с Рэдичи, касался причин этого явления. Он сказал мне, что его правая рука была совершенно беспомощна.

— Ну и?…

— Револьвер лежал на столе у правой руки Рэдичи.

— Господи! — воскликнул Октавиен. Потом он сказал: — Полагаю, он все-таки мог и правой рукой…

— Нет. Представь себе, что ты стреляешься левой.

— Мог ли револьвер просто выпасть из его руки таким образом?

— Думаю, это невозможно… Я внимательно изучил фотографии.

— Что из этого следует?

— Подожди, Биран ведь сам сказал, что трогал револьвер…

— Да, он сказал, что только передвинул его на дюйм, чтобы посмотреть, жив ли Рэдичи, а потом положил на место.

— Именно.

— О боже, — сказал Октавиен, — ты не думаешь, что Биран убил его, а?

— Нет, не думаю…

— Не тот у Бирана темперамент, и, кроме того, зачем?…

— Не знаю, какой у Бирана темперамент. Стоит найти мотив, а темперамент приложится.

— Это могло бы быть идеальным преступлением, ведь правда? Войти в кабинет человека, застрелить, а потом «обнаружить» тело.

— Может быть. Но посмотри, тут возникло бы много сложностей. Выстрел был произведен с очень близкого расстояния в рот. Однако позволь

мне продолжить. Я обратился в Скотленд-Ярд. Ты помнишь, я просил тебя, чтобы премьер-министр замолвил словечко тамошним ребятам. Очевидно, он так и сделал, потому что они прямо умирали от желания помочь мне. Я хотел проверить отпечатки пальцев, принадлежали ли они левше и были ли там, где и должны бы быть.

— Ну и?

— Они принадлежали действительно левше и, насколько я могу судить, находятся именно там, где должны быть. Но из этого еще рано делать окончательные выводы, во всяком случае, он держал револьвер так, что мог произвести выстрел. Теперь, Биран говорил, что трогал револьвер. Как он сказал об этом? Казался ли он нервничающим, потрясенным?

— Да! — сказал Октавиен. — Но мы все здорово нервничали и все были потрясены! Мы не привыкли к внезапным смертям после ланча.

— Естественно. Итак, отпечатки пальцев Бирана были найдены только на стволе револьвера. Ты помнишь, что у него взяли отпечатки пальцев?

— Да.

— Я вот что подумал. Ведь может быть, что он застрелил Рэдичи, стер свои отпечатки, вложил

револьвер в руку Рэдичи. Тогда ясно, зачем ему понадобилось запереть дверь.

— Нет. Если бы он сообразил вложить револьвер в руку Рэдичи, он сообразил бы и оставить револьвер слева, а не справа.

— Правда. И это выводит Бирана из игры. Если только тут не таится дьявольская хитрость…

— Нет, нет. Я не верю в такие вещи. Хорошо, продолжим. Потом у меня возникла одна мысль. Ты помнишь, что Рэдичи носил старомодные накрахмаленные воротнички?

— Да.

— Отпечатки Бирана были на воротничке Рэдичи.

— На *воротничке*? Ты думаешь, они боролись или…

— Сомневаюсь в этом. Следов борьбы не найдено. Я думаю, это означает, что Биран двигал тело.

— Это странно. И об этом он ничего не говорил. Зачем бы…

— Ты помнишь, — сказал Дьюкейн, — как удивлялся тому, что не нашли предсмертной записки, это казалось не соответствующим привычкам Рэдичи?

— Ты думаешь… Ты думаешь, Биран обыскивал тело и забрал записку?

— Ну, это возможно. Если Биран и Рэдичи были связаны чем-то, то Биран мог бояться того, что найдут на теле убитого. Он обыскал тело, я уверен, в поисках записки или чего-то еще. Ошибка с револьвером доказывает, что Биран был захвачен врасплох. Он запаниковал, он знал, что в его распоряжении несколько мгновений, запер дверь — довольно опасное предприятие, скажу я тебе, — а потом… Можно легко представить: случайно задел револьвер, откинул тело к спинке кресла, чтобы обыскать карманы. Затем, снова вернув тело в первоначальное положение, положил револьвер с правой стороны.

— Может быть, может быть, — сказал Октавиен. — Я все время думал, хотя я не *думал* на самом деле — это просто смутно проскользнуло в моей голове, — как *аккуратно* револьвер лежал возле правой руки. Он мог упасть куда угодно, но только не туда.

— Да, — сказал Дьюкейн печально. — Я тоже думал об этом. Я оказался, надо признаться, не слишком сообразительным, Октавиен. Я должен бы сразу заметить, что револьвер лежит не с той стороны, и, если бы я был *там*, я бы заметил, по фотографиям это труднее понять.

— Но разве не странное совпадение, что именно

Биран оказался ближе всех, когда это случилось? Насколько мы можем быть уверены… Биран не убивал его, это ужасная мысль, и я так не думаю, но все это странно.

— Мы не можем быть уверены, но я не верю, что Биран убил его. Если бы он это сделал, он либо вложил бы револьвер в правую руку Рэдичи, либо положил бы его с левой стороны на стол. Он не мог сделать одно правильно, а другое неправильно. Я не верю в это никоим образом. Что касается совпадения — что ж, это могло быть совпадением. Разве только Рэдичи сделал это внезапно под влиянием того, что Биран сказал ему. Мы ведь не знаем, был ли Биран в комнате до выстрела. Или Рэдичи хотел заставить Бирана смотреть, как он делает это.

— Это жутко, — сказал Октавиен. — И как-то несообразно. Рэдичи не знал ничего относящегося к государственным секретам, но Биран знал практически все наши хитрости. Что же они замышляли?

— Нет, дело не в *этом*, — сказал Дьюкейн. — Я полагаю, это что-то гораздо более странное, что-то связанное с магией, которой Рэдичи занимался.

— Макграт не рассказал, чем Биран, собственно, *занимался* дома у Рэдичи?

— Нет. Макграт просто видел его там. Я думаю, Макграт говорил правду. Я его припугнул немного.

— Надо его как следует еще раз потрясти.

— Я уже вытряс, думаю, все, что возможно.

— А что думают ребята из Скотленд-Ярда? Не хотят ли они сами заняться этим?

— Они не знают. Я сам взял отпечатки. Я наплел им всякую ерунду…

— Мм. Смотри. Как бы не нажить неприятности потом!

— Дай мне разобраться с этим, Октавиен. Мы расскажем все полиции, но не сейчас. Не хочу, чтобы Бирана сейчас вспугнули.

— Ты собираешься попросить его дать объяснения?

— Пока нет. Я хочу все делать последовательно. Мне нужна другая нить. Мне нужна Елена Троянская. Она сейчас недостающее звено.

В час пик «бентли» Дьюкейна медленно двигался по выпуклым терракотовым плитам Молла. Плотные облака жары кружились над ползучим шумом машин, бросая клочья дымки на неподвижные деревья Сент-Джеймс-парка, в котором уже слегка увядала прелесть лета. Было одно из мгновений, когда над Лондоном проносится

вздох вялого отчаяния. Бессмысленность летнего Лондона ужасна, ее только подчеркивают туманы или ранние сумерки, летняя тоска, остекленевшие глаза, переполненный кошмарами короткий сон в надоевшей, вызывающей отчаяние комнате. С этой тоской зло, крадучись, входит в город, зло безразличия, сонливости, отсутствия любви. В такое время люди поддаются искушениям, с которыми стойко боролись раньше, а преступление, о котором долго мечтали, наконец с удивительной легкостью совершается.

Дьюкейн, сидевший на переднем месте рядом с Файви, чувствовал, как эти миазмы сползают на него с людных мостовых, пролетающих мимо медленно, как во сне. Все в его жизни стало низким, разорванным, гротескным. Он солгал Джессике. Он сказал ей, что вечерние совещания в конторе мешают ему навестить ее на этой неделе. Он обещал, что они увидятся на следующей. Он чувствовал, что Джессика все больше загоняет его в угол, как будто бы девушка была некой запутывающей его силой, которая все *росла.* Бывали мгновения, когда он почти цинично мечтал: ну так расти же, сделай из меня зверя, сделай из меня демона и надели демонской силой. Но явное зло, порождавшее эти мысли, пугало его и

возвращало к привычному, простому смятению.

Его стремление увидеть Кейт выросло к этому времени до тревожащих его самого размеров, стало таким интенсивным, что он даже чуть было не приказал Файви ехать утром в Дорсет вместо Скотленд-Ярда. Однако он совершенно ясно представлял себе, что поступок такого рода может уродливо и, возможно, непоправимо разрушить тот гармонический образ, который Кейт втайне взлелеяла, в который поверила сама. В его отношениях с Кейт сложилась какая-то невинная и милая непринужденность, все проблематичное, даже просто неожиданное, исключалось из них. Между ними могло быть большое чувство, даже глубокая любовь, но никаких безумств. Была и потребность друг в друге, но уравновешенная, предписанная, а не пренебрегающая всем на свете необходимость видеть друг друга. Каким непрочным казался ему этот золотой круг, определявший его существование теперь, ради которого он убил любовь Джессики. Не знаю, следует ли рассказать Кейт все о Джессике, сомневался он, и с неким *élan*[14] к освобождению представлял себя стоящим на коленях перед

[14] Примечания: 14
Стремление, порыв *(фр.).*

Кейт, склонившим голову на ее колени. Но нет, подумал он, это страшно ранит ее, и, подумал он мрачно, я тогда предстану перед ней наполовину лжецом. Я должен сказать ей, но позже, позже, позже — когда все будет кончено и прекратится эта агония. Сказать сейчас значило бы пойти против правил, *ее* правил. Я не должен вовлекать Кейт во все эти хитросплетения. Она представляет наши отношения простыми и солнечными, и я не должен обмануть ее ожиданий, я должен сделать их простыми и солнечными.

Дьюкейна потрясло открытие насчет Бирана — больше, чем он показал это Октавиену. Ему совсем не улыбалось копаться в человеке, к которому он по непонятным причинам испытывал необъяснимую неприязнь. На какой-то момент Дьюкейн потерял — возможно, это было следствием летней вялости — обычное чувство собранности и значительности, он уже не мог показывать миру в своем лице образ вдумчивого труженика. Он жалел себя, он был уязвим и раним. В таком состоянии кто угодно может «ворваться в его душу», вонзить нож и повернуть. Это было одной из причин, почему он боялся оказаться лицом к лицу с Джессикой. Ведь Джессика могла причинить ему огромную боль, и

только ее слепая любовь удерживала ее до сих пор от этого. Он знал, что если придет к ней в этом обнаженном, ослабленном состоянии, то она инстинктивно замучает его до крайности. Дьюкейну не нравилось и то, что отныне Биран — его противник. Он весь съежился при мысли о том, чтобы применить власть к этому человеку. Что бы ни связывало Бирана и Рэдичи, это было что-то неприятное, и, как предчувствовали тонкие ноздри Дьюкейна, жутко неприятное. Что бы ни случилось, казалось весьма вероятным, что Дьюкейна скоро вовлекут в личную схватку с Бираном, а для этого он чувствовал себя сейчас недостаточно сострадательным, ясно мыслящим да и попросту сильным.

А еще случился этот странный эпизод с миссис Макграт. Сразу, как только Дьюкейн ушел из дома Макграта, он подумал об этой истории с легким стыдом и с некоторой, как ни странно, радостью. Уже давно неожиданное не входило в жизнь Дьюкейна в таком обличье, и это казалось ему восхитительным. Чуть позже это уже меньше забавляло его. Расследование и так было неясным, запутанным, и не надо его усложнять безответственными поступками. Макграт был беспринципным человеком, шантажистом и

все разболтал прессе, но уж, во всяком случае, не тем, чья жена может во время секретного расследования целовать высокопоставленного чиновника. Дьюкейн не предполагал, что Макграт может причинить ему неприятности, что бы ни поведала ему жена. Но просто этого не должно было произойти. На более глубоком уровне, когда прошло время, он чувствовал себя *подавленным* этой сценой, как будто он проглотил вместе с розовым вином какое-то снотворное и оно до сих пор действовало на его органы чувств. Возможно, оттуда — из снотворной скуки этой Цирцеиной комнаты, где *ждала* миссис Макграт, — перешла на него тоска, забиравшая силы.

Машина двигалась теперь быстрей вдоль Бромптон-роуд в направлении к дому Дьюкейна в Эрлз-Корт. Пока эти мрачные и ослабляющие мысли занимали его ум, Дьюкейн почти бессознательно болтал с Файви о погоде и о том, что опять предсказывают «волну жары». Дьюкейну казалось, что его отношения со слугой не очень продвинулись, хотя он физически привык к его присутствию в доме и легко теперь подавлял раздражение, когда Файви напевал якобитские песни или делал по телефону ставки на лошадей. Файви поделился еще небольшой долей

информации о своей матери, сообщив, что она «научила его воровать в магазинах». Но когда Дьюкейн пытался навести его на дальнейшие откровения о его преступной карьере, развернувшейся позже, то его друг-шотландец только загадочно бормотал: «В этом мире трудно жить, сэр». А когда Дьюкейн спросил его о фотографии женщины неопределенного возраста, которую Файви держал в своей спальне, тот просто скорбно ответил: «Все прошло, да и давно это было, сэр, все прошло, да и давно». Однако, несмотря на эти намеки на горечь бытия, Файви тоже прижился в доме, порой даже становился бойким, в глазах сверкало понимание; встречая взгляд хозяина, он почти что подмигивал, как бы говоря: да, я мошенник, но ты тоже, по-своему. Сомневаюсь, что мы так уж отличаемся друг от друга. Тебе просто больше повезло, чем мне, вот и все. Эта бессловесная дерзость даже нравилась Дьюкейну.

Когда машина повернула к Бин-Гарденз, Дьюкейн следил за медленными, значительными, торжественными движениями рук, широких, испещренных веснушками, поворачивающих руль. Пока Дьюкейн наблюдал за этим, он вдруг обнаружил, что его собственная рука, до этого откинутая на спинку сиденья, каким-то образом

добралась до плеча Файви. Дьюкейн на минуту задумался. И решил оставить ее там, где она находится. Он даже слегка передвинул ее так, что его пальцы, почти не соприкасаясь, дотронулись до плеча. Этот контакт немедленно принес Дьюкейну чувство необыкновенного покоя, к которому, как ему теперь показалось, он стремился весь день. Файви бесстрастно смотрел вперед.

17

Три дамы выбрались в город. Пола приехала для того, чтобы купить новые книги, Кейт — чтобы нанести визиты, которые она обычно делала в середине недели, а Мэри просто убедили, что ей нужно «переменить обстановку». У Мэри была и другая цель: она хотела уговорить Пирса покинуть Дорсет и для этого намекнула Пембер-Смитам прислать ему приглашение на обед — они собирались в Норфолк-Бродз, где их ждала готовая к отплытию яхта. Мэри надеялась, что хвастливые речи о яхте соученика Пирса Джеффри Пембер-Смита произведут свой эффект, тем более что Пирс уже был приглашен поехать с ними в Норфолк. И все же она опасалась, верней, была уверена: он будет считать часы, чтобы вернуться назад к своему горю — к полному равнодушию Барбары. Мэри жалела его и все больше ожесточалась против Барбары, демонстрировавшей свое наплевательство, но поделать ничего не могла. Иногда она приходила к мысли, что это бесполезное, затянувшееся страдание ее сына было следствием ошибки — что ей не надо было

поселяться у Кейт. Но если бы не было Барбары, была бы другая девушка, горестей первой любви не избежать, и вообще смешно слишком сострадать Пирсу. И все же ситуация огорчала Мэри, и она слегка боялась, что Барбара доведет Пирса до какого-нибудь отчаянного поступка.

Пирс, разумеется, не откровенничал с матерью, но она была рада узнать, что он поверял все Вилли. Вилли очень любил Пирса; разговаривая о нем с Вилли, она чувствовала успокоение, как будто Вилли уже взял на себя роль отца Пирса. С тех пор как Дьюкейн произнес «освобождающие слова» в буковом лесу, Мэри чувствовала себя гораздо спокойнее в присутствии Вилли, отчего и ему становилось с ней легче. Они разговаривали гораздо охотнее; и хотя разговор был не таким интимным, как Мэри хотелось бы, она больше не испытывала чувства роковой разделенности между ними, которое раньше парализовало ее. Ее прикосновения к нему стали более порывистыми, более игривыми и лишенными отчаяния. Она думала на языке, новом для нее: я *переделаю* жизнь Вилли, я переделаю ее.

Вчетвером они ехали в поезде и расстались на станции Ватерлоо. Пола поехала на Черинг-Кросс-роуд, Кейт — в магазин «Хэррродз», Пирс — к

Пембер-Смитам, а Мэри отправилась перекусить в кофейную, у нее на этот день были свои планы, о которых она никому не говорила.

Мэри сдала свой билет до Ганнерсбери и поднялась по пандусу на улицу. Летняя меланхолия окраинного Лондона — шероховатая, легкая, тривиальная — висела над местностью, как старый знакомый запах; какие-то непредвиденные изменения сразу же произошли в ее памяти и заставляли вздрагивать на каждом шагу от узнавания. Уже много лет она не была здесь.

Она шла и узнавала каждый дом, хотя не могла до этого восстановить в памяти маршрут с абсолютной точностью. Это всплывало как бы из глубины, облагороженное тем, что все это было в прошлом, каждая вещь как бы впрыгивала в предназначенную ей за секунду до этого раму: резной воротный столб, овал витража над входной дверью, кисть клематиса над шпалерной изгородью, темно-зеленый мох на красных плитках тропинки, одиноко стоящий фонарь. Эти дома, «старые большие дома», как она их называла, остались, как ни странно, прежними. В полдневном оцепенении дорога, которую она помнила, приобрела нечто слегка угрожающее, ускользающую знакомость места, которое иногда

снится во сне, и тогда спящий спрашивает себя: я здесь был, и все же — где это и что сейчас случится? И цвета были как во сне, живые, но как бы приглушенные, не отражающие света, как будто они были яркими красками, видимыми в темноте.

Мэри повернула за угол и на мгновение совсем не узнала местности. Дома исчезли. Высокие многоквартирные дома и просторные гаражи заняли их место. Машин сейчас было немного, но и прохожих не видно. Усилием воли Мэри отогнала от себя призрачную толпу былого и с неожиданным для себя страхом подумала: наверно, и *наш* дом просто исчез. Но когда она дошла до конца улочки, то сразу налево увидела два маленьких особняка, объединенных общей стеной, в одном из которых она прожила с Алистером целых четыре года.

Они были первыми жильцами этого дома, построенного после войны. Слабые саженцы, высаженные муниципалитетом, названия которых она тогда и не трудилась узнать, а сейчас поняла, что это — дикие сливы, теперь стали большими деревьями. Алистер был чуть-чуть моложе жены и слишком молод, чтобы воевать; когда он привез молодую жену в этот маленький

домик в Ганнерсбери, он готовился к экзамену по бухгалтерскому учету. Мэри остановилась, положив руку на низкую стену на углу улицы, зная, как если бы речь шла о постороннем человеке, что в ее руке вспыхнет внезапно память о поверхности этой стены, об этих крошащихся камнях и о городском мхе, который и на стене, и на плитах казался влажным и сырым даже в самый солнцепек.

С прикосновением руки к стене перед ней неожиданно явился и образ их старого пианино, давным-давно проданного, но как будто неразрывно связанного с этой мшистой стеной, благодаря тому, что когда-то она, задумавшись о чем-то, остановилась на этом углу. У Алистера был красивый баритон, и они часто пели вместе, он — аккомпанируя на пианино, она — положив руки ему на плечи, откинув голову в музыкальном забытье. Это было чистым, счастливым воспоминанием, она даже сейчас могла вызвать то ощущение, когда ей казалось, что она сейчас растворится в радости. Алистер умел играть и петь. Он также был довольно хорошим художником, талантливым поэтом, писателем, к тому же он прекрасно играл в шахматы, фехтовал и был замечательным теннисистом. Сейчас, вспоминая

все это, она подумала: он был такой *многосторонний.* И пока она гладила стену, ей пришло в голову, что, прежде чем выйти за него замуж, она так же напоминала себе об этом, как и сейчас. Только слово «многосторонний» тогда она не употребляла, а теперь оно показалось ей грустным и малоговорящим.

То, что Мэри решилась вернуться сюда и увидеть этот маленький домик, было как-то смутно связано с Вилли. Она никогда не рассказывала ему об этом, да и вообще об Алистере тоже. Но вместе с крепнущим решением переделать Билли пришла и необходимость распрощаться с прошлым окончательно. Она должна поговорить с Вилли об Алистере, о том, как все это было, и о том, что случилось. И чтобы смочь сделать это, она должна была вернуться назад, оживить и освежить все эти томительные старые воспоминания и томительную старую боль. Она должна была совсем по-новому встретиться со своим мужем.

Но она не могла представить, насколько эта встреча может оказаться полной и поглощающей. Она не предвидела клематисы, мощенную плитками тропинку и стену. Вилли казался жалкой тенью по сравнению с кричащей реаль-

ностью всего этого. Вялый летний воздух улицы, пахнущий пылью и слегка смолой, был воздухом ее брака, когда постепенно не то чтобы она ощутила себя пойманной в ловушку, но как бы уменьшенной, и все вокруг тоже уменьшилось и потеряло яркость. Произошло ли это тогда, выражаясь вульгарно и обывательски, когда до нее дошло, что ее муж не такой выдающийся человек, как она думала? Возможно, мне не надо было выходить за него, возможно, я недостаточно сильно любила его. Но какой смысл был сейчас в этих рассуждениях? Что на самом деле могли рассказать ей стена и мох об уме и сердце двадцатитрехлетней девушки? Она припомнила сейчас — скорее как физический объект, чем плод творческого усилия, — огромный роман Алистера, который она благоговейно перепечатывала на машинке, а потом перепечатывала снова, но уже с меньшим энтузиазмом, когда сорок два экземпляра совсем истрепались, будучи посланными к двадцати издателям. Роман еще существовал. Она обнаружила его год назад в кладовке, и ей стало физически больно, когда она перелистала его.

Мэри медленно шла к дальнему концу улицы. Она уже могла увидеть, что живую изгородь из желтой бирючины, которую они с Алистером

сажали, выкорчевали и крашенный креозотом штакетник тоже снесли, а на их месте стояла низкая зубчатая кирпичная стенка. Маленький садик перед домом, в котором она и Алистер высадили розы, был полностью замощен — остались только две клумбы с розмарином, чьи голубоватые соцветья склонялись чуть ли не до земли. Теперь Мэри стояла почти напротив дома. Она испытала шок, увидев через темноту передней комнаты свет в заднем окне. Они, должно быть, снесли стену между двумя лестницами. Они с Алистером часто обсуждали, нужно ли это делать. Она остановилась и посмотрела через улицу. Дом казался покинутым, улица — пустынной. Она потрогала гладкую зернистую поверхность теперь крепкого и толстого ствола сливы. Следующего дерева не хватало, оно и было тем, в которое врезалась потерявшая управление машина.

Опершись на крепкое дерево, Мэри почувствовала себя больной и слабой. Форма нижних окон вернула ее к тому последнему вечеру, обычному летнему вечеру — такому же вялому, как и сегодняшний. Они с Алистером ссорились. Из-за чего? Просто была атмосфера ссоры, не серьезной, обычной, ленивой вечерней ссоры. Она видела в его руке письмо, которое он собирался отнести

на почту. Лица не видела. Она, возможно, просто не хотела смотреть на него. Она подошла к окну и увидела, как он идет по тропинке и выходит на мостовую, дальше она тоже все видела, все слышала: в тишине улицы неизвестно откуда вывернувшая машина, визг тормозов, колебание Алистера, его прыжок ради спасения — и он оказался прямо под колесами, его рука, поднятая вверх, его ужасный, ужасный крик.

Зачем я пришла сюда, думала Мэри, я не знала, что это будет так. Старые мысли заполонили ее, суть их не изменилась. Если бы я окликнула его, или постучала по стеклу, или сказала хоть одной фразой больше, или пошла бы с ним, я бы могла так сделать, если бы мы не поссорились. Все что угодно могло разбить эту цепь причинности, что свела вместе его и машину именно в этот определенный миг. Слезы полились по лицу Мэри. Она отошла от дерева. Она поймала себя на том, что вполголоса повторяет то, что как безумная повторяла тогда людям, столпившимся на мостовой: «Знаете, так мало машин ездит по нашей улице. Так мало машин ездит по нашей улице».

Пола спускалась по узкой лестнице в Фойлзе. Она уже потратила несколько часов на поиски книг и съела сэндвич в «Геркулесовых столбах».

Она успела сделать и еще несколько покупок для Вилли — купила то, о чем он попросил. Она не сказала об этом Мэри, потому что Мэри отчаянно ревновала к любой попытке сослужить службу Вилли. Умолчать об этом пришло Поле в голову как-то само собой, совершенно естественно.

Пола тащила большую корзину с книгами и еще пакет под мышкой. Что мне делать с этой тяжестью, думала она. До поезда, на котором она, Пирс и Мэри должны были возвратиться в Дорсет, еще оставалось немало времени. Пола решила: пойду-ка я в Национальную галерею, оставлю вещи в гардеробе и посмотрю картины. Она вышла на жаркую многолюдную улицу и стала ловить такси. «Волна жары продолжится» — гласило объявление.

Пола знала толк в картинах, они доставляли ей интенсивное, совершенно чистое и поглощающее ее наслаждение, которое не давало никакое другое искусство, хотя на самом деле литературу она знала гораздо глубже. Однако сегодня, поднимаясь по знакомой лестнице и сворачивая налево к золотой компании итальянских примитивистов, все, о чем она могла думать, — был Эрик, чей образ, исчезнувший, пока она охотилась за книгами, теперь вернулся с новой силой. Эрик

медленно, медленно двигался в ее направлении, как большая черная муха, ползущая по земному шару. Она только что получила от него открытку из Коломбо.

Пола вспомнила руки Эрика. У него были странные квадратные руки с очень широкими плоскими пальцами и длинными шелковистыми золотистыми волосами, которые росли не только на тыльной стороне ладоней, но доходили до второго сустава пальцев. Кольцо с печаткой утопало в этой темно-золотистой траве. Возможно, что именно руки навели его на мысль стать керамистом. Пола как будто чувствовала сейчас холодный запах мокрой глины на его руках. Эрику лишь однажды удалось заработать себе на жизнь керамикой в Чезвике. Поле нравился недостаток светскости в нем, ей нравились его руки, творящие чудеса с вертящейся глиной, ей нравилась глина. Все это было так не похоже на Ричарда. Наверно, я влюбилась в руки Эрика, думала она, а может быть, я влюбилась в глину. Эрик казался ей, в отличие от Ричарда со свойственной ему смесью интеллектуальности и сложной чувственности, таким надежным и *естественным.* А все же Эрик был невротиком, считала она поначалу. Он только представлялся

естественным человеком, ремесленником — в забавной блузе и с львиной копной нечесаных золотых волос. Большой Эрик, крупный мужчина… Тем сильнее был ошеломительный ужас, когда Эрик потерпел поражение… от Ричарда. Мог ли Эрик простить ей это поражение? Она вдруг подумала: может быть, он возвращается с целью убить меня. Может быть, это единственное, что может вернуть ему покой. Убить меня. Или Ричарда.

Ричард. Пола, которая до этого спокойно бродила по залам, вдруг остановилась как вкопанная перед картиной Бронзино «Венера, Купидон, Безрассудство и Время». Особая картина для Ричарда. «Вот подлинная порнография для тебя. — Она как будто слышала высокий голос Ричарда. — Единственный настоящий поцелуй, когда-либо изображенный в живописи. Есть поцелуи и поцелуи. Пола, Пола, подари мне поцелуй Бронзино». Пола вернулась на середину комнаты и села. Ричард давно, еще до женитьбы, «завладел» этой картиной Бронзино. Он был первым, кто заставил ее действительно *увидеть* ее, и она стала символом их влюбленности, и хотя это чувство прошло, но тем более дорогим оставался для нее этот образ. Он был своего рода воплощением чувственности Ричарда, развращенности Ричарда,

и она приняла ее сразу с тем же мгновенным удивлением, как и самого Ричарда. Целомудренная Пола, холодная Пола, Пола — синий чулок нашла в дьявольски развратной природе мужа сад немыслимых наслаждений. Пола была не способна на блаженство вне брака. Но ее замужняя жизнь действительно стала блаженством.

Пола сидела и смотрела на картину. Изящно вытянувшись, обнаженная Венера томно оборачивается к грациозно изогнувшемуся нагому Купидону. Его левая рука поддерживает ее голову. Его правая рука длинными пальцами охватывает ее левую грудь. Его губы слегка прикасаются к ее губам или даже чуть отдалены от них. Долгий, застывший миг остановившейся как во сне страсти перед головокружительным порывом. На фоне спокойных масок и искаженных лиц Безрассудство собирается осыпать розовыми лепестками тянущуюся друг к другу влюбленную пару, а в это время старый распутник Время взмахивает длинной могучей рукой над всей этой сценой — и все эти прелести обречены неминуемому концу. «Ты подходила к моей картине, Пола?» — спрашивал обычно Ричард, когда Пола посещала галерею. Последний раз он спросил об этом в конце их первой и единственной ссоры, которая произошла

из-за Эрика. Он сказал это, ища примирения. Она не ответила.

Пола попросила таксиста остановиться на углу Смит-стрит и Кингз-роуд. Она помедлила у бакалейной лавки, и бакалейщик, узнав ее, улыбнулся и поклонился. Она улыбнулась в ответ быстрой вымученной улыбкой и пошла по улице. Это был идиотский способ мучить саму себя, такой же идиотский, как возникший вдруг в прошлом году импульс позвонить Ричарду на работу. Она слушала целую минуту, как знакомый голос сказал: «Биран», а потом удивленно: «Алло? Алло?» — и тут она повесила трубку.

Сейчас она медленно шла по тенистой стороне улицы, дом был на другой стороне. Она уже могла видеть переднюю дверь, бывшую некогда голубой, а ныне выкрашенную в модный оранжево-коричневый цвет. Он перекрасил дверь, подумала она, его это заботило, он просматривал каталоги и выбирал. Подойдя ближе, она подивилась чистоте стекла, а кроме того, в окне стоял ящик с цветами, это что-то новенькое. И она подумала: а чему я удивляюсь? Я, должно быть, предполагала, что без меня все зарастет паутиной, погрузится в запустение. Я, должно быть, предполагала, что без меня Ричард будет

деморализован, сломлен, с ним будет кончено. Да, я так думала. Как это ему пришло в голову выбирать новый цвет для двери без меня? Она остановилась в тени напротив дома. Нельзя было опасаться, что в это рабочее время Ричард окажется дома. Пола положила руку на левую грудь, обхватив ее пальцами так же, как Купидон охватывает пальцами грудь своей матери. Она думала, осмелится ли она перейти улицу и заглянуть в окно, выходящее на улицу, когда вдруг произошло нечто ужасное. Необыкновенно привлекательная и хорошо одетая женщина быстро прошла по улице, остановилась у входа в дом Ричарда и вошла, *открыв дверь ключом.*

Пола быстро повернулась и стремительно пошла назад по Кингз-роуд. Горячие, гневные слезы текли из ее глаз. Она знала сейчас, знала всею мучительной, грызущей болью где-то в середине тела, что она не только предполагала, что Ричард без нее будет деморализован, сломлен и неспособен покрасить переднюю дверь. Она также — но не умом, а всею плотью и сердцем — чувствовала, что без нее Ричард одинок.

Джессика Берд не посещала Джона Дьюкейна. Это никогда не казалось ей особенно важным. Джон всегда говорил, как безрадостен его дом и

какое для него удовольствие быть у нее в гостях. Поэтому они обычно, а в последнее время всегда, встречались у Джессики, а не в его доме на Эрлз-Корт.

Джессика не чувствовала себя от этого ущемленной. Теперь, однако, дом Дьюкейна стал казаться ей местом загадочным и магнетическим, как будто там находился какой-то предмет, талисман, содержащий секрет перемены его сердца. Ей снились кошмары об этом доме, в них он превращался во все расширяющийся лабиринт темных комнат, по которым она испуганно и потерянно блуждала в поисках Джона. Джессика до сих пор не верила, что он бросит ее. Она не видела в этом *смысла*, ведь она просила так мало. Но еще не дошла до того, чтобы сказать ему: заведи другую любовницу, я вынесу это. Но, взяв с него обещание сказать ей, когда он заведет другую любовницу, она почувствовала, что в каком-то смысле смирилась с этим. Но что же тогда заставляет его предпринимать лихорадочные попытки избавиться от нее? Для этого безумства Джессика не находила никаких причин, и потому она не принимала его всерьез. Тут, наверно, какое-то недоразумение, думала она, какая-то ошибка.

Когда кто-то сильно влюблен — а Джессика

все еще сильно любила, — трудно поверить, что чувство возлюбленного к тебе ослабело. Находят любые другие объяснения — только не это. Впрочем, Джессика уже пережила кризис смерти и возрождения, когда Джон перестал быть ее любовником. Она уже распалась ради него и снова воскресла, и это убедило ее в ее личном бессмертии. С тех пор Джон был включен в самую сердцевину ее бытия, таким образом, он не мог больше ранить ее, это перестало быть простым «романом». А то, что он вздумал отнять *это* у нее, казалось простым своеволием.

Существуют таинственные действия человеческого ума, они, подобно блуждающим огням, облетают весь мир, причиняя боль, калеча, но при этом те, кто их породил, даже не подозревают об этом. Не ведают о силе и последствиях этих умственных испарений. Только о святых можно с уверенностью утверждать, что у них отсутствуют эти блуждающие щупальца, обыкновенный же человек наделен свойством порождать их, так же как он наделен духовной силой появления во снах других людей. Таким образом, мы можем стать кошмаром друг для друга, и люди у себя дома могут страдать от унижения и даже вреда, причиненного теми, в чьем сознании они едва

промелькнули. Образы, проецируемые разумом, приобретают собственную жизнь, они не успокаиваются, пока не найдут своих жертв и не сведут их с ума загадками и страхами, а источник этих странствующих влияний и не собирался никому вредить и очень удивился бы, узнав об этом.

Джессика чувствовала себя такой беспомощной и такой безобидной по отношению к Джону, что никак не могла понять, что стала для него такой же ненавистной, как боа констриктор, сжимающий шею. Она не могла вообразить, что по ночам он видит ее в кошмарных снах. Дьюкейн не мог простить Джессике то, что она сумела сломить его решимость своими воплями и заставила его обнять ее, что было очень унизительно. Эта сцена, преследовавшая его сознание, казалось, символизировала ту ловушку, в которую он попал, — сети ненавистной лжи. А в это время бедная Джессика, которая ничем другим не занималась, как только думала о нем, принялась, подвигнутая простой жаждой деятельности, ежедневно писать ему любовные письма, которые он получал с тошнотворным чувством, читал отрывочно и не отвечал.

В этот летний день Джессику подвигло на поездку в Эрлз-Корт в основном письмо, полученное

от Джона, в котором он сообщал, что на этой неделе у него слишком много работы и потому их встречу придется отложить. Она была ужасно расстроена, что не сможет увидеть его. Но от этого письма у нее еще возникло и другое чувство, которое странным образом воодушевило ее, а именно явное ощущение, что он лжет. Она не верила в эти «вечерние совещания». Она была уверена, что прежде он ей никогда не лгал. Уверенность в его абсолютной правдивости служила ей надежным утешением. Но тон письма показался ей новым, и Джессика почти обрадовалась этому — ведь обличить его как лжеца, даже просто узнать наверняка, что он лжет, это укрепляло ее позиции. В конце концов, казалось просто невероятным, что за всю неделю он не может найти хоть немного времени, чтобы повидаться. Письмо было явно подозрительным.

Джессика не строила конкретных планов, отправляясь в путь. Она не хотела шпионить за Джоном, ей просто было приятно заниматься чем угодно, связанным с ним. Она намеревалась подождать его у станции метро в Эрлз-Корт и «случайно» встретить — он иногда возвращался домой на метро, — и действительно долго ждала у входа на станцию, хотя еще было рановато для его

возвращения домой. Потом она стала медленно прохаживаться взад и вперед по улице, которая вела к тихой заводи хорошеньких домиков, где жил Джон.

Недалеко от тупика, в котором находился его дом, был паб. В этот паб Джессика и вошла, уселась со стаканом пива у окна, из которого хорошо был виден угол улицы и вход в дом Джона. Она недолго пробыла там, размышляя, удастся ли ей не побежать за ним, как только она его увидит, но вдруг случилось нечто поразившее и ужаснувшее ее. Необычайно привлекательная и хорошо одетая дама быстро прошла по улице, остановилась у дома Дьюкейна, позвонила — ее сразу же впустили.

Джессика поставила стакан на стол. Она подумала: он *там*, он там *внутри*, и он лгал, у него есть любовница. Совершенно новое чувство ревности потрясло все ее тело несколькими толчками боли. В этот же миг каким-то чудесным образом сила, которая вошла в нее по получении лживого письма Дьюкейна, возросла стократно, и в этом сонном, тихом пабе родился новый демон — демон ревнивой, способной на все женщины.

Кейт Грей быстро прошла по улице, остановилась возле дома Дьюкейна, позвонила и была

немедленно впущена. Она знала, что Дьюкейна не могло быть дома — он собирался сразу после работы провести вечер с Октавиеном. Кейт прибыла с целью проинспектировать нового слугу Дьюкейна.

— Я бы хотела оставить кое-что для мистера Дьюкейна и написать ему записку, — сказала Кейт, стремительно проходя в холл. — Не могли бы вы дать мне немного писчей бумаги? А эти вещи я, наверно, оставлю в кухне. Благодарю вас, дорогу я знаю. Меня зовут миссис Грей. А вы, я полагаю, Файви.

Файви сопроводил Кейт в кухню и молча наблюдал, как она вынимает из корзины коробку глазированных каштанов и бутылку сливовицы — ее приношение Дьюкейну и повод для визита.

— У вас тут очень чистенько, Файви, — сказала она одобрительно. — Очень чисто, действительно. Вот это для мистера Дьюкейна. Вы знаете, его не будет дома до позднего вечера, у него встреча с моим мужем.

Кейт наблюдала за Файви через стол. Она нашла, что он совсем не такой, как она думала. Попытки Дьюкейна описать, по просьбе Кейт, его внешность были смутными и заставили Кейт предполагать нечто немного грубое и бруталь-

ное. Возможно, Файви был брутальным, но его брутальность была живописного, романтического, почти нежного свойства, он напоминал чудовище из репродукций к «Чудовищу и Красавице» — большое, трогательное, ласковое животное, которое Кейт в детстве предпочитала скучному, слащавому принцу, но он, впрочем, в конце все-таки в него превратился. Кейт отметила абрикосового цвета кожу, так поразительно усыпанную большими коричневыми веснушками, большую, будто надутую, лохматую голову, пышные волосы, усы — богатого оттенка только что вскрытого конского каштана, продолговатые, косые глаза — чистого светло-карего цвета, длинную прямую линию рта. Он, наверно, *расчесывает* их, подумала она, интересно, смогу ли я уговорить Октавиена отпустить усы. Я никогда не осознавала, как это мило.

Кейт вдруг поняла, что уже долго смотрит в упор на Файви, а он на нее. Она торопливо сказала:

— Будьте любезны, принесите бумагу, я хочу оставить записку.

Не говоря ни слова, Файви удалился и через мгновение вернулся с бумагой. Кейт села за стол и написала: *«Дорогой Джон».* Руки у него тоже в

веснушках, подумала она, поднимая глаза, чтобы разглядеть хотя бы одну из них. Интересно, он весь в веснушках? Она поставила запятую, и перо застыло в воздухе. Она не могла придумать, что бы написать Джону. Она продолжила: «*Я здесь*» — и зачеркнула. Она написала: «*Я только что была у Фортнума и купила для тебя кое-что симпатичное*». Она сказала Файви:

— Я думаю, в конце концов, не обязательно оставлять записку. Просто скажите мистеру Дьюкейну, что я это принесла.

Файви кивнул, и Кейт медленно смяла записку. Что-то было не так. Она решила, что дело в том, что Файви не сказал ни слова. Дьюкейн не говорил, что он *немой*, подумала она.

Она спросила:

— Надеюсь, вам нравится у мистера Дьюкейна, Файви?

— Мистер Дьюкейн — очень добрый джентльмен.

— Господи, — воскликнула Кейт, — мистер Дьюкейн не говорил мне, что вы ирландец! — Услышав такой выговор, ошибиться было невозможно. — Знаете, я тоже ирландка!

— Я взял на себя смелость признать ваш выговор, мадам, — сказал Файви. Его лицо казалось

бесстрастным, а косые карие глаза напряженно смотрели на Кейт.

— Великолепно, я из графства Клэр. А вы откуда?

— Я тоже из графства Клэр.

— Какое необыкновенное совпадение! — закричала Кейт. — Что ж, это нас объединяет. А где в Клэре вы жили?

— На побережье…

— Около Буррена?

— Да, мадам.

— Это удивительно! Я тоже почти оттуда. А ваши родные еще там?

— Только моя старушка-мать, мадам, у нее маленький домик и корова.

— Вы часто ездите туда?

— Дороговато, мадам. Я посылаю матери некоторую часть своего заработка, видите ли.

Нужно дать ему денег на проезд, думала Кейт, но как? Он кажется довольно гордым. Конечно, сейчас я вижу, что он ирландец.

— Вы уже давно живете в Англии, Файви?

— Недолго, мадам. Я — деревенский.

Подлинное дитя природы, подумала она. Как он прост и трогателен, настоящий крестьянин. Дьюкейн совсем неправильно описал его. И она

подумала: я бы хотела, чтобы он был *нашим* слугой. Я бы совсем не возражала *иметь* Файви.

— Лондон немного пугает. Но, я надеюсь, вы привыкли.

Кейт, теперь совершенно не желая покидать дом, встала и начала обходить кухню, притрагиваясь к чашкам, постукивая по блюдцам и заглядывая в миски. Она уже чувствовала себя абсолютно непринужденно в присутствии Файви, как будто теплые лучи этого похожего на Чудовище успокаивающего существа одновременно ласкали и возбуждали ее нервы.

— Попробуйте глазированный каштан, — сказала Кейт. Она открыла коробку и толкнула ее по столу к нему.

Веснушчатая рука Файви опустилась, и он, все еще глядя на Кейт с той же ничем не нарушаемой концентрацией, положил каштан в рот.

Он так глазеет на меня, но мне это, скорей, нравится. Что делать, раз я открыла коробку, я уже не могу ее подарить Джону, нужно взять ее с собой. Или отдать Файви?

Она закончила обход.

— Что это? — Она указала на сосуд в форме вазы с круглым зияющим отверстием на дне.

— Устройство для удаления мусора, — сказал

Файви, жуя каштан.

Файви подошел, чтобы продемонстрировать. Он вынул связку отсыревших газет из мусорного ведра, бросил в дыру и повернул ручку. Раздался замечательный грохочущий звук.

— Немного беспокойно, правда, — сказала Кейт.

Она наклонилась над мусоропроводом, оставив белые нейлоновые перчатки на его крышке. Но вдруг, сверкнув, как выпрыгнувшая из воды рыба, одна из маленьких белых перчаток юркнула со стальной скользкой поверхности в темную грохочущую дыру. Почти с одинаковой быстротой метнулась веснушчатая рука Файви, недостаточно быстрая, чтобы спасти маленькую перчатку от уготованной ей судьбы. Через полсекунды рука Кейт схватила запястье Файви.

— О, будьте осторожны, будьте осторожны!

Они стояли совершенно неподвижно какое-то мгновение, глядя друг на друга. Кейт отодвинулась от него, все еще крепко держа его за толстое волосатое запястье. Потом она отпустила его, села и механически потянулась за бутылкой сливовицы.

Она сказала:

— Это выбило меня из колеи. Вам нужно быть

осторожней с этой опасной штукой. Думаю, мне надо выпить. Не могли бы вы принести два стакана?

Файви поставил на стол два стакана и сел, но не напротив Кейт, а рядом. Слегка дрожащей рукой Кейт налила сливовицу. Она забыла ее необычный и сексуальный запах. Она все еще ощущала прикосновение волосатого запястья Файви, оно как будто отпечаталось на ее ладони. Она повернулась к нему, и они выпили.

Кейт отставила стакан. Файви повернул свой стул так, чтобы сидеть к ней лицом. В правой его руке был стакан, левая лежала на столе. Вытянутая спокойная рука вдруг напомнила Кейт спящее животное. Это очень забавно, подумала Кейт. Я совсем забыла вкус сливовицы. Он чудесен, чудесен. Она очень медленно и осторожно положила свою руку на тыльную сторону ладони Файви, медленно передвигая ее, чтобы ощутить его волосы, кожу, кость. Они продолжали смотреть друг на друга.

Затем, приняв чинный вид, как будто он хотел пригласить ее на танец, Файви поставил свой стакан, пододвинул мешавший ему стакан Кейт, сместил стул ближе, и его рука скользнула по ее плечу. Каштановые усы становились все ближе

и ближе. Все больше и больше. Кейт закрыла глаза.

— Октавиен, прекрати смеяться, ты *ужасен.*

— Ты правду сказала, что парень действительно пристал к тебе?

— Нет, дорогой. Я уже объясняла. *Я пристала к нему.*

— А потом ты дала ему десятку, чтобы он мог навестить свою старую мать?

— Это самое малое, что я могла сделать.

— Кейт, дорогая, ты — сумасшедшая, я тебя обожаю.

— Должна сказать, я сама *удивилась.* Это имело какое-то отношение к тому, что он оказался ирландцем. Или к тому, что моя перчатка упала в мусоропровод.

— Или к сливовице.

— О боже! Сливовица! Мы выпили целую бутылку! У меня потом *жутко* болела голова.

— По крайней мере, ты убедилась, что он гетеросексуал.

— Насчет этого не знаю. Он может быть и тем и другим. Он ужасно милый, Октавиен, совсем как какое-нибудь чудесное животное. И такая простая натура. Прямо из ирландской деревни.

— Мне, судя по его поведению, он не кажется

простачком. В Лондоне полно мужчин, которые сошли бы с ума от радости, если б могли поцеловать тебя после многих лет знакомства, а тут все успел за двадцать пять минут!

— О Октавиен, какие божественные усы!

— Что ж, у вас с Дьюкейном одинаковые вкусы, тебе тоже нравится его слуга.

— Да. Но как ты думаешь, Октавиен, должна ли я рассказать Дьюкейну? Это ведь довольно ужасно, а?

— Файви ему точно не расскажет, во всяком случае.

— Это зависит от их отношений. Может быть, они сейчас лежат вместе в постели, обсуждая нас, и хохочут!

— Брось, ты так не думаешь.

— Нет, конечно нет. Но все это очень пикантно. Что бы подумали другие, если бы узнали, чем я занималась, пока они уныло ходили по магазинам!

— Подумай о сценах за обеденным столом. Взгляды исподтишка. Руки, соприкоснувшиеся, когда он принесет суп. Я буду наслаждаться каждой секундой этого представления.

— О дорогой! Ты думаешь, Джону будет неприятно?

— Да. Я думаю, ему будет неприятно. И он никогда не поверит, что ты затеяла это. Он же не знает тебя, как я! Он может прогнать Файви.

— Ты думаешь, он не способен *понять*?

— Нет.

— Что ж, в таком случае я ему не скажу. Ни за что не хотела бы, чтобы у бедного Файви были неприятности.

— Ты оставила записку Дьюкейну?

— Нет. И унесла бутылку и остатки каштанов!

— А ты не сказала Файви, сообщать или нет о твоем визите? Плохой из тебя конспиратор. Ты лучше позвони ему завтра утром.

— Я не *смогу.* О Октавиен. Это ужасно. Пусть все идет своим чередом. А если Джон спросит меня, зачем я приходила, я отвечу что-нибудь туманное.

— Ну, ты развлекла меня. С тобой не соскучишься. Готова?

— Готова, дорогой. О Октавиен, это так *забавно* быть замужем за тобой.

18

Пирс, дядя Тео и Минго были на пляже. Дядя Тео сидел, а Минго положил голову и передние лапы ему на колени. Пирс, который только что плавал, простерся ничком, вытянув расслабленные руки над головой. Уже некоторое время дядя Тео созерцал стройное вытянутое тело, лежавшее рядом, сначала мокрое, потом сухое и жарившееся на солнце, со светло-коричневым загаром. Так как местных видно не было, Пирс плавал голым. Дядя Тео глубоко вздохнул, но подавил вздох, так что его никто не услышал.

Правая рука дяди Тео механически крутила и ласкала шерстистый мех Минго. Все соглашались обычно, что Минго — скорей овца, чем собака, а близнецы полагали, что среди его предков имелась овца. Глаза Минго были закрыты, но слабое подрагивание разомлевшего тела, что-то вроде внутреннего махания хвостом, показывало, что он бодрствовал. Взгляд дяди Тео застыл на мягких покатых плечах, на выступающих ключицах, гибкой талии, тонких, но крепких бедрах и длинных прямых ногах того, кого Вилли Кост назвал

«неким *куросом*». Пятки Пирса, которые дядя Тео мог разглядеть, слегка наклонившись, были приятно морщинисты и пахли песком. Их было бы приятно и забавно потрогать, кожа на них затвердевшая и все же нежная. Наверно, на них вкус морской соли. Левой рукой дядя Тео пересыпал лиловую и белую гальку на небольшом пространстве между собой и Пирсом. Эти камешки, доставлявшие близнецам такую радость, были кошмаром дяди Тео. Их множественность и случайность угнетали его. Божий замысел едва пробивался через непрозрачность их состава, а там, куда он проникает с трудом, — хаос и отчаянье. Так казалось Тео, и если для близнецов это была сокровищница любимых индивидуальностей (близнецы огорчались, что не могут уделить внимание *каждому* камню, и уносили их домой), то для дяди Тео это был отвратительный хаос, в котором не присутствовало духовное начало. Страдает ли природа в этом своем самом удаленном от промысла состоянии или просто погибает, размышлял Тео. Хаос и отчаянье. А не было ли все вообще хаосом и отчаяньем, не было ли все лишь протяжением бессмысленной, случайной материи, и не был ли он сам так же никчемен, как эти камни, раз во всем этом нет Бога?

Камешки казались или лиловыми, или белыми, но при ближайшем рассмотрении они все были окрашены по-разному, и размер, и форма отличались многообразием. Все были вроде бы круглые. Но одни — плоские, другие — продолговатые, некоторые — сферические; некоторые были почти прозрачны, другие испещрены в большем или меньшем количестве пятнышками, одни однородны, другие почти черные, попадались красновато-коричневые, а иногда бледно-зеленые или фиолетовые с голубым оттенком. Тео, роясь в них, раскопал маленькое отверстие, на дне которого лежали влажные и сверкающие камешки, скрытые от скучной, нагретой солнцем поверхности. Он поднял один из них, чтобы рассмотреть как следует. Это был плосковатый серый камень с впечатанным в него веероподобным, едва различимым ископаемым. Не было смысла сохранять его для близнецов. У них много было на него похожих. Тео насухо вытер его о брюки, стряхнув песок. А потом очень нежно и деликатно положил Пирсу на позвоночник — около поясницы, установив на одном из позвонков, чей тонкий, деликатный очерк был ему видим. Пирс слегка застонал. Тео подобрал другой камешек и положил его на правое плечо

Пирса, а затем для равновесия — другой камень на другое плечо. Увлекшись этим занятием, он слегка сдвинул Минго и стал покрывать спину Пирса симметричным рисунком плоских камней. Он очень осторожно выкладывал гальку, сначала вытирая каждый камешек, а потом согревая в ладонях (камни с поверхности не годились — они были слишком разогреты солнцем), прикасаясь кончиками пальцев к нагретой плоти, покрытой песком и слегка шероховатой на ощупь. Эта деятельность достигла своего пика, к которому дядя Тео жадно стремился и приход которого нарочно замедлял, дразня себя, когда он — о, так нежно и медленно — положил по камню на вершины обеих ягодиц Пирса.

Но тут раздался звук шагов по песку, и две тени упали на них. Пирс повернулся, сбросив с себя камни, и сел. Черт побери, думал Тео, черт, черт, черт.

— Разрешите нам взять Минго? — сказал Эдвард. — Он нам нужен в игре в перья.

— Он не пойдет, — сказал Пирс, — у него припадок любви к дяде Тео. — Пирс не стал прикрывать свой срам ради Генриетты, которая привыкла к мужской наготе.

— Он пойдет, если мы его *особенно* попросим,

— сказала Генриетта. — Он такой *вежливый* пес.

— Иди, Минго, хватит лениться, — сказал Тео, скидывая собаку со своих ног.

— Ну что, видели летающие тарелки в последнее время? — спросил Пирс.

— Да, вчера видели одну. Мы думаем, это та же самая.

— Забавно, правда, — сказал Пирс, — кроме вас двоих, никто не видит летающие тарелки!

Близнецы гордились этим своим свойством — видеть летающие тарелки.

Эдвард, поднимавший слегка сопротивляющегося Минго на все четыре лапы, сказал:

— О, как бы я хотел, чтобы дождь пошел!

Генриетта сейчас отозвала брата в сторону и что-то шептала ему. Эдвард отпустил Минго, который сразу же рухнул. После многих перешептываний Эдвард откашлялся и обратился к Пирсу в тоне, который дети называли официальным:

— Пирс, у нас тут кое-что есть, что мы хотели бы преподнести тебе.

— Что? — спросил Пирс равнодушно.

Близнецы подошли к нему, и Пирс вяло приподнялся, опираясь на локоть.

— Вот, — сказал Эдвард, — мы бы хотели, чтобы *это* было у тебя, твое.

— Вместе с нашей любовью, — сказала Генриетта.

Эдвард протянул что-то, и Пирс взял это коричневой рукой, усыпанной песком. Тео, заглянув, увидел, что это была окаменелость, редкая и замечательная, совершенный аммонит. Деликатная, чуть зубчатая спираль ракушки отпечаталась на обеих сторонах камня. Пирс перевернул его в руке, море округлило края и чуть стерло линии ископаемого — именно так, чтобы породить предмет великой красоты. Тео знал, что дарение аммонита означает для близнецов большую жертву, они ценили свои камни и с эстетической, и с научной точки зрения.

— Спасибо, — сказал Пирс, довольно неловко держа камень.

Эдвард отошел назад, как бы для поклона, а затем быстро переключил свое внимание на Минго, снова пытаясь оживить его. Пирс лениво встал на ноги. Близнецы, часто повторяя «хороший мальчик» и «ну, пойдем же», пытались соблазнить Минго следовать за ними, и они уже отправились в путь по лилово-белой равнине, когда вдруг Пирс неожиданно дернулся и выпрямился, как если бы его ударило током. Затем он скрутил свое тело, подобно пружине, отвел руку назад, резко

повернулся на пятках и мощным броском послал аммонит далеко в море.

Эдвард и Генриетта, увидев, что произошло, замерли как вкопанные. Тео встал. Пирс повернулся спиной к морю. Близнецы продолжали путь, странно петляя, Минго бежал за ними.

— Ты настоящая маленькая свинья, — сказал Тео Пирсу. — Что на тебя нашло?

Пирс посмотрел на него через плечо, лицо его было трудно узнать — оно было искажено, как японская маска. Тео подумал: с ним что-то творится, он сейчас заплачет.

— Спокойно, Пирс.

— Я так жутко несчастен.

— Ладно. Но не надо вымещать это на близнецах.

— Наверно. Но какая разница. Я ненавижу всех. Все — черно.

Представляя себе, как он обнимает нагого куроса, Тео опустился на камни и подложил под себя руки. Пирс стоял между ним и водой, дергаясь и содрогаясь своим коричневым телом, как узник в цепях, на фоне сияющей голубизны моря и неба.

— Держи свою черноту внутри себя, — сказал Тео, — не передавай другим.

— Если я буду держать это внутри, я умру,

наверно. Был ли ты когда-нибудь безнадежно влюблен, дядя Тео?

— Да. — Бессмысленно даже пытаться описать это, подумал Тео, вжимая ладони в гальку.

Вяло ссутулясь и гримасничая, Пирс подобрал свою одежду и медленно пошел по берегу в направлении, противоположном тому, куда ушли близнецы. Тео хотел было позвать его назад. Но потом подумал: о, дай ему уйти, с бесплодной любовью ничего не поделаешь, ее нужно просто перенести, я перенесу. Я перенесу.

Он поднялся, но не пошел за Пирсом. Он пошел туда, где вдалеке сидели близнецы и рядом с ними Минго. Они не играли в перья. Когда он подошел поближе, то увидел, что Генриетта плачет.

Минго встретил Тео так, будто они не виделись год. Тео сел рядом с Генриеттой.

— Перестань, малышка, не горюй. Пирс очень несчастен, ты ведь знаешь. А когда люди несчастны, они порой заставляют других страдать чисто автоматически.

— Зачем он это сделал? — крикнул Эдвард возмущенно. — Если он был ему не нужен, так вернул бы нам. Он был такой красивый.

— Это был самый красивый из всех, — хныкала Генриетта. — Эдвард не хотел дарить его, а я его

уговорила, только чтобы порадовать Пирса. О, если бы я этого не делала!

— Никогда не жалей о добром поступке, — сказал Тео, — в нем больше смысла, чем ты думаешь. Пирс будет извиняться, и вы должны простить его.

Близнецы, слегка поспорив, согласились, что они простят Пирса. Генриетта еще оплакивала печальную судьбу аммонита на дне моря, но Тео и Эдвард стали вместе утешать ее, представляя, как счастлив он будет среди крабов и рыб и насколько там лучше, чем в пыльной спальне Пирса.

Зачем я сделал это, спросил себя Пирс, натягивая брюки. Я скажу им, что прошу прощения, думал он, но что толку. Ну ладно, наплевать. Я ненавижу всех. Наверно, я становлюсь плохим, как говорит Барбара. Ладно, я плохой, и я *буду* плохим.

Барбары сейчас не было, она гостила у школьной подруги в городе. Пирс надеялся, что ее отсутствие принесет ему некоторое облегчение хотя бы в форме апатии, но не мог справиться с острой болью тоски. Его черное настроение и в ее присутствии, несущем непредсказуемую муку, влекло за собой непоследовательность, но сейчас оно становилось все острей и определенней, как

если бы он готовился к последнему, разрушительному порыву. И его физическое влечение к далекой, призрачной Барбаре казалось еще более, как в насмешку, болезненным, чем его желание реальной девушки из плоти и крови.

Он не мог заставить себя не ходить все время за нею и провоцировать ее, пока она не сказала совершенно ясно, что она собирается в город на выходные, чтобы избавиться от него. Они сильно ссорились, и Пирс, возвращаясь к себе в комнату, находил у себя на кровати все предметы, которые когда-либо дарил Барбаре. Он брал реванш, возвращаясь к ней в комнату и ломая у нее на глазах все вещи, которые она когда-либо дарила ему, включая великолепный, на все случаи жизни годный нож, привезенный ею из Швейцарии, прежде он берег его как зеницу ока.

Пирс, уже одетый, но босой, стоял на краю сверкающего моря. Он смотрел на перекатывающиеся подводные камни, которые солнце высвечивало в зеленой толще воды, тихой, но внутри нее, как в несовершенном стекле, плавали пузыри. Он думал: я ее как-нибудь накажу, я сделаю это. А потом я пойду в пещеру Гуннара, возьму и останусь там, и *утону*.

19

Мэри перелезла через низкую стену кладбища. Ее бело-голубое платье задело за сверкающий край теплого камня, и тонкая струйка земляной пыли просыпалась в сандалии.

Вилли шел чуть впереди нее, медленно ступая по переплетенным корням плюща. Он двигался ритмичным шагом танцора, мягкая таинственная пружинистость плющевого настила подбрасывала его тело.

Мэри остановилась, облокотясь о стену. Она не торопилась догнать его. Горячий день был наполнен плотным, пыльным, благоуханным молчанием, Мэри экстатически вдыхала его в себя. Кукушка откуда-то издалека отметилась среди молчания, как будто поставила знак или подпись. Мэри думала: я ленюсь. Я не спешу. Она думала, *теперь я веду его.* Она улыбнулась при этой мысли.

Из этой части кладбища ничего не было видно, кроме серо-белых памятников, устремляющихся в преизбыточный свет, и восьмиугольной церкви; по ее стенам, заметила Мэри, начинал ползти

плющ. Когда-нибудь плющ полностью закроет церковь, как уже произошло со многими надгробиями. Над могилами сияло пустое небо, бледная, бесцветная сияющая пустота.

Мэри пошла параллельно направлению хода Вилли. Ее ноги в сандалиях ощущали волнистую поверхность упругого плюща, который как бы опускался под ногой, но земли не чувствовалось. Хождение по воде, наверно, похоже на это, подумала Мэри, тогда вода казалась бы плотным, чуть прогибающимся материалом, поддерживающим стопы. Она остановилась и потрогала железную решетку, окружающую один из обелисков, запачкав руку ржавчиной. Она чувствовала, что Вилли приближается к ней. Материя летнего дня соединяла их тела так, что, когда он двигался, она чувствовала, что ее тело тянется вслед, как на буксире. Сегодня мы как сиамские близнецы, подумала она, мы соединены сегодня особой тонкой растягивающейся эктоплазмой.

Теперь Вилли улегся прямо на плющ, как делают дети. Мэри подошла и, увидев, что его глаза закрыты, села совсем рядом, опершись спиной на один из камней, тот самый, с которого Пирс недавно так старательно соскребывал плющ, чтобы открыть взорам чудесно вырезанный на

нем корабль с парусами.

Вилли, почувствовав по качанию плюща, что Мэри рядом, сказал:

— Привет.

— Привет.

Мэри некоторое время спокойно смотрела на белизну волос Вилли, рассыпавшихся по плющу. Его лицо было таким маленьким и коричневым, его нос так тонок, его руки так изящны и костисты. Она вспомнила, как птичья лапа обхватывает чей-нибудь палец, — нежное и пугающее чувство.

— О чем ты думаешь, Мэри?

— Как раз о кладбище. — Она не могла рассказать ему о птице.

— И что?

— О, не знаю. Я чувствую, что у всех этих людей была мирная, счастливая жизнь.

— Этого нельзя сказать ни о каких людях.

— Еще я чувствую их присутствие. Но все эти мертвые теперь преобразились.

Мэри замолчала. Она не ощущала, что они враждебны или потревожены, и все-таки кладбище пугало ее, но это не было так уж неприятно, особенно в такие дни, в которых была плотность полуночи. Во что они преобразились, думала она.

У нее не возникало представлений о черепах и гнилых костях. Она представляла их вокруг спящими с пустыми темными глазницами, спящими с открытыми глазами.

— Ты дрожишь, Мэри.

— Я в порядке. Я просто перегрелась на солнце.

— Я вылечу тебя моим магическим камнем.

Мэри непроизвольно выставила руку, чтобы поймать что-то зеленое, летящее к ней. На миг она подумала, что оно сейчас упадет глубоко в плющ, но ее рука проворно отбросила это себе на колени. Это был кусок полупрозрачного зеленого стекла, из которого море сделало почти совершенный шар.

— О, как красиво! — Она приложила шар ко лбу. — Какой холодный.

— Как ты так мило поймала его своей юбкой. Помнишь сказку про принцессу, которая нашла принца, прятавшегося среди девушек, бросая мяч каждой из них. Все девушки расставляли ноги, чтобы поймать мяч, и только одна — это и был принц — сжала их.

Мэри засмеялась. Она ощущала связь между их телами как тугой, густой водоворот почти видимой материи. Вилли встал, опираясь на могильный камень. И Мэри подумала: как бы я

хотела, чтобы он оперся о меня и положил руку на колени.

— Не показывай близнецам это стекло, — сказала она. — Иначе они его у тебя выпросят.

— Но я тебе подарил.

— О, спасибо! — Она закрыла глаза, перекатывая прохладный шар по лбу, потом по крыльям носа и щеке. Она произнесла: — О Вилли, Вилли, Вилли.

— Што такое?

— Ничего. У меня такое странное чувство. Расскажи что-нибудь. Расскажи о какой-нибудь мелочи, игрушке, которая была у тебя в детстве, о твоем первом дне в школе, о каком-нибудь старом друге, что-нибудь.

— Ладно, я расскажу тебе о самом ужасном случае в моей жизни.

— О! — Она подумала: сейчас это случится, он расскажет, дай бог мне вынести это.

— Мне было шесть лет.

— О!

— Мы отдыхали на Черном море летом, — продолжал Вилли. — Каждое утро я ходил с моей нянькой в городской сад, она садилась и начинала вязать, а я делал вид, что играю. На самом деле я не играл, потому что я не умел играть

при людях и я боялся других детей. Я понимал, что полагалось, чтобы я бегал, я и бегал и делал вид, что я делаю вид, будто я — лошадь. Но я все время беспокоился, что кто-нибудь взглянет на меня и поймет, что все это одно притворство и что я совсем не беззаботное играющее дитя, а несчастное, бегающее взад-вперед существо. Я бы хотел просто сидеть рядом с нянькой, но она не позволяла, а говорила, чтобы я бегал и радовался жизни. В саду были и другие дети, но в основном они все были старше меня, и у них были свои компании. Но вот однажды в сад пришла светловолосая девочка с черно-белой собачкой. Няня девочки уселась рядом с моей няней, и я начал играть с собачкой. Я был слишком скромен, не осмеливаясь не то что заговорить с девочкой, но даже просто рассмотреть ее как следует. На ней было голубое бархатное пальто и маленькие голубые ботиночки. Я и сейчас как будто вижу их. И это было все, что я осмелился увидеть в первые дни. Она была неопределенным существом где-то рядом, я играл только с собачкой. Я любил играть с собачкой, это действительно была игра, но еще больше я хотел бы играть с девочкой, но она приходила и садилась рядом со своей нянькой, хотя нянька не раз ей говорила, что она может

со мной поиграть, если хочет… Потом она стала садиться ближе ко мне, когда я ласкал собаку, и однажды, когда я сидел на траве с собакой, лежавшей рядом, она подошла и тоже села рядом, и тогда я спросил, как зовут собачку. Я и сейчас помню теплую гладкую спину собачки, которую я гладил, а она трепала ее за уши, и я могу видеть ее лицо, каким я увидел ее в первый раз, — круглое, розовое, сияющее, мерцающее лицо. У нее были короткие, очень светлые волосы, и у нее был такой смешной маленький сердитый рот, и я любил ее. Мы немного поговорили, а потом она пригласила меня поиграть. Я был одиноким ребенком и не умел играть с другими детьми. Я не знал никаких игр, в которые можно было играть с кем-нибудь, я умел играть только один. Я сказал, что хотел бы поиграть с ней, но не знаю как. Она стала учить меня играть, но я был слишком туп и слишком старался понять, и, по-моему, в этой игре должно было участвовать сразу несколько человек. В конце концов мы просто играли с собакой, бегали с ней, дразнили ее, пытались выучить фокусам. Теперь я каждый день рвался в этот сад, чтобы увидеть девочку, и был очень счастлив. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, это были самые счастливые дни моей жизни.

Однажды я подумал, что хорошо бы подарить что-нибудь девочке и собачке, и я уговорил родителей купить маленький желтый резиновый мяч, чтобы играть с собачкой, — мы бы его кидали, а собачка приносила бы его обратно. Я не мог дождаться следующего утра. Я горел желанием показать моей подружке желтый мяч и кинуть его собачке. На следующий день я пришел в сад, и там была девочка в синем пальто и синих ботинках, и вокруг нее бегала черно-белая собачка. Я показал ей желтый мяч, и я кинул его собачке, и та побежала за ним, поймала его, и он застрял у нее в горле — она задохнулась и умерла.

— О боже! — сказала Мэри. Она приподнялась и встала на колени в плющ. Развязка истории случилась так внезапно, что она не знала, что сказать. — Как же так… Вилли… Что случилось потом?

— Больше я ничего не видел, нянька увела меня. У меня была истерика целый день, а на следующий день началась лихорадка. А потом нам пора было возвращаться домой. Больше я никогда не видел ту маленькую девочку.

— О Вилли, — сказала она, — мне так жаль, так жаль…

Воцарилось молчание. Далекий крик кукушки

дырявил тишину. В голове Мэри, как на старой потемневшей открытке, появилась сценка, затмившая кладбище перед глазами. Она увидела общественный сад, сплетничающих нянек, воспитанных, прилично одетых детей, резвящуюся собачку. Отчаянно ища слова, она хотела спросить, как звали эту девочку. Она спросила, как звали собачку.

Молчание. Она подумала: он не помнит. И взглянула на него.

Вилли сидел совершенно прямо, обхватив руками колени, по его лицу текли слезы. Наполовину открытый рот скривился, и после двух попыток он смог произнести:

— Ровер. Это был английский терьер, было модно давать им английские имена.

— О мой дорогой, — сказала Мэри.

Она неловко подвинулась к нему, стараясь держаться прямо на упругой поверхности. Она склонилась над ним, обняв его одной рукой и уткнувшись лицом ему в плечо. Вилли вытер слезы чистым носовым платком. Мэри обняла его другой рукой, так что она смогла сцепить руки, и потерлась щекой о его пиджак. Она почувствовала, как его тело напряглось в ее объятиях, и подумала: его это совсем не успокаивает, не уте-

шает. Она сжала его крепче и отпустила. Яркий воздушный свет удивил ее, будто она побывала в каком-то темном месте.

Она сказала:

— Послушай, Вилли, послушай и не думай, что я сошла с ума. Ты на мне женишься?

— Что?

— Я спросила, женишься ли ты на мне.

Мэри сейчас стояла на коленях напротив него. Он все вытирал лицо платком. Он передвинулся, подобрав одну ногу под себя. Его взгляд медленно прошелся по кладбищу, а когда он вернулся снова к лицу Мэри — его лицо совершенно преобразилось, оно вдруг стало сияющим, живым, радостным. Мэри только раз видела такое выражение его лица, когда однажды застала его приплясывающим под музыку Моцарта.

— Чудесно, чудесно, чудесно! — сказал Вилли. — Этого мне еще никто никогда не предлагал! — Потом, когда Мэри заговорила, он добавил тихо, почти неслышно: — Я же импотент, знаешь ли…

— Вилли, Вилли! — раздался резкий крик с другой стороны кладбища. Они повернулись и увидели Барбару, торопливо перелезавшую через стену. Она стремительно понеслась к ним. Ее ноги почти не касались темно-зеленой подстилки.

— О Вилли, Мэри, вы не видели Монроза?

Оба сказали, что нет.

— Я искала его повсюду, но его нет, нет *нигде* уже давно, а он раньше никогда не исчезал, он даже не пришел попить молочка, а Пирс сказал, что он, наверно, *утонул* и…

— Ерунда, — сказала Мэри. — Кошки не тонут, они слишком умны для этого. Он вернется наверняка.

— Но где же он? Он не такой, как другие коты, он *никогда* не уходит.

— Ну а теперь, — сказал Вилли, с трудом поднимаясь с плющевой подстилки, — вернемся домой вместе, и я помогу его искать. Я думаю, он где-то рядом, спит под кустом. Я помогу искать его.

— Но я искала *повсюду*, и уже давно прошло время, когда он пьет молоко, и он всегда приходит…

Вилли, уводя ее, говорил с ней низким, поющим, успокаивающим голосом.

Мэри осталась на месте. Но вскоре она медленно поднялась. С внезапной тревогой она подумала о зеленом стекле, подаренном Вилли, который он кинул ей, как принц, отыскивающий принцессу, только, конечно, в сказке все было наоборот. Когда она вскочила, чтобы обнять его, шар, наверно, куда-то закатился. Она начала искать, погрузив

руку по локоть в глубину ветвистой изнанки плющевых зарослей, но, хотя шарила долго, она так и не отыскала зеленый шар.

20

Обширная литература по римскому праву была придумана на основе относительно скромного количества источников, из которых большинство были сомнительны из-за включенных в тексты интерполяций. Дьюкейн иногда подозревал, что его страсть к этому предмету была своего рода извращением. В науке есть определенные области, и к ним принадлежит история Греции и римское право, где скудость фактов бросает вызов дисциплинированному уму. Это похоже на игру, в которой надо из разрозненных кусочков составить определенный рисунок, и чем опытней игрок, тем она сложнее. Отдельный, малоговорящий факт должен быть вплетен в ткань гипотезы так искусно, чтобы она стала значительной, и вот занятие этим плетением увлекало Дьюкейна. В то же время он не находил интереса в борьбе с обширным фактическим материалом, ставшим доступным в последние годы. В его предпочтении явно играл роль определенный эстетизм вкупе, возможно, с пуританской природой, предпочтение он отдавал тому, что было аккуратно

отделано, доказуемо и полностью истолковано. Все эмпирическое только смущало Дьюкейна. Единственный, но зато постоянный источник недовольства в занятиях своим сухим и ограниченным предметом таился в том, что чаще всего темы, заинтересовавшие его, уже давно были исследованы в Германии.

Сейчас Дьюкейн только что вернулся с вечера, проведенного вдвоем с Октавиеном, во время которого они, хотя у них были другие намерения, говорили о работе. Он сидел на кровати, перелистывая работу, написанную им еще в бытность в Олд-Соулз о проблеме «буквального договора», и размышлял, включить ли ее в сборник эссе, который он вскоре собирался выпустить в свет под названием «Загадки и парадоксы римского права». Он понимал, что хорошо бы заняться другими делами. Он должен был бы написать письмо Джессике по поводу того, когда им лучше встретиться. Он должен был бы написать предварительный отчет о расследовании дела Рэдичи. Первое он отложил потому, что написанное им было бы наполовину ложью. А второе — потому, что он еще не решил, как поступить с Ричардом Бираном.

Попытки разных подчиненных Дьюкейна

— Джорджа Дройзена и других — выйти на след Елены Троянской провалились. А обыск sub rosa[15], на который он наконец получил разрешение, в доме Рэдичи и знакомство с его банковским счетом не принесли никаких значительных результатов. Обнаружилась только одна странная вещь, да и та имела скорей негативный характер: библиотека Рэдичи содержала много книг по магии, но не удалось обнаружить ничего из тех предметов, употребляемых при обрядах, о которых говорил Макграт. Дьюкейн со стыдливым любопытством ожидал, что познакомится с этими предметами, но ничего даже близко похожего не нашлось. Дьюкейн пришел к выводу, что Рэдичи, наверно, уничтожил их перед самоубийством, что доказывало тот факт, что уход из жизни был заранее обдуманным, а совсем не импульсивным. Но этот вывод принес мало пользы расследованию.

Дьюкейн все откладывал и собирался и дальше откладывать момент, когда он потребует у Бирана объяснений, потому что это была его последняя надежда. Отчет спецслужбы о Биране не содержал, как он и предполагал, ничего интерес-

---

[15] Примечания: 15
Тайный *(лат.).*

ного, а его собственные розыски и размышления пока не принесли плодов. Он не мог найти никакой зацепки, чтобы объяснить странную роль Бирана в этом деле, и не хотел допрашивать его, не имея серьезных козырей. Биран был очень умным человеком, и вряд ли с ним можно было блефовать, утверждая, что «все известно». Очень мало что было пока известно, и, конечно, Биран знал об этом. Дьюкейн в душе не сомневался, что отношения Рэдичи с Бираном каким-то образом могли разрешить загадку самоубийства, но все же он понимал, что это пока недоказуемо, это лишь предположение. Биран лгал о своем знакомстве с Рэдичи, он моментально обнаружил, что Рэдичи убит, и он же зачем-то передвигал тело убитого. Но если Биран предпочтет отговориться тем, что он лгал просто потому, что нервничал и двигал тело из спонтанного любопытства, что можно ему возразить? А то, что он так быстро оказался на месте убийства, вполне могло быть случайностью.

Дьюкейн снова стал перебирать в уме возможность того, что все-таки Биран убил Рэдичи; он размышлял, было ли противоречие между отпечатками пальцев левши и положением револьвера случайным, или же оно являлось

хитрой уловкой. Но он не мог прийти к какому-нибудь выводу: случайность была маловероятна, а уловка была бы слишком ловкой и непонятной. Если Биран наблюдал за Рэдичи во время исполнения им магических ритуалов, как же он мог не знать, что тот левша? На самом деле Дьюкейн знал по собственному опыту, что люди часто не замечают, что человек левша, к тому же не было никаких доказательств, что визиты Бирана в дом Рэдичи вообще были связаны с магией. И в целом Дьюкейн отвергал мысль об убийстве. Он был глубоко убежден, что Рэдичи сам стрелял и что Биран необдуманно положил револьвер в поисках чего-то, или что там у него было на уме, а потом инстинктивно положил его справа. Очень скоро он задаст этот вопрос самому Бирану. Но разговор с ним, так долго откладываемый, будет очень важным, решающим в этом деле, и его нельзя провалить. Он хотел не просто ошеломить Бирана, но желал иметь достаточно информации, чтобы загнать его в ловушку. В данный момент, однако, казалось просто невозможным выяснить что-то еще, пришел он к печальному выводу. Разве еще попытать Макграта.

— Там внизу джентльмен хочет вас видеть, сэр. Он говорит — его зовут Макграт.

Дьюкейн вздрогнул. Файви предпочитал не входить в комнату, если можно было ограничиться простым заглядыванием в нее, и сейчас, склонясь под углом в сорок пять градусов, держась за дверную ручку, наклонился вперед. Даже его усы как будто подверглись действию гравитации.

— Где он? Я спущусь.

— Он в холле, сэр.

Когда Файви посторонился, Дьюкейн ощутил странный и незнакомый запах — какой-то сладковато-кислый аромат исходил от его слуги. Он поторопился отойти от него подальше. Файви спускался за ним по лестнице, мыча себе под нос «Бони Чарли».

Дьюкейн увидел огненно-рыжие волосы и голубые глаза Макграта. Но его тут же заслонила крупная фигура Файви, который, как танцор, сделал шаг в сторону, обогнал Дьюкейна, широко распахнул дверь маленькой гостиной и включил свет. Макграт смотрел не на Дьюкейна, а на Файви, который прислонился к косяку двери, приняв позу скорее зрителя, чем швейцара.

— Входите, прошу вас, — сказал Дьюкейн.

Макграт прошел мимо Файви, пристально глядя ему в глаза, и, войдя в комнату, опять обернулся к нему. Файви тоже устремил на него свой

взор. Дьюкейн шел за Макгратом и опять вдохнул зловещий, слегка маслянистый запах. Файви почти отпрыгнул от двери и, напевая «Неужели ты не вернешься», удалился в сторону кухни.

Дьюкейн резко закрыл дверь:

— Довольно поздний час для визита, Макграт.

— Кто он такой? — спросил Макграт.

— Мой слуга.

— Мм, шикарный. Но кажется немного странным. С ним что-то не так?

— Нет. А что?

— А эти пятна на лице?

— Веснушки.

— По мне, так вроде он оспой *болел.* И косой немного.

— Садитесь, Макграт. Теперь расскажите, что привело вас ко мне. Надеюсь, у вас есть новая информация для меня.

Дьюкейн задернул занавески. Он сел на высокий табурет у камина и указал Макграту на кресло, обитое ситцем. Макграт сел.

— Итак, — сказал Дьюкейн, — давайте. Уверяю вас, вы не пожалеете, что рассказали мне правду.

Макграт наклонился вперед, пристально вглядываясь в лицо Дьюкейна. Он сказал:

— Вы имеете в виду, что оцените меня по заслугам?

Вот оно, подумал Дьюкейн. Он ответил:

— Если вы имеете в виду, заплачу ли я вам за новую информацию, то боюсь — нет. Я хотел сказать, что если потом выяснится, что вы скрыли от меня что-нибудь важное, то у вас будут серьезные неприятности.

Мысль о том, чтобы материально стимулировать Макграта — и тогда он, может быть, расскажет еще что-нибудь, — приходила в голову Дьюкейна, но он отверг ее. Парень казался абсолютно неблагонадежным и скорей мог бы разговориться, если б ему угрожали, чем прельстясь подкупом. Дьюкейн весь сжался, не желая входить в конфиденциальные или мнимосердечные отношения с ним, он был убежден, что в любом случае за деньги купит только ложь.

— Вы совершаете ошибку, сэр, — сказал Макграт. — Я рассказал вам все, что знаю о мистере Рэдичи. Я не для этого пришел.

— Тогда почему вы спрашиваете, оценю ли я по заслугам, если вам нечего сказать? Предупреждаю вас, Макграт, вы затеяли опасную игру. Если вы будете откровенны со мной, возможно, я буду в состоянии помочь вам позднее. Но в про-

тивном случае…

— Видите ли, сэр, дело совсем в другом. Я подумал, может быть, вас заинтересует что-то вроде проекта, который я мог бы предложить, сэр…

— Не думаю, что какой-то ваш проект может заинтересовать меня, Макграт, кроме того, о чем я уже говорил.

— Он касается вас, сэр, этот проект, и я думаю, *вас* заинтересует…

— О чем вы говорите?

— Это довольно трудно объяснить, сэр. Но дело в том, что если бы вы могли продолжить в мою пользу денежные отчисления, которые делал мистер Рэдичи, то я мог бы сослужить вам службу…

Дьюкейн смотрел на Макграта. Его розово-белое лицо выглядело младенчески влажным, бледно-голубые глаза были приветливыми и круглыми, слащавый ротик вызмеился в заискивающую улыбку. Дьюкейн смотрел на него с отвращением. Он сказал:

— Боюсь, я не нуждаюсь в ваших услугах.

— Я пока их и не предлагал, сэр, хотя был бы счастлив пригодиться. Но, видите ли, сэр, я нуждаюсь в деньгах и думаю, что скоро лишусь работы. Работы, сэр, и пенсии.

— Я абсолютно не намерен давать вам деньги,

— сказал Дьюкейн, — и удивлен, что вы просите их. Вы должны поискать другую работу. Боюсь, ваше благосостояние — не мое дело. А теперь, Макграт, я уверен, что вам есть что рассказать о мистере Рэдичи. Когда вы были у них дома…

— Нет, сэр, дело не в этом. Все, что мог, я уже рассказал о мистере Рэдичи. Мне нужна ваша помощь, сэр, небольшая — фунт-два в неделю…

— Вы напрасно тратите время, Макграт, — сказал Дьюкейн, вставая. — А теперь, если…

— Наверно, не стоит мне ходить вокруг да около, сэр, — сказал Макграт, — хотя мне совершенно не хочется причинять неприятности такому милому дружественному джентльмену, как вы. Может быть, вы взглянете на это.

Макграт вытащил два широких блестящих листа бумаги, похожих на фотографии. Механически Дьюкейн протянул руку и взял их. Это и были фотографии. Через мгновение, вздрогнув от удивления и тревоги, он осознал, что это были фотографии писем, написанных знакомыми почерками.

— Ради бога, что это?…

— Вот видите, сэр, я взял на себя смелость позаимствовать эти два письма с вашего стола в кабинете.

Дьюкейн взглянул на оба письма — и жар ярости и стыда кинулся ему в голову. Он глубоко вздохнул и затем сказал как можно хладнокровнее:

— Вы зашли теперь уже слишком далеко, Макграт. Этим теперь займется полиция. Что вы предполагали делать с этими письмами?

Макграт тоже поднялся на ноги. Его розовые губы чуть подергивались, он казался слегка взволнованным, но не обескураженным.

— Я надеялся, сэр, что мне *ничего* не придется делать с этими письмами. Я имею в виду, если вы продолжите платить мне небольшое месячное содержание, которое мне выплачивал мистер Рэдичи. Он делал это просто по-дружески, никаких конфликтов не было. И что значат два-три фунта для такого богатого джентльмена, как вы?

— Понимаю, — сказал Дьюкейн. — А если я пошлю вас и ваше месячное содержание к черту?

— Что ж, сэр, тогда я буду вынужден переслать эти письма молодым дамам. Я имею в виду — одной молодой даме письмо, написанное *другой* молодой дамой.

Письма были от Кейт и Джессики.

— Очень кстати, сэр, обратите внимание, что обе дамы писали от руки — чудесный почерк у

обеих, осмелюсь заметить, и обе поставили даты, даже год. И конечно, у меня остались и конверты, на которых надписано ваше имя, да и марки имеются.

Действительно, письма были написаны с разницей в два дня.

Дьюкейн быстро обдумал сложившуюся ситуацию. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы идти на поводу у этого подлого мошенника. И в то же время было невыносимо представить, что Кейт и Джессика…

Он сказал:

— Боюсь, вы совершили просчет, Макграт. Каждая из этих молодых дам, как вы их называете, полностью осведомлена о моих чувствах к другой. Ваша угроза бесполезна, мне совершенно безразличны ваши предложения.

— Я надеюсь, что вы простите меня, сэр, — сказал Макграт, — не то чтобы я хотел назвать вас лжецом, но не мог же я прийти к вам совсем без подготовки, верно? Я провел свое маленькое расследование. Хотите знать как? Как вы видите, обе дамы пишут на роскошной бумаге с адресами и телефонами. Они написали имена ясно и отчетливо, дай им бог здоровья, и не так уж трудно было узнать их фамилии. Тогда я позвонил

каждой из них и спросил, могу ли я поговорить с другой, и каждая из них была очень удивлена и сказала, что не знает такого имени.

— А вы изобретательны, Макграт, — сказал Дьюкейн. Он стал читать письма.

Письмо Кейт было таким:

О мой дорогой Джон, как я скучаю по тебе, кажется, еще сто лет надо ждать, когда наступят чудесные выходные. Мне неприятно думать, что ты совершенно одинок в Лондоне без меня, но скоро мы снова соединимся. Ты моя собственность, ты знаешь, а у меня развито чувство собственности! Я требую своих прав! Не будь вдалеке от меня долго, мой милый, поторопи день и час. О, как это чудесно, Джон, говорить с тобой о любви и знать, что ты чувствуешь то же самое! Люблю, люблю, люблю.

Твоя Кейт

P. S. Вилли Кост шлет привет и тоже надеется повидаться с тобой.

Письмо Джессики содержало следующее:

Мой любимый, мой любимый, мой Джон, это мое обычное ежедневное послание, в котором я хочу сказать, что люблю тебя до самозабвения. Ты был таким бесконечно милым вчера, после того как я была такая ужасная, и ты знаешь, как я невыразимо благодарна тебе за то, что ты остался. Я лежала потом на постели целый час и плакала – от благодарности. Разве мы сможем спрятаться от нашей любви? Хочу уверять тебя в моей любви каждый день. Конечно, у нас есть будущее.

Твоя, твоя, твоя Джессика

О боже, сказал Дьюкейн про себя. Как бы он не хотел, чтобы девушки прочли эти письма. Невозможно объяснить экстатический темперамент Кейт Джессике или, наоборот, растолковать Кейт, что Джессика живет в мире фантазий. Письмо Кейт звучало, как записка от любовницы. Джессика будет уверена, что он лжет, а он не сможет перенести этого. Он мог перенести разлуку с Джессикой, но едва ли он сможет перенести, если она будет думать о нем плохо. А письмо Джессики было еще более выразительным. Возможно,

он попытался бы исповедаться перед Кейт, но романтическое очарование их отношений будет разрушено, и Кейт, конечно, почувствует себя обманутой. Поверит ли она ему до конца в любом случае? У них все будет по-другому отныне. Дьюкейн с ужасной ясностью видел, что ничего нельзя поделать. Он не мог заключить сделку с Макгратом, это была бы непереносимая и неверная ситуация. Оставалась одна надежда — припугнуть его.

— Поймите же совершенно отчетливо, Макграт, — сказал Дьюкейн, — что я не пойду на ваше дьявольское предложение. Я не собираюсь платить вам ни пенни. И если вы пошлете эти два письма двум молодым дамам, я сразу же пойду в полицию и обвиню вас в вымогательстве. Не думаю, что вам придется по вкусу долгое пребывание в тюрьме.

— Ах, бросьте, бросьте, сэр, — сказал Макграт — его вялое лицо расплылось в жеманной улыбке. — Не думаю, что вы *так* и сделаете. А если бы вы сделали так, сэр, я бы просто продал эту историю в газету. И обе молодые дамы будут так потрясены!

— Вы настоящий негодяй, — сказал Дьюкейн.

— Не надо. Не надо. В конце концов, сэр, как

мужчина мужчине — у вас столько преимуществ передо мной. Почему ваши интересы важнее моих?

Дьюкейн думал: мне нужно выиграть время. Он не станет посылать письма, пока у него есть надежда получить деньги. Я должен просто объяснить все Кейт и Джессике, подготовить их. Но как я смогу? Он сказал Макграту:

— У вас выигрышная позиция, не отрицаю, Макграт. Примите мои поздравления по поводу вашей сообразительности. Я обдумаю ваш проект. Мы должны прийти к какому-то соглашению, имея в виду, что ваши запросы довольно умеренны. И предупреждаю, что, если вы перестанете быть умеренным, я сразу же обращусь в полицию. Но мне нужно время, чтобы все обдумать. Зайдите ко мне опять дня через два или три.

— Спасибо, сэр, спасибо, — сказал Макграт. — Я знал, что вы будете разумны и спокойны. Могу ли я надеяться на маленькое вознаграждение, не принуждая вас ни к чему впоследствии, а просто — в знак нашей дружбы?

— Сомневаюсь в нашей дружбе, — сказал Дьюкейн, — но вот возьмите два фунта.

— О, благодарю, благодарю вас. И позвольте напомнить, сэр, если осмелюсь сказать, есть еще

один пункт — вы знаете мою жену Джуди, мы понимаем друг друга, мы с Джуди. А Джуди — добрая девушка, если посмотреть философски, и Джуди вы очень понравились, сэр, и если вы захотите…

— Как вы осмеливаетесь говорить со мной о вашей жене таким образом! — закричал Дьюкейн. — Убирайтесь вон! Вон! — Он бросился к двери и открыл ее.

Файви быстро отпрыгнул и попытался сделать вид, что вытирал стол в холле.

— Послушайте, вы! — кричал Дьюкейн. — Сейчас же вон, Макграт!

— Ладно, ладно, сэр, но я вернусь, как мы договорились, — пробормотал Макграт, поспешно выходя в холл.

Он на мгновение остановился перед Файви, и они посмотрели друг на друга, как две собаки. Затем он выскочил из дверей.

Дьюкейн повернулся к Файви.

— Вы пьяны! — крикнул он. — Я чувствую запах. Идите спать. И если это повторится, я немедленно вас уволю.

Файви покачнулся, ласково посмотрев на Дьюкейна укоряющим взором своих карих глаз, повернулся и начал осторожно подниматься по лестнице. Дьюкейн вернулся в гостиную и

захлопнул дверь.

Он разорвал обе фотографии на мелкие кусочки. Действительно, он обманывал и Кейт, и Джессику. Его поведению не было объяснения. Оно выглядело плохо, оно было плохим. Так ему и надо. И еще этот негодяй имел наглость предлагать ему свою жену! Он не мог поверить, что Джуди Макграт... И вдруг в этот момент внезапно понял то, о чем мог бы догадаться гораздо раньше.

21

— В шем дело, Пола?

— Венера, Купидон, Безрассудство и Время.

— Что?

— Ничего.

— Когда же мы начнем читать «Энеиду»?

— Позже. После… Позже.

— После чего?

— Позже.

— В шем дело, моя дорогая?

— Ни в чем, Вилли. Вот Барбара идет проведать вас. Я должна идти. Благодарю за помощь!

Корабль Эрика мчался через Индийский океан на север, а Эрик стоял на носу, как ростральная фигура, — с его большим, будто лакированным лицом и золотыми волосами, откинутыми назад. Он наклоняется вперед — к блестящему морю, посылая в сторону севера, в сторону решающей встречи, горящий луч своей воли. Непреодолимая сила ведет его к встрече. Что можно ей противопоставить? Осталась ли еще любовь, способная исцелить ее, или нужна только храбрость перед лицом этой силы? Какой смысл бежать от нее?

Она неизбежна. В какой-то незнакомой комнате она будет молча ждать стука шагов по лестнице. Она не произнесет ни слова, не будет исповедоваться, не станет просить помощи. Уже слишком поздно, теперь гордость не изменит ей, своей рабе. Кончились рассуждения, тонкости, гордость разума; теперь грядет нечто такое, чему можно только немо смотреть в лицо. Эрика больше нельзя контролировать, нельзя управлять им, и пусть случится то, чему суждено, нужно это перенести, выстоять. То, что необходимо сейчас: тайная стойкость, тайное мучение, воля к добровольной жертве — чего бы он ни пожелал — око за око, зуб за зуб. И все это грядет — не только благодаря неуклонному скольжению корабля, но и потому, что похороненное заживо прошлое оживает в демоническом молчании. Теперь необходима демоническая храбрость, чтобы стать лицом к лицу с этой воскресшей окровавленной жертвой.

Но — о человеческая слабость! — желание обывателя, хныкающее желание — чтобы этого никогда не случалось совсем и чтобы все было как раньше. Горькое воспоминание о свежепокрашенной двери и красивой женщине, которая вошла в дом. Горечь горечи. О Ричард, Ричард, Ричард.

— Генриетта! Почему ты здесь одна? Где Эдвард?

— Он ищет Монроза.

— Генриетта, ты плачешь. Что случилось, мой котенок? Сядь и расскажи мне.

— Все *ужасно.*

— Почему, что ужасно? Расскажи мне, что ужасно.

— Мы *нигде* не можем отыскать Монроза.

— Монроз вернется. Кошки всегда возвращаются. Не волнуйся.

— И мы нашли мертвую рыбу в нашем особом пруду.

— Что же делать, они умирают время от времени, Генриетта, как мы.

— И мы видели, как плохая сорока уносила бедную лягушку.

— Сорокам же нужно что-то есть, знаешь ли! Я не думаю, что лягушка успела понять, что происходит.

— Я бы хотела, чтобы животные не мучили друг друга.

— И мы, люди, мучаем друг друга!

— И еще мы нашли несчастную чайку со сломанным крылом, и дядя Тео утопил ее.

— Это было единственное, что он мог сделать,

Генриетта.

— А прошлую ночь мне снилось, что мы опять с папой и все опять хорошо, и потом я проснулась такая несчастная. Почему, мама, все вот так? Почему, мама? Ну, ты уже тоже плачешь…

— Я выучила квартет с флейтой ре минор.

— Я знаю.

— О, вы слышали! Я-то надеялась, что это будет сюрприз.

— Я слышал на днях, проходя мимо дома.

— Можно я поднимусь и сыграю для вас?

— Нет.

— Почему нет? Раньше вы пускали меня играть для вас.

— Теперь все.

— Почему, Билли?

— Музыка причиняет слишком сильную боль, Барбара.

— Вы просто думаете, что я не сумею сыграть как следует! Я теперь лучше играю.

— Нет, нет. Я слышал, ты играла прекрасно.

— Вилли, почему вы не хотите заниматься со мной немецким? Вы ведь учите Пирса латыни. Почему же мне нельзя?

— Просто — нельзя.

— Я не понимаю вас. Мне кажется, вы станови-

тесь злым. Все злые. Пирс — злой.

— Пирс влюблен.

— Фу! На что это похоже — быть влюбленным, Вилли?

— Я забыл.

— Что ж, вы уже немолоды. Если бы я влюбилась в кого-нибудь, я бы не была с ним злой.

— Это очень хорошее правило, Барбара. Не забудь его, когда придет время.

— Помните, как вы говорили, что я — Титания, а вы — осел?

— Говорил? Что ж, я так и остался ослом. Я собираюсь в Лондон завтра, Барби.

— Знаю, вы поживете у Джона два дня. Джон говорил мне.

— Собираюсь походить по библиотекам.

— Я вас навещу, как только вы вернетесь. Мне будет одиноко — мама и папа тоже уезжают.

— Потом я собираюсь поработать. Приходи на выходные.

— Почему не сразу, как вы вернетесь?

– *Nam excludit sors mea: «saepe veni»*[16].

— Вы продолжаете говорить по-латыни, хотя знаете, что мне непонятно. Я бы поняла, если бы

---

[16] Примечания: 16

Ибо жребий велит: «Приходи почаще» *(лат.).*

вы написали это. Но я не могу *говорить* по-латыни, и вы так смешно произносите.

— Не обращай внимания.

— Не хочу, чтобы вы были таким злым, Вилли, да еще тогда, когда я так страдаю из-за Монроза.

— Не волнуйся из-за Монроза, Барби, он вернется. Он просто предпринял небольшое путешествие.

— Но он раньше так не делал никогда. Он не такой, как все коты. Он и не *думал* никогда уходить.

— Уверен, что он вернется, голубка моя. Ну вот, не плачь. Я страдаю, когда ты плачешь.

— Я думаю, вам все равно. Я думаю, вы жестокий.

Барбара, сидя на полу рядом с креслом Вилли, обняла его колени. Вилли резко встал, разорвав ее объятие, и подошел к окну.

– *Перестань плакать*, Барбара.

От удивления она перестала и сидела теперь, хлюпая носом и вытирая глаза, ее ступни, под зелено-белым в горошек платьем, прижались друг к другу, как две маленькие коричневые птицы.

Вилли взялся за подоконник, отодвинув принесенные близнецами камни и стакан с обмякшими и поникшими цветами крапивы, и, подняв свой

швейцарский бинокль, стал рассматривать местность. Я должен уехать отсюда, думал Вилли. Каждый раз муки оттого, что я не могу заключить ее в объятия, становятся все сильнее.

— На что вы смотрите, Вилли?

— Ни на что.

— Нельзя смотреть на ничто. Вы сегодня какой-то скучный. Я лучше пойду.

— Не уходи, Барби. Впрочем, да, уходи. Мне надо поработать.

— Хорошо. Я пойду покатаюсь на пони. И *никогда* не сыграю вам Моцарта.

— Обещай мне кое-что, Барби.

— Может быть. А что?

— Пойди найди Пирса и будь с ним особенно милой.

— Может быть. Посмотрю, захочется ли мне. Счастливо провести время в Лондоне.

После того как она ушла, Вилли Кост запер дверь, пошел в спальню и ничком лег на кровать. Острое физическое напряжение последнего получаса обессилело его, он содрогался. Он не мог понять, что хуже — когда она притрагивается к нему или когда нет. Грубая мука желания смягчалась от ее прикосновения. И все же в такие моменты, ощущая, как все его тело стремится

к ней, он мучился каждым мускулом, каждым нервом своего тела. Сохранять пассивность, когда она гладила его по волосам или обнимала его колени, требовало от него огромного усилия, причинявшего боль. И все же живое представление о том, что он мог бы обнять ее, страстно поцеловать, усадить на колени, окружало Барбару золотым нимбом боли.

Я думал, все пройдет, а становится только хуже, сказал себе Вилли. Я должен сделать что-то, я должен уехать; если все пойдет по-прежнему, я сойду с ума. Он начал старательно думать о Мэри, и наконец сладкая, ласкающая слабость поползла по телу, как легкий туман. Он не был влюблен в Мэри, но очень дорожил ею и гораздо больше был взволнован и тронут ее предложением, чем смог выразить ей во время двух страстных, смущенных, нерешительных свиданий, которые были у них после сцены на кладбище. Наверно, он должен жениться на Мэри и уехать с ней. Возможно, это и есть выход. Почему хотя бы не попытаться обрести счастье? Слишком поздно? Неужели прошлое и вправду сломало его?

Вилли лежал на постели неподвижно, лицом вниз, а солнце уже склонялось над морем, и вечер заставлял кипеть земные краски, а потом сам

растворял их в призрачной голубоватой тьме середины лета. Он лежал с широко раскрытыми глазами и молча слушал, как Тео стучит в дверь, а потом медленно уходит.

22

О горы, и пригорки, и холмы,
О, где ж вы были,
Когда убили герцога Мюррея
И на траве зеленой положили.

— Заткнись, Файви! — крикнул Дьюкейн через дверь гостиной.

Дверь кухни с грохотом захлопнулась. Дверь гостиной тоже захлопнулась.

— Прости, Вилли, — сказал Дьюкейн, — мои нервы на пределе.

— В шем дело?

— Ни в чем. Эта жаркая погода действует на меня угнетающе. Это как-то неестественно.

— Интересно, эти забавные пятна сходят зимой?

— О чем ты, Вилли?

— Эти веснушки на лице твоего дворецкого, или кто он.

— Господи! Никогда не думал об этом. Надеюсь, что нет. Мне они нравятся! — засмеялся Дьюкейн. — С тобой я чувствую себя лучше, Вилли. Давай

выпьем.

— Немного виски, может быть, на сон грядущий. Спасибо.

— Ты загорел. Много был на солнце?

— Просто от лени.

— Ты выглядишь веселым, Вилли.

— Да просто сумасшедшим, наверно.

— Октавиен и Кейт благополучно уехали?

— Да, столько шума было, как обычно.

— Надеюсь, им понравится в Танжере. Я сам думал, что он похож на Тотнэм-Корт-роуд.

— Им *везде* понравится.

— Да. Они счастливые люди.

Оба, Вилли и Дьюкейн, вздохнули.

— Счастье, — сказал Вилли, — это просто вопрос ежедневной занятости сознания чем-нибудь, удовольствиями, но только не собой. Проклят тот, кто ежедневно неустанно и мучительно занимается самим собой.

— Да, — сказал Дьюкейн, — Кейт и Октавиен — гедонисты, они не очень глубоко заняты собой, и потому люди вокруг них тоже счастливы.

Дьюкейн подумал: вот как раз минута, когда Вилли может рассказать что-нибудь о себе, если я буду настаивать. Я думаю, он хочет этого сам. Но я не буду. У меня слишком много своих бед.

— Там все в порядке?

— И да и нет. Я их мало вижу. Пола чем-то обеспокоена, она о чем-то умалчивает.

И не она одна, думал Дьюкейн мрачно. Он сказал:

— Печально слышать. Надо побольше с ней видеться.

«Я на инстинктивном уровне уверен, что все, что людям нужно, — это моя помощь», — подумал Дьюкейн с горечью.

— Да, повидайся с Полой, Джон. А бедняжка Барбара очень страдает из-за кота.

— Кот так и не вернулся?

— Нет.

— Думаю, вернется.

— Барби — такое милое дитя, но, конечно, безнадежно испорченное.

— Хм.

Дьюкейн чувствовал себя деморализованным, а так как это было непривычно, он был встревожен. Он был из тех людей, кто должен думать о себе хорошо. Сама энергия его жизни порождалась чистой совестью и живым, сознательным альтруизмом. Как он имел случай заметить только что, он привык воображать себя сильным, самодостаточным, безупречным и довольно строгим

человеком, для которого помощь другим была вполне естественной. Если у Полы неприятности, то, очевидно, она нуждалась в поддержке, сострадании Джона Дьюкейна. Думать таким образом стало для него просто рефлексом. Абстрактно Дьюкейн знал, что тот, кто считает себя идеальным, как правило, ошибается, но разрушение образа в его случае не подтвердило этой ветхой истины, а, скорее, внесло в его душу смятение и слабость. Я не могу никому помочь, думал он, не потому только, что недостоин, но у меня просто нет сил, у меня и сейчас нет сил протянуть руку Вилли, я слишком изнервничался от всей этой путаницы и от чувства вины.

Он провел часть вчерашнего вечера с Джессикой и безучастно согласился «продолжать видеться с ней». Они горько и почти враждебно спорили о том, как часто они будут видеться. Дьюкейн настаивал на том, чтобы не чаще раза в две недели. Джессика не вопила, не плакала. Она остро, въедливо спорила. Она допрашивала Дьюкейна опять, есть ли у него любовница, а он снова отрицал это. Они смотрели друг на друга подозрительно и враждебно и резко расстались. Дьюкейн думал, но был слишком измучен, чтобы сформулировать, что если два человека так суро-

вы друг к другу, так немилостивы, то им должно бы хватить ума и силы расстаться. Но потом, все еще размышляя о вечере, он почувствовал стыд из-за своего недоброго поведения и снова поддался слабости и неуверенности.

Он уже виделся и с Макгратом снова и снова дал ему немного денег. Он сожалел, что был несколько суров с ним при первой встрече, ведь он мог бы сразу попытаться уговорить Макграта продать еще больше информации о Рэдичи. Дьюкейн сухо отметил, что его прежние угрызения о подкупе Макграта и о собственном унижении, казалось, исчезли, потому что теперь он находился с этим типом в коммерческих отношениях. Но Макграт, как этого и желал Дьюкейн, до сих пор не был уверен, что Дьюкейн станет регулярно выплачивать деньги за то, чтобы он не посылал писем «двум молодым женщинам», а поэтому хитрил, намекал на какие-то еще обстоятельства, которые мог бы открыть, если бы его достойно вознаграждали, и назначал новое свидание. На самом деле Дьюкейн уже сомневался, что у Макграта еще осталось что сообщить. Что касается писем, то Дьюкейн убедил себя, что это просто временная уловка и что у него нет иного выхода. Он должен, когда будет соответствующая возможность, рас-

сказать Кейт и Джессике о существовании друг друга и подготовить их к этой неприятности. Они обе были разумные женщины, и все, возможно, уладится. Пострадает только его достоинство, но лучше уж пусть оно страдает.

Так Дьюкейн думал бóльшую часть времени. В другие моменты все это казалось ему настоящим кошмаром. Ему была невыносима мысль, что они подумают, что он лгун и предатель. Его поведение по отношению к Джессике, и без того жалкое и лишенное доброты, покажется ей жалким притворством. Джессика наверняка решит, что Кейт — его любовница. Дьюкейн предпочел бы, чтобы его считали хладнокровным убийцей, чем хладнокровным обманщиком. Да, думал он, я и есть хладнокровный обманщик. Я не могу вынести не того факта, что я им являюсь, а того, что меня примут за такого! Что касается Кейт, он не мог предугадать ее реакции, в самые страшные минуты он даже предполагал, что будет навеки изгнан из Трескомба. В такие минуты мелькала мысль: уж лучше продолжать платить Макграту за молчание. Но Дьюкейн знал, что это путь в ад и сам факт, что он размышляет над этим, показывает всю его развращенность.

И еще он возвращался мысленно к Бирану. Он

все более напряженно думал о нем, но это размышление приводило к еще большей неясности. Особого рода религиозный темперамент Дьюкейна требовал энергии, порожденной добродетелью, добро казалось ему точкой, горящей далеко на горизонте. Похожий, хотя и не такой чистый, инстинкт заставлял его ощущать зло в своей жизни как постоянно, систематически отвергаемую основу ее, как некий заговор. Возможно, это было архаическим остатком убеждений его предков, сильно и буквально веровавших в дьявола. То есть сейчас он чувствовал, что запутанность в отношениях с двумя женщинами, шантаж Макграта, смерть Рэдичи, за которую он странным образом начинал себя чувствовать ответственным, а также загадочная, но очевидно порочная деятельность Бирана — все это связалось воедино. Более того, ключ ко всему был именно в Биране.

Дьюкейн стал видеть во снах Бирана, и сны эти были причудливы. Во снах Дьюкейн всегда преследовал его. Он с волнением и пылом разыскивал Бирана в пустых садах и на разбомбленных улицах Лондона. Знакомые места трансформировались в призрачный кошмар из-за его желания поймать Бирана. Дьюкейн, не привыкший принимать сновидения всерьез, даже и не пытался

истолковать их. И его дневное сознание тоже было одержимо этим человеком, он мог теперь заметить, как эта одержимость возобладала над прежними раздражениями и предубеждениями. Расследование было важным, и Дьюкейн даже не помышлял о неудаче. Но то, что Дьюкейн теперь ощущал как включенность Бирана в свою жизнь, было гораздо важнее. Существует любовь охотника к жертве. Но был ли Биран именно жертвой? Не был ли он сосредоточением силы, демоном?

Эти странные идеи будоражили разбалансированный разум Дьюкейна не как собственно мысли, а как давление или атмосфера. Его открытие, что Биран лгал о Рэдичи, послужило началом развертывания процесса, который развивался уже по своим химическим законам. Пока Биран был просто знакомым, много лет назад позволявшим грубо насмехаться над Дьюкейном, Дьюкейн чувствовал только небольшую антипатию к этому человеку, которого он мог осудить, но не желал ему ничего особенно плохого. Но как только Дьюкейн оказался облеченным властью над Бираном и узнал о нем дискредитирующие вещи, его интерес сразу потерял и силу, и накал. Уничижительный смех много лет тому назад потерял свою силу и больше не ранил. Биран,

став грешником и будучи загнанным в ловушку, перестал быть угрозой. Как бы то ни было, факт остается фактом — Биран все больше беспокоил его. Убил ли Биран Рэдичи? Такая возможность оставалась, и, размышляя над ней, Дьюкейн чувствовал возрастающее беспокойство. Он все откладывал встречу с ним в надежде собрать больше сведений, но источники информации высохли. Дьюкейн не хотел, чтобы его собственная психология возобладала над ним. Но после серьезного размышления он наконец решился: я должен увидеться с ним. Я буду блефовать, это рискованно, но я должен увидеться с ним. И этот вывод наполнил его тревогой и странной, глубокой и порочной радостью. Я увижусь с ним завтра, думал Дьюкейн, слушая, как Вилли рассказывает о жизни обитателей Трескомба.

— Тео прекратил дуться, Вилли?

— Да. Он теперь опять навещает меня.

— Интересно, что же все-таки случилось с Тео в Индии? Можно только воображать!

— Я не знаю. Я думал, ты можешь знать, Джон. Ведь ты наш общий отец-духовник.

— Брось, Вилли!

— Ты — наше представление о правильном человеке.

— Верно, смейся надо мной.

— Серьезно…

— Перестань, Вилли. А как близнецы?

– *Herrlich*[17]. Они великодушны, эти малыши. И клянутся, что без конца видят летающие тарелки. Они единственные не участвуют в общем смятении.

— Дорогой мой, а мы что — все в смятении? Ты в смятении? Уверен, что Мэри не в смятении. Она всегда спокойна.

Вилли поколебался, руками поставил хромую ногу назад и откинулся в кресле. Он посмотрел на ковер и сказал:

— Ты сказал, что я выгляжу веселым. Таким я и должен быть. Мне сделали брачное предложение.

— Господи, кто?

— Мэри!

Дьюкейн чуть не сказал: «Прекрасно, я ей это посоветовал» — но вовремя остановился. Если он имеет наглость разыгрывать из себя Господа Бога, то хотя бы должен скрывать этот факт. Как я рад, подумал он.

— Как чудесно!

---

[17] Примечания: 17
Великолепно *(нем.)*.

— Ты не порицаешь?…

— Конечно нет! Так ты сказал «да»?

— Я думал, ты будешь порицать ее за такую глупость — желание выйти за меня замуж.

— Конечно нет, Вилли. Напротив, я… Но ты сказал «да», вас можно поздравить?

— Я не сказал «да». Я не сказал «нет». От благодарности я потерял дар речи. До сих пор.

— Вилли, значит, надежда на счастье. Да?

— Счастье. Не знаю, может ли оно быть моей целью, Джон?

— Ну пусть это будет вопрос веры. Мэри… Мэри — просто козырной туз, ты знаешь. Что еще важнее, она нуждается в тебе.

— Мэри — козырной туз, как ты изящно выразился. Я знаю это. И думаю, что люблю ее. Но моя душа похожа на старый надтреснутый ночной горшок. Я не могу дать женщине счастье.

— Чушь. Позволь ей переделать тебя. Будь смиренен с ней.

— Возможно. Я буду молиться об этом. Боги обещали ответить мне.

— О Вилли, счастливый дурачок…

Я завидую ему, думал Дьюкейн. Он любит невинно, и он любим невинно. Это нетрудно ему. Ему и его богам. Тогда как я запутался в сетях лжи

и предательства. Но как я рад, что правильно подсказал Мэри. Я уверен, если бы я не сказал, она бы не осмелилась. Может быть, мне удастся помочь двум хорошим людям обрести счастье. Но на сердце у Дьюкейна почему-то все равно было тяжело. С отчаянием он повторял про себя: завтра, завтра, завтра я увижусь с Бираном.

23

Джессика Берд позвонила в дверь дома Джона Дьюкейна. Ей открыл маленький человек с тонким загорелым лицом и короткой седой стрижкой. Джессика, знавшая, что Дьюкейн на работе, подумала, что это слуга.

Твердым официальным голосом она сказала:

— Я из дизайнерской фирмы «Пэйн и Стивенс». Я пришла снять мерку для занавесей в спальне мистера Дьюкейна.

Маленький человек, пробормотав что-то, приоткрыл дверь пошире. Джессика вошла. Она решила, что не может больше существовать в неопределенности по поводу того, есть ли у Дьюкейна новая любовница или нет. Верней, у нее не было неопределенности, она была уверена, что существует другая женщина. Она хотела, чтобы ее горе стало до конца конкретным, получить неопровержимое доказательство — вот какова была ее цель.

— Вы покажете мне, где спальня мистера Дьюкейна? Боюсь, я сама не смогу найти. — Она вынула стальную измерительную рулетку из

кармана и показала ее.

— Да, конечно да.

Маленький человек повел ее по лестнице наверх, в комнату, находившуюся в передней части дома над гостиной. Джессика, никогда прежде не бывшая в спальне своего любовника, сразу предположила, что это и есть спальня. Но лучше быть абсолютно уверенной.

— Вам что-нибудь нужно? Стремянка или еще что-нибудь?

— Нет-нет. Я справлюсь, вы можете идти. Спасибо. Мне понадобится минут десять. В ванной я тоже должна измерить. Я вас не задерживаю.

Маленький человек опять пробормотал что-то и вышел, закрыв дверь в спальню.

Джессика, заранее составившая план действий, занервничала, у нее закружилась голова, и она вынуждена была сесть на стул. Она не предвидела, как сильно подействует на нее спальня Дьюкейна. Тишина, его брюки, аккуратно сложенные на покрывале, его щетки и запонки на туалетном столике, голая мужская простота холостяцкой комнаты, горько-сладкое чувство близости и отсутствия привели ее в состояние болезненной тоски. Спальня, в отличие от гостиной внизу, могла быть комнатой любого человека, и

все же призрак Дьюкейна витал здесь, подчеркивая свою мужскую сущность, и от этого она почувствовала сильную слабость.

Глаза Джессики устремились на кровать, и ревность подействовала на нее, как глоток виски, она пришла в себя. Это была широкая постель. В сущности, она не была двойной, но в ней было достаточно места для двоих. Она встала и приступила к поискам.

Джессика была уверена, что абсолютно невозможно для женщины пожить где-то, пусть недолго, и не оставить следов своего пребывания. Если женщина была в постели Дьюкейна, она что-то оставила. Какой-то след, нечто позаимствованное из высокой области любви Дьюкейна, мерцающий фрагмент из принадлежащего исключительно Джессике сверхмира, который сейчас так ярко представило ее воображение. Что она станет делать с этим талисманом — мучить себя или его, она еще не придумала. Она хотела только раздобыть эту вещь.

Очень осторожно Джессика отвернула край покрывала и перешла к постельному белью. Она приложила лицо к подушке и внимательно принюхалась к ней. Она специально не надушилась сегодня. Как жаль, что у нее разыгралась сенная

лихорадка. Она взывала к своему обонянию. Чувствовался слабый запах какой-то косметики, но это мог быть крем для бритья или даже дезинфицирующее средство. Трудно прийти к какому-то заключению.

Отойдя от постели, она устремилась к корзине для мусора. Там лежали скомканные салфетки, упаковка из-под зубной пасты, пустая пачку сигарет, сломанная расческа и довольно большое количество человеческих волос. Джессика вынула комок волос и стала их разглядывать. Они были темно-коричневые и казались похожими на волосы Дьюкейна. Немного поколебавшись, она сунула их в карман. Она открыла шкаф. Аккуратный ряд темных костюмов Дьюкейна показался ей в темноте скопищем призраков-мужчин. Там пахло деревом и мужчиной. Шкаф был похож на волшебную избушку или на ковчег какой-то неведомой религии. Джессика в трепете застыла перед ним. Потом, нахмурившись, решительно и смело она начала быстро обшаривать карманы костюмов. Чего только не было в карманах Дьюкейна: разные бумаги, чеки за парковку, билеты, просто волосы, монеты, несколько расчесок и разнообразные обточенные морем камешки. Были и два письма, но одно — от телефонной компании,

а второе от водопроводчика.

Джессика отошла от шкафа и уделила внимание комоду. Здесь хотя и обнаружилось множество вещей, от которых у нее захватывало дух, — галстуки, напоминавшие о более счастливых днях, запонки, подаренные ею же, — но не было ничего похожего на «улику». Не было и презервативов. Не было ничего женского. Джессика в безумной спешке ринулась в ванную. Здесь она почувствовала слабый запах средства для пены. Карманы черного шелкового халата, вышитого звездочками, висевшего за дверью, были пусты, он пропах табаком. В шкафчике ванной не притаились духи или кремы для лица. В корзине для мусора валялся детективный роман.

Джессика побежала обратно в спальню. Здесь наверняка что-то отыщется, я *должна* это найти. Определенность все же всегда лучше неуверенности, с определенностью появляется сила — сила, дающая возможность ранить и удивлять, сила, позволяющая заново создать связь живых чувств. Джессика начала заглядывать в углы, осматривать пол. Какая-нибудь маленькая вещь — бусинка, пуговица, булавка — может таиться где-нибудь на ковре. Она отодвинула края простыни и посмотрела под кроватью. Так она и

лежала, вытянувшись и ощупывая ковер пальцами, когда поняла, что в комнате стало темнее. Затем она увидела мужские ноги и концы брюк, приближавшиеся к кровати.

— Знаете ли, то, что вы мне сказали, — *не совсем* правда.

Эти слова довольно извиняющимся тоном произнес маленький седой человек, впустивший ее в дом.

Джессика почувствовала такое облегчение оттого, что это не Дьюкейн, что уселась на кровать и просто смотрела на него.

— Я проверяю точки опоры.

— Для начала, — продолжил он, — я посмотрел в телефонной книге, такой фирмы «Пэйн и Стивенс» нет, а во-вторых, мистер Дьюкейн как раз недавно повесил новые занавески в этой комнате. И третье: зачем вы разбросали всю постель? С этого и начнем.

Маленький человек взял стул, поставил его перед закрытой дверью и сел, выжидающе глядя на нее.

Джессика посмотрела на постель: постельное белье было разметано и подушки разбросаны. Она взглянула на комод: все ящики в нем были открыты, галстуки и рубашки свешивались отту-

да. Что она может сказать? Джессика не боялась, что ее арестуют. Она страшилась быть застигнутой Дьюкейном, задержанной до его прихода. Она подумала: он может в любой момент застать ее. Я сейчас заплачу.

— Видите ли, — сказал маленький человек мягким голосом, с легким иностранным акцентом, — я могу дать делу ход, верно? Вы ведь можете оказаться грабительницей, правда? А я защищаю собственность друга, вы обошлись с ней довольно странно.

Джессика обрела голос:

— Вы не дворецкий? Не шофер?

— Нет. Шофер сегодня днем свободен. Я кое-кто другой. Но это не важно. Я жду ваших объяснений, моя дорогая.

— Я не грабительница, — еле прошептала Джессика.

— Верно. Я и не думал так на самом деле. Я размышлял о вас там, внизу, после того, как увидел в телефонной книге, что «Пэйн и Стивенс» — выдумка. Я сказал себе: эта молодая дама не грабительница. Но кто же вы тогда? Я все еще жду ваших объяснений.

Джессика, сгорбившись, сидела на постели. Она чувствовала себя испуганной, виноватой и

жалкой. Предположим, этот маленький человек задержит ее до прихода Дьюкейна, может быть, запрет ее? Почему, если любишь так сильно, это приводит только к несчастью и ужасу? Слезы наполнили ее глаза. Она сунула руку в карман и вытащила клок волос Дьюкейна, найденный на полу.

— О, ну ладно, ладно. — Он подошел, сел рядом на постель и протянул ей большой чистый носовой платок, в который она сразу уткнулась. — Я не монстр, знаете ли. Я не хочу вас пугать. Не хочу вас обидеть. Но представьте себя на моем месте! Я просто должен задать несколько вопросов. И естественно, мне любопытно. Я просто не понимаю, что вы тут делали. Это все немного странно, не правда ли? Не надо плакать, не надо. Просто поговорите со мной немного, ладно?

Джессика перестала плакать и вытерла лицо. Она смотрела в мужскую тьму шкафа. Ее переполняли несчастье и сила. Неожиданное — это уже нечто. Начинаешь ощущать себя. Она сказала твердым голосом:

— Вы спрашиваете — кто я? Я — ревнивая женщина.

Ее собеседник длинно и мелодично присвистнул. Потом он сказал:

— Вау!

— Мистер Дьюкейн и я были вместе, — сказала Джессика, — но потом он оставил меня. И говорит, что у него нет другой женщины. Но я уверена, что это неправда. На днях я видела, как женщина входила в этот дом. Я только хотела узнать наверняка. Поэтому я вошла, как вы знаете, и обыскала комнату, чтобы убедиться, что здесь была женщина.

— Нашли что-нибудь? — спросил он заинтересованно.

— Нет. Но я уверена…

— Не думаю, что Джон станет лгать, даже об этом.

Джессика повернула лицо к маленькому загорелому человеку. Он смотрел на нее сейчас иронически весело.

— Пожалуйста, скажите мне, — сказала Джессика, — если знаете, есть ли у него любовница? Конечно, так вы и скажете. Все это выдумки, мол.

— Но я обожаю выдумки. Нет, я уверен, у него нет любовницы. Этого вам достаточно? Вы уйдете теперь счастливой?

— Нет, — сказала она. — Этого недостаточно. *Ничто* не поможет.

— Демон ревности. Да, я тоже его знаю. Скажите ваше имя, только имя. Мы уже как будто знакомы.

— Джессика.

— Хорошо. Меня зовут Вилли. Теперь послушайте, Джессика, вы простите меня, если я задам вам еще несколько вопросов, а вы мне правдиво ответите?

— Да.

— Как долго вы были любовницей Джона?

— Около года.

— А как давно он оставил вас?

— Около двух лет.

— Часто ли вы видели его за эти два года?

— Да. Мы вроде бы остались друзьями.

— Вы еще любите его, а он вас нет?

— Да. И он сказал, что не хочет больше встречаться со мной, потому что хочет, чтобы я была свободной. Но я не хочу быть свободной.

— Могу понять это. Но ревность — ужасная вещь, Джессика. Из всех порочных страстей она самая естественная для нас, она проникает глубоко в душу и отравляет ее. Ей нужно сопротивляться всеми честными способами и осмыслением ее сущности, как бы ни казалось такое осмысление абстрактным по сравнению с этой злой силой.

Подумайте о добродетели, которая вам нужна, и назовите ее благородством, великодушием, милосердием. Вы молоды, Джессика, и вы так восхитительны — могу я взять вас за руку? — и мир еще не погиб для вас. Нет никакой заслуги в недоверии, она отравляет вас и мешает ему. Вы ничего не выиграете так, а только проиграете еще больше. Вы должны сделать свою любовь реальной, дать ей тело, и только одно вы можете сделать, если это подлинная любовь: дать ему уйти, и дать ему уйти спокойно, не сожалея об этом. Вложите всю свою энергию в это, и вы получите милость высших сил, о какой сейчас и мечтать не можете. Потому что милость существует на самом деле, и силы, и начала есть неизведанное добро, которое само собой приходит к известному нам добру. И предположим, вы нашли бы то, что искали, мое дорогое дитя? Тогда не перешли бы вы от ревности через обман к жестокости? Человеческие слабости образуют своего рода систему, Джессика, и прошлые ошибки порождают бесконечную сеть последствий. Мы не на стороне добра, мы не его люди, Джессика, и мы всегда будем вовлечены в эту огромную сеть, вы и я. И мы должны всегда постоянно бдительно следить за тем, чтобы не начать поступать плохо,

проверять себя, отступать, душить нашу слабость и подбадривать нашу силу, взывая к именам добродетелей, о которых мы ничего не знаем, кроме их имен. Мы не хорошие люди, и самое лучшее, на что мы можем надеяться, — это быть мягкими, прощать друг друга и прощать прошлое, самих себя и принимать это прощение и тогда снова вернуться к прекрасной неожиданной странности мира. Не так ли, Джессика, дитя мое?

После долгой паузы Джессика спросила:

— Кто вы?

— Моя дорогая, — пробормотал он. — Вы быстро учитесь. Простите меня.

— Господи боже, — сказала Джессика.

Вилли поцеловал ее.

Они сидели почти лицом друг к другу, колени их соприкасались. Вилли крепко держал ее за запястье, а другой рукой обнял ее за шею и, играя, трепал ее волосы. Джессика схватила его за отворот пиджака. Они пристально вглядывались друг в друга.

— Вы очень красивы, Джессика, и вы мне напоминаете о моих снах, о тех, где меня обнимали. Простите, что я прикасаюсь к вам. Действительно, желать трогать кого-то — это очень важно, правда? Таким образом, мы, бедные создания из

праха и глины, смотрим друг на друга, трогаем друг друга. Те немногие, кого вы трогаете, должны быть самыми дорогими для вас.

— Пожалуйста, скажите, кто вы, — сказала она. — Вы такой странный. Как ваша фамилия?

— Нет, нет. Будем просто Вилли и Джессика. Мы больше не встретимся.

— Вы не можете так говорить, раз вы поцеловали меня. Вы не можете поцеловать меня и исчезнуть. Я спрошу Джона…

— Если вы спросите Джона обо мне, я расскажу ему, что вы обыскивали его комнату.

— О, а говорили, что собираетесь быть мягким!

— Я мягок, дитя мое. Я просто лепечущий голос, птица на ветке, голос вашего сознания, может быть. И больше нет ничего, разве что маленький бесенок по имени Вилли, жизнь которого мгновенна и нереальна. Если я причиняю вам хоть малейшую боль, встряхните головой и возвращайтесь назад в прекрасный, странный, широкий и непредсказуемый мир.

— Но я должна вас еще увидеть, вы должны помочь мне, вы можете *помочь* мне.

— Любой может помочь вам, Джессика, если вы хотите, чтобы вам помогли. Сейчас есть только вы и я на острове, на приснившемся острове

неожиданного, который будет вспоминаться как сон, только атмосфера и чувства, и никаких подробностей. О, вы так красивы. Можно вас поцеловать еще раз?

Джессика крепко обняла его и закрыла глаза. Она очнулась от звука скидываемых Вилли ботинок. Она скинула свои. Не разрывая губ, они упали на раскиданную постель.

Через некоторое время, когда они лежали, прижавшись сердцем к сердцу, Джессика мягко, не взволнованно, а просто с любопытством спросила:

— Что мы делаем, Вилли, что это?

— Это… это — кощунство, моя Джессика. Очень важный вид человеческой деятельности.

24

Как все настоящие графы Куртеры, Дьюкейн презирал Челси. Только хам может жить в таком месте, сказал он себе, поворачивая на Смит-стрит и проходя мимо ряда кокетливо выкрашенных дверей.

Однако ему было не до шуток. Ему казалось, что Биран в ловушке. Но захлопнется ли она? Биран — сильный человек и не дурак. И сколько бы ни пытался Дьюкейн ошеломить его или просто сблефовать, его будет нелегко сломить, или заставить быть откровенным, или просто по неосторожности выдать себя. Все, что Дьюкейну было известно, легко можно было объяснить так или иначе. И если Биран придумает какие-то объяснения и будет настаивать на них, что останется Дьюкейну делать? Только извиниться и отступить, а извинившись и отступив — что он сможет вообще сделать дальше? Когда Дьюкейн размышлял о том, как мало фактически он знает, он поразился силе своей убежденности в том, что Биран в чем-то виновен. Может быть, это было абсолютным заблуждением? Сегодня будет

игра, подумал он. Но может быть, настало время для игры, раз более разумные методы не давали ничего, кроме интуитивных догадок, варьируясь от подозрения в убийстве до вывода о полной невиновности.

Сейчас было около девяти вечера; плотный, пыльный, тяжелый от жары воздух висел над Лондоном, как полуспущенный воздушный шар, провисающий и душный. Желтый солнечный свет будто устал светить, и тень не приносила освежения. Только в дальнем конце улицы можно было увидеть смутную темную зелень деревьев, намекавших на близость реки. Дьюкейн, слишком нервничавший, чтобы ждать дома, шел от Эрлз-Корта пешком. Он рано поужинал с Вилли, который находился в загадочной эйфории. После ужина Вилли включил радио, и, уходя, Дьюкейн увидел, как тот кружится в гостиной под звуки до-минорного концерта Моцарта. Дьюкейн намеревался застать Бирана врасплох, поэтому, уходя, он набрал его телефонный номер и молча положил трубку, услышав знакомый высокий голос.

Когда Дьюкейн подходил к дому, он почти задыхался от беспокойства и возбуждения и был принужден несколько раз остановиться, чтобы поглубже вдохнуть плотный воздух, казалось

лишенный кислорода. Наконец он остановился в нескольких шагах от дома, встряхнулся, или просто дрожь пробежала по телу, выпрямил спину и стремительно вошел в дверь. Она была открыта.

Дьюкейн замер на ступеньках с рукой, наполовину поднятой к звонку. Он опустил руку. При его взвинченных нервах все, даже самое простое, казалось мрачным предзнаменованием. Чего же он ожидал, в конце концов? Понял ли Биран значение телефонного звонка? Или видел, как он приближается? Дьюкейн стоял и размышлял. Вероятно, дверь открыта случайно. Потом он решил не звонить. Он должен просто войти.

Но когда он осторожно ступил на толстый желтый ковер, то почувствовал себя скорее тем, за кем охотятся, чем охотником. Он быстро и виновато огляделся, почти готовый уйти, остановился, прислушался. Молчание незнакомого дома сгустилось вокруг него. Погрузившись в тишину, он отметил тиканье часов, а потом расслышал и стук своего сердца. Он стоял неподвижно, разглядывая в золотистом вечернем полумраке инкрустированный столик, овальное зеркало, блестящие прутья, придерживающие на лестнице ковер. Другая дверь в дальнем углу была открыта, казалось, там горит свет; он поду-

мал, что это, должно быть, бильярдная. Пытаясь восстановить нормальное дыхание и не идти на цыпочках, Дьюкейн открыл правую дверь. За ней, очевидно, была столовая. Огромное множество бутылок в шератонском буфете. Он отошел назад, вдохнул воздух и дошел до другой двери. Толкнул ее. Она была затемнена почти закрытыми венецианскими ставнями, сквозь которые едва пробивался свет длинными, тонкими, как волосы, линиями. Дьюкейн заморгал в этой почти тьме. Затем он различил стоявшую фигуру в дальнем углу. Фигура была замечательная, она принадлежала Джуди Макграт.

— Хелло, мой сладкий. Разве я не говорила, что мы встретимся опять?

На этот раз удивительным в Джуди Макграт было то, что на ней не было одежды.

Дьюкейн медленно вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Собравшись с силами, он внимательно огляделся. В комнате больше никого не было.

— Добрый вечер, миссис Макграт.

— Вы должны извинить мое дезабилье. Сегодня так жарко!

— Исключительно жарко и душно, — сказал Дьюкейн. Он сел в кресло и уставился на Джуди.

Он мягко произнес: — Елена Троянская.

— Я знала, что вы меня вычислите, мой сладкий, вы такой умный. Хотите сигарету? Или одну из сигар Ричарда?

— Нет, спасибо.

Дьюкейн почувствовал: этот момент выходит за рамки моей привычной жизни, момент, подаренный божеством, может быть, не великим божеством и не добрым, но точно божеством. За всю свою жизнь он никогда не рассматривал обнаженную женщину таким образом.

В позе Джуди сквозила какая-то неловкость. Человеческому телу, даже телу прекрасной женщины, трудно оставаться в полной неподвижности. Она стояла вполоборота к нему, одно колено согнуто, плечо опущено, подбородок вытянут, как будто она смотрит на него через какое-то препятствие. Ее телу как будто недоставало властности, свойственной ее красоте, оно слегка стыдилось того, что обычно не выставляется, и стыд этот внешне не проявляется, он просто бессознательно ощущается. Если даже самой миссис Макграт легко и привычно было ходить обнаженной, то ее тело все-таки слегка стеснялось. Полубессознательно Дьюкейн заметил это и был тронут. Солнечный свет проникал сквозь щели жалюзи

и наполнял комнату плотным пыльным полусветом, теплым золотисто-коричневым воздухом, в центре которого тело Джуди Макграт выпрямилось, чуть передвинулось, похожее на медовый столп, распространяющий лимонный аромат. Теплый свет ласкал ее, узнавал ее, смешивался с нею. Ее черные волосы чуть отдавали коричневым блеском, словно покрытые бронзовой патиной, а тень между ее большими круглыми, слегка обвисшими грудями казалась смутно-коричневой. Глаза Джуди сузились, превратившись в щелки, почти закрылись. Она слегка изогнула тело, показывая изгиб ягодицы, подчеркнутый тонкой дугой рассеянного фосфоресцирующего света.

Дьюкейн глубоко вдохнул и подавил выдох, чтобы не вздохнуть. Он сказал:

— Я пришел сюда поговорить с мистером Бираном, но вы тоже подходите.

— Если вы имеете во мне нужду, мой сладкий, я ваша.

— Почему Рэдичи покончил с собой?

— Я не знаю, мой сладкий. Мистер Рэдичи был странным человеком со странными привычками, ему в голову лезли всякие странные мысли.

— Шантажировать его было вашей идеей или

вашего мужа?

— У меня нет идей, мой сладкий, я — женщина. Посмотрите.

Дьюкейн смотрел, но его голова стала совершенно ясной. Он заметил, что большие темные круги в центре ее грудей напоминают о Файви.

— Расскажите мне о Рэдичи, — сказал Дьюкейн.

— Я могла бы любить вас, мой сладкий. Вы могли бы любить меня.

— Сомневаюсь в этом, Джуди. Расскажите мне о Рэдичи.

— Вы хотите знать, что мы делали в подвалах по ночам?

— В подвалах… — сказал Дьюкейн задумчиво.

— В подвалах вашей конторы.

— Понимаю, — сказал Дьюкейн медленно, стараясь думать как можно быстрее. — Конечно, вы обычно спускались вместе с Рэдичи в подвалы, в бывшее бомбоубежище под офисом…

— Верно, мой сладкий. Я думала, вы знаете. Я думала, вы знаете обо всем.

— Я знаю практически все, — сказал Дьюкейн. — Но я хочу, чтобы вы рассказали мне все остальное. Зачем вы ходили в подвалы?

— В его доме стало неудобно, там все время

были его жена и соседи. Мы обычно производили много шума.

— Хм, — сказал Дьюкейн. — Миссис Рэдичи тоже знала обо всем этом?

— Да. Все было по-честному.

— Она не возражала?

— Я не знаю, — сказала Джуди. Она начала раскачивать свое тело круговыми движениями, осью которых были ее две довольно большие ступни, вцепившиеся в ковер, как птичьи лапы. — Вроде бы нет. Но думаю, она была против.

— Мистер Рэдичи переживал из-за того, что травмирует жену?

— Когда он был со мной, он не переживал, мой сладкий. Никто не переживает в моем обществе.

— Что именно Рэдичи хотел, чтобы вы для него делали? — спросил Дьюкейн. — Я не имею в виду очевидного.

— Для мистера Рэдичи ничего очевидного не было, мой сладкий.

— Ну, очевидно, он предавался с вами любви.

— О нет, ничего подобного. Все было спиритуалистично, если вы понимаете, что я имею в виду. Кроме того, мистер Макграт участвовал в половине наших встреч.

— О, вы принимали участие в магических ри-

туалах?

— В этом я ничего не понимала. Я просто делала, что он говорил, а половину всего происходящего я вообще не видела. У некоторых джентльменов бывают странные идеи. Он не первый.

— Что вы подразумеваете под «спиритуалистично»?

— Это все были одни идеи, только в его голове. Бывают такие. Он никогда меня не трогал, руками по крайней мере.

Слова «руками по крайней мере» произвели на Дьюкейна эффект, который он через секунду осознал как крайнее физическое возбуждение. Он оттолкнул свой стул назад и встал. Джуди Макграт сразу же, дернувшись, как от электрического удара, шагнула к нему, откинув голову. В то же самое время она что-то схватила со стола. Взгляд Дьюкейна опустился ниже, куда до этого он избегал смотреть — где тень была всего темнее.

— Не уходите, — сказала она ласково. — Или возьмите меня с собою. Я вам помогу. Я научу вас кое-чему.

— Оденьтесь, — сказал Дьюкейн.

Что-то возникло в зеленовато-желтом свете между ними и прикоснулось к его запястью, ласково взъерошило волосы, росшие на руке. Это

был тонкий, как кончик карандаша, хлыстик для езды на лошадях, другой конец которого был в руке Джуди.

Дьюкейн отдернул руку и быстро вышел из комнаты. Он пролетел через холл и распахнул дверь, оказавшись в неожиданно ярком свете, заморгал глазами. Стремительно шагая по мостовой, он почти столкнулся с Бираном, который нес бутылку. Они изумленно посмотрели друг на друга, и, прежде чем Дьюкейн торопливо возобновил свой путь, он увидел, что лицо Бирана исказилось от страха.

25

— Почему животные не умеют сморкаться? — спросил Эдвард.

Казалось, никто не знает ответа на этот вопрос и не готов вступить в дискуссию по этому поводу. Пола смотрела на страницу «Энеиды», но видела свое собственное беспокойство, а Дьюкейн был занят составлением и редактированием мысленного интимного фотоальбома Джуди Макграт.

— Дядя Тео просит Минго, — сказала Генриетта, только что вошедшая в кухню. — Джон, вам пришла открытка.

Близнецы вытащили спящего Минго из уютной корзины Монроза и унесли его, придерживая с двух сторон.

Дьюкейн посмотрел на открытку с женщиной в чадре. На другой стороне Кейт писала:

«Дорогой, женщина под чадрой – восхитительное зрелище, но лучше уж восхищаться, чем самой надеть чадру. Место великолепное. Утром видела нескольких собак, занимающихся чем-то очень необычным. Не буду писать подробней в почтовой открытке. Не знала, что у собак бывают пороки. Крепко люблю.

Кейт».

Дьюкейн опять перевернул открытку и сумрачно посмотрел на женщину под чадрой. Он вспомнил, как его самого волновали женщины под чадрой, когда он был в Танжере, и это воспоминание очень неприятным образом смешалось с сильной аурой Джуди, все еще стоявшей перед его глазами. Забавно, что встреча с не прикрытой ничем Джуди почему-то напомнила ему о прячущихся от взоров африканских женщинах. Что-то механическое в нем одинаково реагировало на два совершенно различных зрелища. Я становлюсь отрезанным от мира, как Рэдичи, все непрямо, все — в моем сознании. Потом он задумался, а что выдумываю я? Вопрос не был лишен интереса.

Он снова перевернул открытку и постарался

сконцентрировать свое внимание на Кейт: милая Кейт с нимбом жестких золотых волос, с ее пылкой и любящей натурой. Но Кейт, видимо, ускользала от его внутреннего взора, и то место, которое она занимала в центре его жизни, казалось опустевшим или просто сокрытым. То же самое механическое чувство. Я нуждаюсь в ее присутствии, подумал он. Я становлюсь хуже в ее отсутствие.

Дьюкейн был взволнован не только Джуди, но и тем, что она сказала ему. На первый взгляд открытие, что Рэдичи проводил свои «сеансы» в бывшем бомбоубежище под департаментом, подтверждало правоту людей, обеспокоенных государственной безопасностью. Магия могла быть просто прикрытием, экстравагантным и привлекающим внимание фасадом, за которым скрывались совсем другие ночные занятия. Однако, по зрелом размышлении, Дьюкейн решил, что это не похоже на правду. Если Рэдичи желал всю ночь оставаться в учреждении, ничто не могло помешать ему в этом, но дополнительная уступка фантазиям, включающая присутствие девушек, была рискованной, если у него были другие цели. Нет, решил Дьюкейн, все на самом деле было таким, как кажется. Но каким оно казалось?

Ужасное ощущение механического опять вернулось к нему. Может быть, в этой загадке вообще нет центра, нет ничего, кроме меланхолических сексуальных экспериментов неуравновешенного человека?

Дьюкейн решил, что следующим ходом будет встреча с Макгратом, и пусть он покажет место в подвалах, где Рэдичи занимался тем, чем занимался. Дьюкейн не желал больше лицезреть миссис Макграт, как он и написал мистеру Макграту, приглашая его в департамент на воскресенье. После этого, повинуясь инстинкту убежать, Дьюкейн приказал Файви отвезти его в Дорсет. Он был измучен всем этим делом и сердечно желал бы, чтобы Октавиен и Кейт были здесь. От премьер-министра пришло послание, он просил подтвердить, так ли обстоит дело, как сказал ему Октавиен, а именно, что дело Рэдичи застыло в мертвой точке, и требовал отчета, пускай в нем и не будет выводов. Когда Дьюкейн получил это послание, он понял, как далек был его интерес в этом деле от чисто официального. Он был глубоко вовлечен в него и пытался разгадать ради самого себя. Он чувствовал, как его как будто нарочно тянет вперед упругая нить. Казалось бы, след приводит куда-то, но неожиданно случается что-то и

открывает следующий отрезок пути.

То, что Джуди Макграт была Еленой Троянской и что Макграт, возможно, уже не в первый раз использовал свою жену как приманку для шантажа, пришло в голову Дьюкейну почти сразу. Он не ожидал, что существует звено между Джуди и Бираном, но, когда он так неожиданно узнал о нем, оно показалось ему таким же естественным, как и очевидным. Сначала Дьюкейн сожалел, что вспугнул Бирана и потерял преимущество внезапности, но, скорей всего, Биран был хорошо информирован о ходе расследования благодаря услугам Джуди и ее мужа. Очень вероятно, что Макграт шантажировал и Бирана, хотя, конечно, самым дружеским образом. Во всяком случае, теперь Биран знает, что находится под подозрением, и, поразмыслив, Дьюкейн решил, что это неплохо. Его очень поразило выражение ужаса на лице Бирана, когда они встретились на Смит-стрит. Дьюкейн подумал: *Биран придет ко мне.* И это не было неприятной мыслью.

— Где Барбара? — спросил Дьюкейн у Мэри. — Катается?

— Нет, пони потянула ляжку. Думаю, она у себя.

— Она все еще переживает из-за Монроза?

— Да, ужасно. Вчера она опять плакала. Не могу понять, что случилось с несчастным животным. Коты просто так не исчезают.

— Я слышал, Пирс говорил, что Монроз утонул, — сказал Дьюкейн. — Он не должен говорить такое Барбаре.

— Конечно, не должен, — коротко отозвалась Мэри, помешивая ревень.

— Я, пожалуй, поднимусь к ней. Она не должна вот так сидеть взаперти в такой день, как сегодня. Мы пойдем с ней прогуляемся к Вилли. Хочешь с нами, Пола?

— Нет, спасибо.

Пола бросила на него нервный, озабоченный взгляд. Ее лицо казалось замкнутым и серым — лицо фехтовальщика, смотрящего сквозь частую сетку маски. Дьюкейн с привычным уколом совести подумал: я должен как следует поговорить с Полой, пусть она объяснит, что с ней происходит. Он быстро подумал, с кем первым ему нужно пообщаться — с Полой или Барбарой? Но теперь новый укол совести привел ему на ум Джессику. Нужно будет поскорей увидеться с Джессикой. Эта мысль так смутила и опечалила его, что его сочувствие к Поле сразу уменьшилось. Победило его собственное желание. Барбара может уте-

шить его самого. Он пойдет к Барбаре. Он встал.

— Попытайся привести Вилли к чаю, Джон, — сказала Мэри.

— Я попытаюсь, но вряд ли мне удастся.

Дьюкейн вышел из кухни. Солнце светило через стекла входной двери, обнажая полированные, чуть розовые вмятины на каменном полу холла. Дьюкейн поднял с пола книгу, принадлежавшую Эдварду, — «Естественная история Селборна» — и положил ее на стол. На лужайке перед домом он увидел Кейзи и близнецов, сидящих на тартановой красной подстилке, они лущили горох. Он почувствовал, прикасаясь к столу и задержавшись в этом солнечном, так хорошо знакомом холле, другую боль, трогательную, приятную, понимание невинного мира — мира, который он любил и в котором нуждался, но ускользающего от него. Он подумал: невинность — важна. Это не просто свойство, которое мы теряем. Она магнетически все равно остается в жизни каждого, остается как нечто живое и совершенно не подверженное действию механического и ужасного. Он подумал: бедный Биран. И опять беспокояще странная мысль: Биран придет ко мне. Он начал подниматься по лестнице.

Когда Дьюкейн достиг первой лестничной

клетки, он увидел там Пирса, который вышел откуда-то со стороны кладовых. Пирс, который не заметил Дьюкейна, шел очень осторожно, неся в руках блюдце с чем-то белым. Стараясь не уронить его, он открыл дверь своей спальни и вошел. Дьюкейн наполовину бессознательно воспринял то, что увидел, и наполовину бессознательно стал размышлять над этим. Затем, во внезапном озарении, вернувшем его в настоящее, он понял смысл происходящего. Он остановился, подумал и быстро прошел мимо двери в комнату Барбары. Он дошел до двери Пирса и распахнул ее. Монроз свернулся клубочком на постели Пирса.

— Пирс, ты — мерзкий маленький негодяй.

Пирс, только что поставивший блюдце с молоком на пол, медленно выпрямился и снял очки. Он оттопырил пухлую нижнюю губу и медленно провел рукой по прямому лбу и длинному носу, как бы пытаясь скрыть выражение своего лица. Он ждал.

Дьюкейн поднял Монроза и вышел. Он постучал в дверь Барбары и сразу же вошел. Комната была пустая. Пирс, шедший за Дьюкейном, тоже вошел в комнату. Они встали лицом к лицу.

— Боже, что же ты сделал, какая мерзость! — сказал Дьюкейн. Он вдруг весь задрожал от

ярости. Все беспокойство, тревога, чувство вины — все сфокусировалось в этом примитивном гневе.

— Я не причинил Монрозу никакого вреда, — сказал Пирс медленно.

— Ему нет, а Барбаре? Как ты мог быть таким жестоким?

Дьюкейн опустил Монроза на стол. Проделывая это, он заметил близко от своей руки маленький хлыст для верховой езды с серебряной ручкой, принадлежавший Барбаре. Образ хлыста всплыл в его мозгу и исчез.

— Понимаете, — сказал Пирс прежним объясняющим тоном, — если бы она только пришла ко мне, пришла, как раньше она обычно делала, если бы она не обращалась со мной как с прокаженным, она бы нашла Монроза. Это была такая проверка. — Он положил руку на стол, слегка наклонясь вперед.

— Ты осознанно сделал так, чтобы она мучилась и страдала. И ты любовался этим, — сказал Дьюкейн.

Его рука наткнулась на ручку хлыста и быстрым, но точным движением он поднял хлыст и резко опустил его на тыльную сторону ладони Пирса. Мальчик вздрогнул, но продолжал смот-

реть прямо в глаза Дьюкейну и не убирал руки.

— Что, скажите, ради бога, здесь происходит? — спросила Мэри Клоудир, появившись в дверях.

Пирс медленно повернулся и, не глядя на мать, быстро прошел мимо нее, миновал коридор и свернул в свою комнату.

Мэри колебалась. Потом она вошла в комнату Барбары. Она поняла, что ей надо использовать всю свою душевную силу, чтобы справиться с довольно значительным потрясением от вида того, как Дьюкейн ударяет ее сына. Она не знала, что именно она чувствует. От смятения чувств она молчала.

— Я виноват, — сказал Дьюкейн, явно тоже смущенный. — Простите.

— Почему Монроз…

— Закройте дверь, Мэри.

— Что случилось?

— Видите, подождите. Закройте дверь. Видите ли, Пирс держал Монроза в заточении все это время, пока мы считали его пропавшим.

— О, как ужасно, я… я…

— Да. Боюсь, я вышел из себя. Я не должен был этого делать.

— Я вас не виню. Это было очень нехорошо с его стороны. Пойду приведу Барбару.

— Подождите минуту, Мэри. Пусть Монроз выйдет. Вот так. Сядьте. Простите. Подождите минуту.

Мэри села на кровать и смотрела на Дьюкейна, стоявшего у окна, он нахмурился и все еще держал в руке хлыст. Внезапно он передернул плечами и бросил его на стол, а потом прижал обе руки к глазам.

— Вы расстроены, — сказала Мэри. — О, не надо. Вы думаете, что я сержусь на вас?

— Нет, нет. Я расстроен по другой причине. Я даже не уверен, по какой именно. Я думаю, Пирс возненавидит меня за это.

— Также вероятно, что он полюбит вас за это. У молодых бывает странная психология.

— У *всех* людей странная психология, — сказал Дьюкейн.

Он сел за стол и посмотрел на Мэри. Его круглые голубые глаза, казавшиеся сейчас еще более голубыми на фоне его загорелого костистого лица, смотрели на Мэри, как бы пытаясь разгадать какую-то загадку, и он ритмическим движением отбрасывал влажные пряди со лба. Мэри изучала его. Что с ним происходит?

— Простите, — сказал Дьюкейн, помолчав. — Я переживаю кризис недовольства самим собой и

нуждаюсь в сочувствии. Каждый человек просит сочувствия тогда, когда меньше всего заслуживает его.

Он скучает по Кейт, думала Мэри. Она сказала:

— Я думаю, у вас нет причин быть недовольным собой, Джон. Но дайте мне возможность вам сочувствовать. Расскажите, что случилось.

Голубые глаза Дьюкейна еще больше округлились, что придавало ему встревоженный вид. Он начал говорить, замолчал, заговорил опять:

— Сколько лет Пирсу?

— Пятнадцать.

— Я должен был бы узнать его поближе.

— Надеюсь, так и будет. Но вы не можете заботиться обо всех, Джон.

— Вы считаете, что я забочусь о ком-то?

— Ну да…

— Боже!

— Извините. Я не думала…

— Все в порядке. Он очень закрытый ребенок.

— Он долго жил без отца, так много лет только со мной.

— Сколько ему было лет, когда умер его отец?

— Два.

— Так он едва помнит его?

— Едва.

— Как звали вашего мужа, Мэри?

О боже, подумала Мэри, я не могу с ним говорить об Алистере. Она поняла, что в манере Дьюкейна общаться с людьми было нечто провоцирующее их на полную откровенность, он всем своим существом настойчиво уговаривал человека рассказать о себе все. Она видела это часто, особенно во время ланча. Но с ней он никогда так не говорил. Она думала: я не стану рассказывать ему об этом, я никому об этом не рассказывала и ему не стану. Она сказала:

— Алистер.

Имя появилось в комнате как нечто чужеродное и поплыло в воздухе, вернулось обратно к ней и осталось висеть на уровне ее глаз.

— Чем он занимался? Я не знаю, какая у него была профессия.

— Он был аудитором.

— Пирс похож на него?

— Внешне — да. Хотя Алистер был выше. Не по характеру.

— Что он был за человек?

Я не буду продолжать в этом духе, думала Мэри. Как могла она рассказать, что он был веселый, вечно шутил. Радостный. Так прекрасно пел. Он по натуре был художник. Но неудачник.

— Он писал роман, — сказала она.

— Он был опубликован?

— Нет. Он был неудачный.

Мэри как раз вчера долго читала роман Алистера. Она вытащила огромный перепечатанный на машинке манускрипт с намерением уничтожить его, но не нашла в себе сил сделать это. Он был таким слабым, таким детским, таким, как сам Алистер.

— Он умер молодым, — сказал Дьюкейн мягко. — Он бы потом написал лучше, он мог бы написать лучше.

Мэри допускала, что это правда. Но она этого не чувствовала. Возможно, несправедливо говорить о нем как о неудачнике. Но каким-то образом она чувствовала, что это так и есть.

— Отчего он умер? — спросил Дьюкейн мягким, успокаивающим голосом.

Мэри молчала. Черная стена выросла перед ней. Она надвигалась все ближе и ближе. Мэри вглядывалась в черную пропасть. Она смотрела в нее, вошла в нее. Она сказала почти сомнамбулическим голосом:

— Его переехала машина прямо перед нашим домом. Я видела, как это случилось.

— О, извините! Он сразу… умер?

— Нет. — Она вспомнила его крики, долгое ожидание в госпитале, толпу.

— Извините, Мэри, — сказал Дьюкейн, — я был…

— Это была такая *случайность*, — сказала она. — Иногда я просто схожу с ума, думая об этом. Это было простым стечением обстоятельств. Если бы я сказала другую фразу, когда он выходил из комнаты, если бы он остановился завязать шнурок на ботинке, что-нибудь, о господи, но мы *поссорились*, и я дала ему уйти, не сказала ни слова, если бы я окликнула его, но он расстроенный вышел, и тут машина переехала его. Если бы он умер от болезни или на войне — где-то далеко, — я бы считала это неизбежностью, но я видела, как его совершенно случайно убили прямо на моих глазах. Я не могла вынести этого, я никому не рассказывала о том, как он умер, я сказала Кейт и Поле, что он умер от пневмонии, и то же самое я сказала Пирсу. Пирс в это время спал в комнате наверху. Я любила его, конечно, я любила его, но недостаточно и не так, как следовало бы, с тех пор я не могла даже думать о нем, наверно, из-за этого несчастного случая все так странно и резко закончилось, вся наша жизнь стала казаться такой бессмысленной, и я стала так странно относиться

к нему, как будто он стал жутким призраком, который не дает мне покоя. Я помню, какое ужасное чувство я испытала, разбирая его одежду, как будто он следил за мной, такой грустный, неуспокоившийся, с тех пор у меня было жуткое чувство, что он приходит по ночам и просит любви, а я не могу ее дать. Сейчас я ясно вижу все его недостатки и слабости и совсем не чувствую к нему любви. Ужасно, что люди не могут любить вечно. Я бы должна была продолжать любить его — это все, что я могу теперь для него сделать, и я пыталась, но нельзя любить пустоту, нельзя любить ничто, для которого больше ничего нельзя сделать, и от него не осталось ничего, кроме романа, и это так ужасно и так похоже на него. Если бы это случилось как-то иначе, это было так ужасно и так случайно, он вышел и сразу попал под машину. Знаете, так мало машин проезжало по нашей улице…

— Не плачьте так, Мэри, — сказал Дьюкейн. Он сел рядом с ней на кровать и положил руку ей на плечо. — Случайность труднее вынести, чем мысль о смерти, но все случайно, моя дорогая, даже то, что кажется совершенно неизбежным. Это нелегко, но нужно принять это, принять собственные потери и собственное прошлое. Не

пытайтесь вспомнить его. Просто любите его. Возможно, вы так и не узнали его по-настоящему. Теперь загадка его жизни от вас не зависит. Уважайте ее, не пытайтесь достичь большего. Любовь не всегда делает свою работу. Иногда лучше просто всматриваться в темноту. Всматривайтесь и не бойтесь. Там нет демонов.

— Слова, Джон, — сказала Мэри, — слова, слова, слова. — Но она позволила ему успокоить себя, и она чувствовала, что теперь плакала действительно по Алистеру, что она оплакивала его.

26

— Осторожней, сэр, здесь ступеньки. Тут довольно скользко. Лучше возьмите меня за руку.

Медленно двигающийся круг света от фонарика осветил короткий лестничный марш, покрытый влажной сырой плесенью. Посредине был виден след чьих-то ног, а по бокам свисали черные нити. Дальше бетонный скат уходил в темноту.

Дьюкейн держался за холодную кирпичную стену, прижимая к ней суставы пальцев. Они медленно спускались по бетону.

— Вы сказали, что мистер Рэдичи приказал вам перерезать электрический кабель на потолке, где выход из бомбоубежища?

— Верно, сэр, мистер Рэдичи любил, чтобы все происходило при свете свечей. Наверно, он думал, что так и безопасней будет, в случае если кто вдруг заглянет.

— Дверь, через которую мы только что прошли, была обычно заперта?

— Да, сэр. Ключ был у мистера Рэдичи, и мне он дал ключ.

— Вы когда-нибудь ходили сюда без него?

— Я и с ним-то почти никогда не приходил сюда, сэр. Я только все подготавливал для него и убирал. Он не хотел, чтобы я присутствовал при том, что здесь происходило.

— Вперед, идите. Не загораживайте проход.

— С вами все в порядке, сэр?

— Конечно, все в порядке. Идите.

Неверный свет фонаря еле высвечивал узкий коридор с краснокирпичными стенами, ведущий вниз, конец его пропадал во мраке. Несколько черных труб в углу под потолком покрылись сетью паутины, они шли куда-то вниз. Ощущение было, как при входе в древнюю гробницу, трудно было поверить, что коридоры государственного департамента находятся в нескольких минутах ходьбы отсюда.

— Вы заперли дверь за нами? — спросил Дьюкейн.

Он сам удивился, что говорит вполголоса. Бетонный пол был немного липким, и шаги по нему издавали легкий чмокающий звук. Очень тихий, едва различимый гул шел со стороны черных труб.

— Да, сэр. Надеюсь, я правильно сделал? Я подумал: нам тут не должны мешать, сэр. Как во время сеансов мистера Рэдичи.

— Хорошо, только не потеряйте ключ.

— Хорошее будет дело! Никто не подходит близко к этой двери. Мы тогда навсегда останемся здесь, никто и не узнает.

— Вперед, вперед. Уже близко?

— Близко. Не сюда, сэр. Прямо.

Справа по коридору показалась черная дверь.

— Куда она ведет?

— Кто ж его знает. Я не знаю. Я там не осматривал ничего. Не очень-то приятное местечко, особенно когда ты здесь один. Я спускался в комнату и как можно быстрей уходил оттуда. Вы не нервничаете, сэр?

— Разумеется, нет. Не размахивайте фонарем, опустите его.

Форма коридора и острый угол спуска напомнили Дьюкейну о царских гробницах, которые он посещал в Греции и Египте. Надо было взять еще один фонарь. Потом он подумал: нужно было сказать кому-нибудь, что я спущусь сюда. Нечего было заботиться о секретности. Я не понимал, что это такое. А если мы потеряем ключ? А если заблудимся, если потеряем друг друга? Эти коридоры уже не ведут в бомбоубежище, мы его оставили позади, сейчас мы на более низком уровне. Здесь больше похоже на заброшенный участок подзем-

ки или на что-то связанное с канализацией.

— Здесь крутой спуск опять, сэр, и ступеньки, будьте внимательней! Нет, не прямо, теперь сюда. Идите за мной. Теперь коридор налево. Держитесь поближе.

— Вы, наверно, здесь крыс встречали? — Дьюкейн испытывал ужас перед крысами. Он сейчас шел по пятам Макграта, не касаясь его.

— Однажды я видел одну — здоровую, жирную. Мистер Рэдичи видел их несколько раз. Он однажды попросил достать несколько жестянок из-под печенья, чтобы держать там разные мелочи. Он боялся, что крысы могут съесть их. Теперь налево, сэр.

— Вы уверены, что знаете, куда идти?

— Абсолютно уверен. Немного жутко, да? Совсем как катакомбы, думаю. Вот мы и пришли. Будьте любезны, подержите фонарь, а я достану другой ключ.

Они подошли к закрытой двери. Дьюкейн крепко схватил фонарь. Кажется, батарейка садится, свет заметно слабеет. Он передвинул фонарь, осветивший черную, плотно закрытую, красиво выкрашенную дверь и красно-золотую голову Макграта, склонившуюся над замочной скважиной. Волосы Макграта сверкали, как раскаленная

проволока, освещенные с близкого расстояния. Дверь беззвучно открылась.

— Вот так. Дайте-ка мне фонарь, сэр.

— Я сам его буду держать, — ответил Дьюкейн.

Макграт прошел через дверной проем, и Дьюкейн, осторожно ступая, двинулся за ним. Запах там стоял неприятный.

— Ну вот мы и пришли, сэр, в святая святых.

Дверь захлопнулась за ними.

Дьюкейн начал вращать фонарь, надеясь рассмотреть комнату. Но прежде всего опять высветил волосы Макграта. И опять Дьюкейн был поражен яркостью их цвета. Светлые голубые глаза смотрели в себя. Наступило мгновение тишины. Затем Дьюкейн стал исследовать комнату. Странная идея пришла ему в голову: этот человек мог бы убить меня тут, и никто никогда бы не узнал. Он не поворачивался спиной к Макграту.

Комната представляла собой простой пятнадцатифутовый куб с бетонным полом. Одна стена когда-то была оклеена сероватой бумагой, остальные стены и потолок были из красного кирпича. Трио черных труб свилось в углу потолка и уходило в стену. Дьюкейна впечатлил вид столов на козлах и стульев, и памятью тела он вспомнил военную пору, припомнил блиндажи и комнаты

охраны. Он почувствовал уверенность в том, что эта странная комната каким-то образом была связана с войной, что-то в ней было тайное, забытое и ушедшее, казалось, навсегда.

— Может быть, зажечь свечи, сэр? Вы тогда лучше все сможете рассмотреть. И фонарик сэкономим. Я боюсь, он долго не протянет.

Макграт открыл стоявший в углу железный ящик. Чиркнула спичка. Пламя свечи осветило волосы, и бумажно-бледную щеку Макграта, и серебро подсвечника, на котором стояла свеча. Дьюкейн невольно воскликнул от удивления.

— Очень мило, правда, сэр? У мистера Рэдичи много чего хорошего здесь хранилось. Я вам покажу. Можете уже выключить фонарь.

Четыре свечи на одинаковых подсвечниках горели теперь на козлах в углу. Дьюкейн подошел, чтобы полюбоваться подсвечниками. Каждый из них возвышался на подставке из четырех шаров, поддерживаемых лапой дракона, на основании были выгравированы летящие драконы.

— Красиво, правда? — спросил Макграт. — Китайские, мистер Рэдичи сказал. А посмотрите-ка на это.

Он достал из ящика и высоко поднял серебряный кубок, отделанный большими алмазами,

— по крайней мере, они казались таковыми. Дьюкейн взял кубок у него из рук и осмотрел. Свет был очень слабым, и он слишком мало знал о драгоценных камнях, чтобы быть уверенным, что они настоящие. Но они производили впечатление богатства и, каким-то образом, варварства.

— Выпейте, сэр, — сказал Макграт.

Пока Дьюкейн держал кубок, Макграт вдруг плеснул туда вино из бутылки, которая внезапно обнаружилась. Дьюкейн торопливо поставил кубок на стол.

— Оно очень хорошее. Совсем не выдохлось. Могли бы устроить здесь маленький пир. Зачем нам умирать с голоду. Смотрите, здесь такой странный хлеб, и грецкие орехи, мистер Рэдичи имел пристрастие к грецким орехам.

Макграт вынимал из жестянок их содержимое и клал на стол. Дьюкейн увидел ломтики влажного черного хлеба и орехи, их вздувшаяся венами поверхность слегка позеленела от плесени. Черный хлеб — для черной мессы; и Дьюкейн вспомнил, что грецкие орехи считались магическими, потому что их ядра похожи на лобные доли мозга.

Макграт расколол орехи серебряными щипцами.

— Вот, сэр, возьмите половинку. Они внутри совсем не испортились.

Дьюкейн почувствовал, как он прижал к его ладони сморщенный кусочек ореха. Он отпрянул. Он не должен делиться орехами с Макгратом. Это тоже означало нечто, он не помнил, что именно.

— Покажите мне здесь что нужно, и давайте вернемся.

— Да тут и смотреть особенно не на что, сэр, — сказал Макграт, жуя орех. — Это происходило там, где ставили свечи. Я покажу вам.

Макграт поставил свечи в ряд на конце другого стола на козлах, который стоял у белой стены.

— Вот тут девушки лежали, — сказал Макграт тихим, благоговейным голосом.

Макграт вернулся к прежнему, стоявшему в темноте, столу и стал класть на матрас разные вещи. Первыми появились хорошо закупоренные стеклянные банки с наклейками, какие можно встретить на каждой кухне. Дьюкейн взглянул на этикетки: мак, иссоп, хеллебора, конопля, подсолнечник, паслен, белладонна. Черный хлеб и грецкие орехи поместились рядом. За ними последовали: большая пачка столовой соли, маленький серебряный колокольчик, Библия, потрепанный католический молитвенник,

несколько благовонных палочек, продолговатый кусок серебра на подставке, с поперечиной у основания и маленький черный хлыст. Колокольчик слегка звякнул — бледная, покрытая рыжими волосами рука Макграта прикоснулась к нему.

Макграт поставил кусок серебра в центр стола, за матрасом. Дьюкейн подумал: конечно, крест тау, перевернутый крест.

— Это для пяти чувств, как однажды объяснил мне мистер Рэдичи. Соль — для вкуса, пламя — для зрения, колокольчик — для слуха, благовоние — для обоняния, а *это* — для прикосновения.

Макграт положил хлыст перед крестом.

Дьюкейн содрогнулся.

— И еще есть это, — продолжал Макграт.

Пламя свечей заколебалось от движения воздуха, и Дьюкейн отвлек свое внимание от хлыста.

Макграт, увеличившись в два раза, не то танцевал, не то боролся с чем-то, его руки поднялись над головой, бросая огромную бесформенную тень на кирпичную стену. Потом с тяжелым шлепком одеяние было накинуто, и Макграт, улыбаясь, продемонстрировал его. На нем была широкая риза из желтого шелка, вышитого черными верхушками елей. Он кокетливо закружился. Рукава и обшлага брюк, не закрытых

великолепной рясой, производили впечатление вульгарности. Одеяние было слишком велико для него. Рэдичи был крупный мужчина.

— А это все венчает, видите. — Макграт показал твердый расшитый головной убор, похожий на митру, и собирался нахлобучить его на себя.

Дьюкейн быстро выхватил его из рук Макграта.

— Снимите это все.

— Роскошно, правда?

— Снимите.

Довольно неохотно Макграт выпутался из рясы. Когда он поднял ее над головой, он сказал:

— Как вы думаете, сэр, можно мне взять что-нибудь из этих вещей?

— Нет, конечно нет! — сказал Дьюкейн. — Эти вещи — собственность наследников мистера Рэдичи. Полиция займется этим. Отойдите. Я хочу осмотреться.

Он взял одну из свечей.

— Какой ужасный запах!

— Думаю, это птицы.

— Птицы?

— Да, — ответил Макграт. — Бедные голуби. Взгляните.

Он указал в темноту под столом в другой сто-

роне комнаты.

Дьюкейн передвинул свечу и увидел что-то под столом, напоминавшее большую клетку. Это действительно была примитивная клетка, сделанная из упаковочного ящика и проволоки. В клетке Дьюкейн, нагнувшись, увидел распростертое серое крыло. Затем он увидел лоснящиеся голубые и серые комки, сваленные в углу. Перья были еще блестящими.

— Все умерли, конечно, — сказал Макграт с некоторым удовлетворением. — Мистеру Рэдичи они нужны были живыми. — Макграт потрогал клетку почти ласкающим жестом. Его запястье в золотых завитках сильно вытянулось из рукава.

— Вы имеете в виду…

— Он обычно убивал их по ходу церемонии. Кровь по всей комнате. Ужасно. Мне всегда нужно было много времени потом, чтобы вычистить все после, когда все кончалось. Он очень следил за чистотой, видите ли.

— Где вы их брали?

— Ловил на Трафальгарской площади. Нет ничего легче, если прийти пораньше. Немного трудней зимой. Но я обычно ловил их в туманный день и уносил под курткой.

— И потом держали здесь?

— Некоторых дома, других здесь, пока они были нужны. Я кормил их, конечно; казалось, они спят почти все время. Слишком мало света, я думаю. Этих я поместил туда как раз в тот день, когда мистер Рэдичи умер.

Дьюкейн отвернулся от мягкой кучки тел в клетке.

— И вам не приходило в голову спуститься за ними и выпустить?

Макграт казался удивленным.

— Господи, нет. Я об этом не подумал. Я старался не спускаться сюда лишний раз. И когда бедный мистер Рэдичи умер, я не собирался забивать себе голову голубями.

Дьюкейн вздрогнул. Подсвечник теперь казался ему тяжелым. Он качнулся, и горячий расплавленный воск капнул на его запястье и на рукав пальто. Он внезапно почувствовал слабость, и ему вдруг пришло в голову, что с тех пор, как он вошел в эту комнату, он ощущал слабость и сонливость. Он захотел убрать все с матраса и лечь. Он задумался в первый раз: как вентилировалась эта комната? Там было слишком мало воздуха для дыхания. Он глубоко, судорожно вздохнул, от запаха у него запершило в горле, и он закашлялся.

— Мерзкий запах, да? — сказал Макграт, ко-

торый все еще стоял на коленях у клетки и наблюдал за ним. — Но это не только от птиц, знаете. Это — *от него.*

— От него?

— Мистер Р., от него исходил жуткий запах. Вы никогда не замечали?

Дьюкейн действительно замечал, что от Рэдичи плохо пахло. Однажды он слышал, как клерки в офисе зубоскалят по этому поводу.

— Ладно, если мы все посмотрели, нам лучше уйти, — сказал Дьюкейн.

Он вернулся к алтарю. Золотая ряса с черным рисунком, изображавшим верхушки елей, валялась на матрасе. Дьюкейн заметил сейчас, когда свеча близко освещала ее, что она была потрепана и грязна, вдоль каймы с одной стороны расплылось неправильной формы коричневое пятно.

— Есть что-нибудь еще?

— Вы многое увидели. Больше в этой комнате ничего интересного нет. Вот только эти жестянки, в них больше ничего нет, кроме спичек и сигарет мистера Р., благослови его Господь! Под столом — ничего, кроме старых голубей. Но вы поищите сами, сэр, поищите сами.

Дьюкейн обошел комнату со свечой и потом

повернулся лицом к Макграту, который стоял спиной к тау-кресту и внимательно наблюдал за Дьюкейном. Дьюкейн увидел, что Макграт подобрал хлыст и сейчас теребил его тонкий болтавшийся кончик пальцем левой руки. Голубые глаза Макграта были пусты.

Мерзость всего этого, думал Дьюкейн, вот что ставит в тупик. Это зло — мерзко, это что-то маленькое и запертое, прах, осыпающийся с паутины, пятно крови на одежде, кучка мертвых птиц в упаковочном ящике. Что бы ни было то, что так увлекало Рэдичи и чем он занимался, то, что окружало его, висело над ним — этот запах разложения не имел силы и величия. Здесь присутствовали одни маленькие силы, грязные, не имеющие благодати. Если самого зла недостаточно, чтобы человек был проклят, то одна эта чернота могла уничтожить его душу. Оно во мне, думал Дьюкейн, продолжая смотреть сквозь пустоту голубых глаз Макграта, тоже уставившегося на него. Зло — во мне. Существуют демоны и силы вне нас, Рэдичи играл с ними, но это карликовое зло. Великое зло, реальное зло внутри меня. Это я — Люцифер. При этой мысли темнота внутри него всколыхнулась подобно свежему воздуху. Чувствовал ли и Рэдичи этот разлив черного бла-

гословения, когда он стоял перед перевернутым крестом и ставил кубок на живот обнаженной девушки?

— В чем дело, сэр?

— Ничего, — ответил Дьюкейн. Он поставил свечу на ближайший стол. — Я чувствую себя немного странно. Нехватка воздуха.

— Присядьте на минуту, сэр. Вот стул.

— Нет, нет. Что означают эти странные знаки на стене за вами?

— Да так, ничего особенного. Солдаты, наверно.

Дьюкейн перегнулся через матрас и уставился в белую стену. Это была стена из беленого кирпича, и она казалась оклеенной бумагой, потому что была вся плотно покрыта граффити — от потолка до пола. Обычные послания и заметки, около которых были поставлены даты — все военного времени. Мужской половой орган был широко представлен в разнообразном контексте. Разукрашенная стена позади креста неожиданно создала дружескую и человеческую, почти добрую атмосферу.

Некоторые записи показались Дьюкейну более близкими по времени — они были начертаны голубым фломастером. Они были написаны поверх

солдатских надписей. Там были аккуратно начертанные гексаграммы и пентаграммы. Подальше маленькой аккуратной рукой Рэдичи было начертано «Асмодей, Астарот» и под этим — изречение: «Делай что хочешь — вот суть закона». Прямо над крестом виднелся большой голубой квадрат; передвигая свечу, Дьюкейн заметил, что в него вписаны заглавные буквы. В таком порядке:

O Y P A T E A
H R O T A S R
C O P E R A D
E T E N E T O
E A R E P O M
D S A T O R I
O A R S U N A

— Что это значит?

— Господи, сэр, я не знаю. Это какой-то забавный иностранный язык. Мистер Рэдичи однажды написал это. Он предупредил, чтобы я случайно не стер эту надпись, когда прибираю.

Дьюкейн вытащил записную книжку и скопировал буквы в квадрате на последнюю страничку.

— Пойдемте, — сказал он Макграту.

— Одну минутку, сэр, — ответил Макграт.

Они стояли, склонясь над столом на козлах, на котором был помещен крест. Освещенный сзади свечами, крест отбрасывал им на руки причудливые тени. Макграт цеплялся за край стола левой рукой, а Дьюкейн — правой. Макграт держал хлыст в правой руке, опустив его к ноге. Дьюкейн перегнулся через стол и очень осторожно, почти ласково взял хлыст у Макграта и, крутанув, бросил его на матрас. Когда его пальцы прикоснулись к руке Макграта, он очень ясно увидел лицо и плечи Макграта, как будто бы вписанные в светлый овал, — золотые волосы, узкое бледное лицо, ясные голубые глаза. Это зрелище показалось ему новым. Дьюкейн подумал: я впервые осознал, что он молод, нет, нет, я впервые понял, что он красив. Его рука на столе напряглась, оцарапав столешницу ногтями.

— Не будем ссориться, сэр, верно?

— Мы и не ссорились, — сказал Дьюкейн, помолчав. Он медленно шагнул назад.

— Да. Ведь у нас есть наш маленький уговор. Вы были достаточно добры и помогли мне небольшой суммой денег, если помните, сэр. Я вынудил вас это сделать с помощью писем молодых дам. Я буду вам очень благодарен, сэр, если мы сейчас поставим это дело на постоянные рельсы и за-

будем о нем навсегда, ладно? Вы мне нравитесь, сэр, я этого не скрываю, я хочу, чтобы мы были друзьями, мистер Рэдичи и я — мы были друзьями, и мы с вами могли бы ими быть тоже, мистер Дьюкейн, сэр, и я этого очень хочу. Я бы мог быть вам очень полезен, сэр, я полезный человек, мастер на все руки, можно сказать, и мистер Рэдичи считал, что я очень полезен. Я бы хотел служить вам, сэр, и это желание идет прямо из сердца. Но, я думаю, для нас обоих было бы лучше, если бы мы договорились о разных мелочах. Четыре фунта в неделю, сэр, это же немного, сэр, для вас, я не хочу вас тревожить слишком часто. Лучше выплачивать регулярно — вы могли бы подписать чек на мое имя. Я всегда думал, что это проще всего…

— Чек, — сказал Дьюкейн, глядя на бледного Макграта, трясущего перед ним листом бумаги. Потом он начал вздрагивать от смеха. Одна из свечей погасла. — Чек? Нет, нет, Макграт, так у вас ничего не выйдет, я боюсь. Вы мерзкий мошенник, но я не полный идиот. Я заплатил вам немного, потому что нуждался в вашей помощи в расследовании. Теперь, когда вы сделали все, что могли, для меня, я вам не дам больше ни пенни.

— В таком случае, сэр, я буду вынужден связаться с обеими молодыми дамами. Вы понимаете

это?

— Вы можете делать что хотите, — сказал Дьюкейн, — а я с вами покончил. Полиция вызовет вас, чтобы забрать все отсюда, и вас попросят сделать заявление. Мне больше не придется иметь с вами дело, Макграт, слава богу. И я больше не хочу ни видеть, ни слышать вас. Теперь мы возвращаемся.

— Но, сэр, сэр…

— Довольно, Макграт. Дайте мне фонарь, ладно? Показывайте путь. Идите быстрее.

Последние свечи угасали. Черная дверь открылась и впустила темный, более свежий воздух похожего на гробницу коридора. Макграт растаял в дверном проеме. Дьюкейн двинулся за ним, держа фонарь так, чтобы освещать каблуки Макграта. Когда они начали подниматься по скату, он почувствовал странный привкус на языке. Он осознал, что в какое-то мгновение, должно быть в рассеянности, положил орех в рот и съел его.

27

Дорогой Джон, прости за то, что пишу тебе. Я просто не могу не писать. Я просто не могу не делать чего-то такого, что действительно связывает меня с тобой, не только мысленно, и это все, что я могу. Спасибо большое за твою милую открытку. Я осмеливаюсь мечтать о том, что через неделю мы увидимся. Но еще так долго ждать! И я подумала, что, возможно, ты будешь рад услышать, что я постоянно думаю о тебе. Это неправильно? Я так счастлива от мысли, что значу для тебя что-то. Ведь значу, правда? Я имею в виду, ты позволяешь мне любить тебя, правда? И это все, чего я хочу. По крайней мере, если это не все, чего я хочу, то все – чего прошу, Джон, и этого достаточно. Я могу быть счастливой, просто думая о тебе, просто видя тебя иногда, когда ты не очень занят. Любовь – такое замечательное занятие, и я начинаю думать, Джон, что преуспе-

ваю в нем! Будь здоров, мой любимый, и не перетруждайся на работе, и если тебя подкрепляет мысль, что Джессика постоянно с любовью думает о тебе, то знай, что это так и есть. Будь уверен в этом.

Твоя, твоя, твоя Джессика

P. S. Интересно, понимаешь ли ты меня, когда я говорю о сознании вины? И понимаешь ли, что мне стало намного легче после получения твоей открытки – когда я узнала, что с тобой все в порядке? Ты – человек, который умеет прощать, и за это тоже я боготворю тебя. (Если все это для тебя китайская грамота, я скоро объясню тебе все.)

Джон, мой дорогой.

Я чувствую себя несчастной и должна написать тебе, и, хотя я знаю, тебе не нравится, когда я говорю, что люблю тебя, это всегда раздражает тебя, я все равно пишу тебе и говорю об этом, потому что я живу в аду, на самом деле. Я знаю, что люди обычно отворачива-

ются от неприятных вещей, и у меня нет сомнений, что ты как можно реже вспоминаешь о проблеме – Как Быть С Джессикой, *но проблема остается, и я настойчиво предлагаю ее твоему вниманию, ведь ты единственный, кто может помочь мне. Я могла бы сказать, что ты человек, который должен помочь мне, раз уж ты несешь ответственность за то, что разбудил во мне такую чудовищную любовь. Конечно, я никогда не исцелюсь от нее. Но ты должен хоть немного помочь мне жить с этим чувством.*

Я предполагаю, что ты знаешь, если направишь свое воображение в мою сторону, все обо мне, о том, как я жду с каждой почтой твоего письма. Это идиотизм, но я жду, я не могу не ждать, это физическая потребность. Я выбегаю на улицу, едва завидев почтальона. А когда, как правило, ничего нет – для меня это что-то вроде ампутации. Попробуй подумать об этом, Джон, хотя бы две секунды. Иногда я по неделям не получаю от тебя весточки. А потом ты присылаешь открытку с предложением встретиться через де-

сять дней. Это не очень-то хорошо, мой милый. Действительно ли ты так занят, что не сможешь повидаться со мной хотя бы полчаса на следующей неделе? Я веду себя очень хорошо теперь – ты научил меня, и я должна! Может быть, выпьем как-нибудь вечером? Или в любое другое время? Почему ты не позвонишь мне? Я почти все время дома.

Если бы я увиделась с тобой, это принесло бы мне значительное облегчение – именно сейчас, а почему – я не знаю. Я не могу не волноваться, не сердишься ли ты на меня, особенно после получения открытки. Если ты считаешь, что я в чем-то виновата, прости меня. Потому что иначе я умру. Джон, пожалуйста, давай увидимся на той неделе.

Джессика

Джон, ты, наверно, знаешь, что я переспала с одним человеком на прошлой неделе. Я полагаю, что ты, возможно, знаешь об этом, и либо ты зол на меня, либо презираешь меня совершенно. Я не смогла правильно истолковать твою от-

крытку. Ты написал ее таким странным тоном. Что ты думаешь обо мне? Я не говорю «прости», поскольку я не чувствую раскаяния. Ты так ясно дал понять, что я не нужна тебе или нужна целиком на твоих условиях. Предполагается, что буду любить тебя, но не доставлять тебе огорчений. Что ж, иногда я их все-таки причиняю. Со мной тоже иногда что-то происходит. Однако я чувствую благодарность за то, что, по крайней мере, ты всегда был полностью правдивым со мной, – и теперь я тоже полностью правдива по отношению к тебе. К несчастью для нас обоих, правда состоит в том, что я люблю тебя, и только тебя – открыто и навсегда и до безумия. Ты должен смириться с этим. Пожалуйста, приходи завтра. Я позвоню тебе на работу.

Д.

Джессика Берд ходила взад-вперед по комнате некоторое время. Три письма, на сочинение которых она потратила всю предыдущую ночь, лежали на столе. Какое письмо лучше отправить? Какое было искренним? Она была искренней во

всех трех. Какое будет наиболее действенным? Она знала в сердце своем, что ни одно из трех не будет действенным. Любое из них раздражит Джона и ожесточит его сердце против нее. Он не придет к ней завтра. Может быть, он придет на полчаса на следующей неделе, а потом отложит свидание, предложенное в открытке. Непохоже было, что он сердится на нее, просто она надоела ему, и что бы она ни сделала — любая претензия на его внимание только еще больше раздражит его. Возможно, самый печальный опыт при кончине любви — то, чего не может представить воображение: признать, что тот, кто прежде любил тебя, теперь относится к тебе как к чему-то надоевшему, раздражающему и неважному. Открытая ненависть гораздо предпочтительней. Конечно, она была очень несправедлива к Джону. Джон был совестливым человеком, без сомнения заботящимся о ее благополучии, и поэтому он отложил в открытке их свидание так надолго из чувства долга, заботясь о ней, чтобы она исцелилась. Но таким путем вряд ли этого добьешься. И, увы, лекарства от ее болезни не было.

Для Джессики было даже облегчением почувствовать простую и конкретную ревность. Красивая женщина, вошедшая в его дом, была

несомненной реальностью, чем-то новым, поводом для новых мыслей и для обновления любви; радость любви живет даже и в сильном страдании, и что-то исцеляющее и даже радостное таилось в этой обновленной ревнивой любви. Однако период ревнивой любви хотя и не прошел целиком, но претерпел изменения. Джессика среди всех своих занятий постоянно думала о том, почему же все-таки она потерпела неудачу в своих поисках в комнате Джона: ни булавки, ни запаха духов, ни косметики, ни противозачаточных средств — ничего. Если бы даже Джон считал ее достаточно дерзкой и изобретательной, способной пробраться в его дом, он и тогда не мог бы придать своей комнате такой невинный вид. Джессика была особенно поражена отсутствием намека на духи. Женщина, выглядящая так, как та, которую она видела, не может не душиться. Удивительно, что все-таки запаха не было. И все же как ни крути, а женщина была, и Джессика погружалась бы в бесконечные размышления о ней, если бы она не была охвачена ужасным волнением по поводу того, как необыкновенно закончился ее визит в дом Дьюкейна.

Маленький человек, Вилли, рассказал ей то, о чем не рассказывал Джону; но могла ли она

верить ему? Разве люди рассказывают другим о таких вещах? Конечно рассказывают. Это было бы только проявлением человечности, если бы Вилли рассказал ей то, о чем и не помышлял рассказывать. Как отнесется к этому Джон, как он отнесся к этому? Что означала эта открытка? Что ей теперь делать? Нужно ли исповедаться перед ним? А вдруг он не знает? Или исповедаться, рискуя, что он уже все знает? Разозлится ли он, или — о, ревнивая мысль — он хочет от нее отделаться? Может быть, эта отсрочка встречи нужна для того, чтобы окончательно порвать с ней? Он вскармливает свой гнев, унижает ее отдалением от себя, а потом скажет ей, что эта встреча будет последней? Или он обо всем знает и вполне равнодушен к случившемуся? А вдруг он не знает и чувствует благодарность за ее преданную любовь, принял ее и спокойно осознал, что так будет всегда? Джессика стояла перед окном, но не смотрела в него. Если бы даже стекло было непрозрачным, это ничего не меняло. У нее самой перед глазами как будто висела черная вуаль, мешавшая видеть машины, дома, кошек, прохожих. Ее мысли и образы заключили ее мозг в сферу борьбы сил, которые буквально превратили весь мир для нее в невидимый. Единственный выход

из постоянных размышлений — это ее фантазия, но она не очень позволяла себе предаваться ей. Джон не знал своего сердца на самом деле. Он был безнадежным пуританином, который не мог завести романа, не терзаясь при этом чувством вины. Он все разрушил, потому что чувствует себя виноватым, если счастлив. Но он постепенно поймет, что жизнь без Джессики — пуста. Он делал сознательные усилия, чтобы превратить их любовь в дружбу, но не мог перестать думать о ней. Однажды он поймет, что не может перестать любить ее, и тогда ему в голову придет мысль о том, что для того, чтобы чувство вины исчезло, нужно жениться. Тогда он напишет ей длинное письмо в своем педантичном официальном стиле, полное подробных объяснений его нового образа мыслей, он спросит ее, готова ли она стать его женой, несмотря на всю боль, которую он ей причинил.

Джессика немало мыслей посвящала и Вилли. Любое приключение приветствуется теми, кто несчастлив в любви, а Вилли, несомненно, был приключением. Какое-то время, еще до того, как ее собственные мысли и странная открытка от Джона испугали ее, она даже испытала некоторый восторг от этой встречи. Это была

таинственная кощунственная радость неверности. Но она все-таки заметила Вилли, хотя и не поняла этого, она наконец увидела нечто в этом мире, кроме Джона Дьюкейна, и это принесло ей пользу. Вилли заинтересовал и тронул ее, и, прежде чем старая тирания любви опять захватила ее бедное неисцелимое сердце, она даже испытывала некоторое желание увидеть его опять. Он так и не сказал ей своей фамилии и чем он занимался. Но теперь любопытство, бывшее в ней искрой добра, опять полностью исчезло под влиянием ее чувства вины и нерешительности перед Джоном.

Джессика посмотрела на себя в большое зеркало, висевшее в углу комнаты. Она не могла понять, красива она или нет. Ее лицо ничего не значило, если Джон не смотрел на нее, ее тело теряло всякий смысл, если его не трогал Джон. Но что он видит, что он трогает? Мысль, что он может ее видеть так же отчетливо, как она сейчас видит себя, ужаснула ее. Возможно, он смотрит теперь на нее со скрытым отвращением, замечая усики над верхней губой и расширенные поры на носу. Следуя моде, она укоротила юбку, и ее длинные ноги теперь были видны гораздо выше колена, обтянутые кружевными чулками цвета

сливок. Но нравятся ли ему ее длинные ноги, как прежде? А может быть, его раздражает чересчур молодежный стиль ее одежды? А может быть, он заметил ее чересчур большие колени? Джессика движением руки откинула назад длинную копну русых волос и приблизила лицо к зеркалу. Сомнений не было: она начинает стареть.

Она опять принялась расхаживать по комнате и размышлять о трех письмах, лежащих на столе. Комната была пустой, гулкой и белой. Она уничтожила все свои объекты и не имела охоты создавать новые. Так как занятия в школе закончились, Джессика могла теперь посвящать целые дни хождению по комнате и мыслям о Джоне Дьюкейне. Она не осмеливалась выйти из дому — а вдруг он позвонит?

За дверью что-то стукнуло, и Джессика бросилась открывать. Почта. Она кинулась, прыгая через три ступеньки, к письмам, лежавшим на коврике… Она жаждала толстого письма от Джона, но и боялась его. Оно могло содержать длинное и осторожное объяснение того, почему он решил больше не встречаться с нею совсем.

Письма от Джона не было. Особенная боль, которую она для себя определила как своего рода ампутацию, пронзила ее. Это не было похоже на

ампутацию. Это больше похоже на то, как если бы ее вздергивали на дыбу. Она чувствовала себя вывихнутой — от головы до пят. Она положила конверты на стол. Только одно письмо было к ней — в коричневом конверте, надписанное неизвестной и неумелой рукой. Она поднялась по ступенькам, и слезы медленно потекли по щекам — такие же усталые и разочарованные. Она бы хотела, чтобы почта не приходила три раза в день.

Она бросила коричневый конверт на стол. Послать ли все-таки одно из трех писем Джону? Она должна увидеть его как можно скорее. Муки при мысли о том, знает ли он и что чувствует, причиняли ей физическую боль. Какой-нибудь орган внутри лопнет, сердце разорвется, если она вскоре не увидится с ним. Осмелится ли она позвонить ему на работу? Он просил никогда не делать этого. Но в последний раз, когда она звонила ему домой, подошел слуга и сказал, что его нет, и она с нестерпимой болью сразу заподозрила, что он просил слугу не звать его, если будет звонить молодая дама.

Рассеянно Джессика взяла конверт со стола и начала разрезать его. Внутри было много чего. Она вытащила кусок линованной бумаги с корот-

ким письмом. Джессика потрясенно и испуганно смотрела на него. Конверт тоже выпал оттуда прямо на ее письма. Конверт был адресован Джону Дьюкейну, эсквайру, — чужим, неизвестным ей почерком. Почему это прислали ей? Может быть, чтобы она передала это Джону? Но она увидела, что конверт уже открыт и что письмо отправлено в начале месяца. Замирая от сладостного ужаса, Джессика развернула приложенное письмо. Оно было коротким:

Дорогая мадам.

Зная о Ваших сильных чувствах к мистеру Джону Дьюкейну, я уверен, Вам будет интересно прочесть вложенное письмо.

Искренне ваш Доброжелатель

Сильно дрожа, Джессика схватила конверт и вытащила письмо. Оно было следующего содержания:

Трескомб, Дорсет

О мой дорогой Джон, как я скучаю по тебе, кажется, еще целая вечность до нашего милого уик-энда. Мне больно думать, что ты совсем одинок в Лондоне,

но скоро мы воссоединимся. Ты моя собственность, ты знаешь, а у меня сильное чувство собственности! Я буду бороться за свои права! Не будь так далеко от меня, мой любимый, поторопи дни и часы. О, как божественно, Джон, говорить с тобой о любви и знать, что ты чувствуешь то же, что и я! Люблю, люблю, люблю.

Твоя Кейт

P. S. Вилли Кост шлет привет и надеется скоро тебя увидеть.

Джессика села на пол и постаралась сосредоточить свои усилия на том, чтобы не умереть. Она не чувствовала позыва к слезам или рыданиям, но у нее было ощущение, будто ее тело отделилось от нее. Шок был очевиднее боли, или, возможно, боль была такой невыносимой, что она балансировала на грани сознания. Она сидела совершенно неподвижно около пяти минут с закрытыми глазами, каждый мускул напрягся, чтобы все тело не распалось. Потом она открыла глаза, снова прочла письмо и осмотрела конверт.

Конечно, не могло быть и малейших сомнений — это письмо от любовницы Джона. Дело даже

не в тоне письма, но со значением подчеркнутое слово «уик-энд» доказывало это. Наверно, у них счастливые, даже восторженные отношения. Это было письмо женщины, уверенной, что она любима. Важно еще и то, что письмо написано меньше чем три недели назад. Дата на конверте просматривалась четко, и само письмо было датировано — день, месяц, год. Значит, роман все это время вовсю разворачивался. Это означало, что Джон лгал.

Джессика встала с пола. Она подошла к ящику, в котором хранились все письма Джона, когда-либо посланные ей, и вынула открытку, лежавшую наверху.

Прости, пишу тебе в спешке, я ужасно занят по работе разными отнимающими много времени делами. Виноват, что не написал. Могли бы мы встретиться в понедельник? Но не на следующей неделе, а еще через одну? Я очень жду этого. Если ты не возражаешь, я приду к тебе в семь. Самые лучшие пожелания.

Д.

Отнимающие много времени дела, думала Джессика. *Приду к тебе.* Теперь это читалось

совершенно по-другому. Конечно, ей не надо было приходить к нему в дом, она и раньше никогда не приходила. Увлеченный романом, он холодно рассчитал, на сколь долгий срок он может отложить свидание, не вызывая подозрений. *Понедельник — но не на следующей неделе, а еще через неделю.* Как аккуратно он написал, чтобы подозрительные слова не казались подозрительными. Несомненно, он как раз вернется из этого *милого уик-энда.* И он будет смотреть ей в глаза, как он это делал в прошлую встречу, и говорить серьезным, честным голосом, что у него нет любовницы.

Джессика снова принялась расхаживать по комнате. Но уже гораздо медленнее. Она с трудом поборола импульс поднять трубку и позвонить Джону на работу. Она поборола его потому, что знала: этого делать не нужно, внутри нее произошло нечто очень важное. И потребуется время, чтобы оно окрепло и возобладало над ней. Итак, Джон — совестливый пуританин Джон, честный и справедливый Джон, Джон-бог — хладнокровно лгал ей. Она не была предметом его заботы, а только человеком, которым можно манипулировать, которого можно обманывать. Она представляла — возможно, и эта мысль застави-

ла Джессику на миг прервать свое хождение по комнате — очевидную опасность для него, угрозу его новоприобретенному счастью, надоедливое воспоминание, фальшивую ноту. Мне больно думать, что ты совсем одинок в Лондоне. Уж конечно, Джон не рассказал влюбленной даме о своей связи с бедной Джессикой. Это бы все испортило, это никуда не годится. Джон лгал и милой даме тоже.

Джессика сказала себе вслух: «С Джоном кончено. Это — конец». Она опять остановилась и прислушалась к себе. Ни рыданий, ни слез, ни наклонности упасть в обморок. Какая-то твердая линия прочертилась в ней — вертикальная, стальная и тонкая, как проволока. Но очень прочная. Она уже не собиралась умереть ради Джона Дьюкейна. Теперь она возвысилась над ним. Она знала, а он не знал, что она знает. Она села на кровать. Она чувствовала себя усталой, как после долгой прогулки. Она целыми днями гуляла по комнате, думая о Джоне, ожидая от него письма или телефонного звонка. А все это время… Джессика пристроила за спиной две подушки и прямо и удобно расположилась на кровати. Она погрузилась в полную неподвижность, она сидела подобно идолу, подобно сфинксу. Ее глаза

едва мерцали, дыхание стало еле слышным, как будто бы жизнь вытекла из нее, оставив только восковое подобие. Прошел час.

Джессика встала, уже вечерело. Она подошла к окну и выглянула. Сиамская кошка медленно шла по краю крыши вдоль ограждения. Мальчик из Вест-Индии нес вечерние газеты. Студент надраивал свою очень старую машину. Две собаки, только что встретившись, махали хвостами. Она отвернулась от окна, подошла к зеркалу и сказала своему изображению в зеркале — очень мягко и несколько раз: «Джессика, Джессика…»

Затем она вернулась к столу и опять взяла письмо, но на этот раз она изучала только постскриптум, где говорилось о *Вилли Косте.*

28

— Я все ждал, когда вы объявитесь, — пробормотал Дьюкейн.

Ричард Биран стоял в гостиной Дьюкейна и пока не собирался садиться, хотя Джон предложил ему стул. Дьюкейн сидел у пустого камина. Лампы были зажжены, и занавески скрывали темно-голубой свет вечера. В комнате пахло летней пылью и розами.

Биран стоял, постукивая пальцами по каминной доске, его тело беспрерывно раскачивалось, а плечи дергались. Его длинная голова была откинута назад, а узкие голубые глаза то и дело взглядывали на Дьюкейна, потом пробегали по комнате и снова почти кокетливо возвращались к Дьюкейну. Лампа стояла позади него, поэтому лицо его было в тени, но она подсвечивала его растрепанную гриву светлых волос. Он переступил порог комнаты Дьюкейна две минуты назад.

— Ну? — спросил Дьюкейн. Он принял холодную, почти безжизненную позу, чтобы скрыть свое крайнее удовлетворение, почти ликование от прихода Бирана.

Осмотр «часовни» Рэдичи, проведенный с помощью Макграта, окончательно убедил Дьюкейна, что с точки зрения секретности Рэдичи невинен. Он был уверен, что вся эта некромантическая деятельность не являлась всего лишь прикрытием. Нет, здесь присутствовала искренность, очевидная глубокая вера — это было заметно по самой комнате и по всему, что там находилось в таком жалком состоянии. Кроме того, если бы Рэдичи был замешан в чем-нибудь шпионском, то вряд ли бы он стал рисковать, приглашая по ночам девушек. Самоубийство оставалось все еще необъясненным. Но сам вид часовни мог убедить кого угодно, что такой человек способен на суицидальные попытки. Это краткое, при свечах, посещение дало Дьюкейну интимное ощущение той реальности, в которой жил Рэдичи. Конечно, Дьюкейн не верил в духов. Но то, что происходило в этой комнате, на этом алтаре, когда кровь голубей стекала на черный матрас, не было детским лепетом. Там присутствовала определенная, воздействующая на человеческий разум атмосфера. Дьюкейн до сих пор мучился от запаха, который стоял там, и он знал, что прав был Макграт, утверждая: это не только смрад разложившихся птиц. Рэдичи открыл и материа-

лизовал вокруг себя мерзость зла, может быть, и не худший вид зла, но, безусловно, продвижение по этому пути и привело его к самоубийству.

Все это было понятно, и было бы понятно полностью, если бы не участие в этом деле Бирана. Биран был в него замешан, он скрывал свои визиты в дом Рэдичи, он знал Джуди Макграт. И все же теперь Дьюкейн совсем не был уверен, что Биран знает разгадку самоубийства Рэдичи или что он больше знает обо все этом, чем он сам. Внезапно Дьюкейну показалось, что расследование, собственно, закончено, что оно остановилось и продолжаться уже не может и что ему следует с чистой совестью написать рапорт, в котором Биран упоминаться не будет. Все, что связывало Бирана и Рэдичи, было странно и двусмысленно, но имело самое невинное объяснение. Он мог притронуться к телу из любопытства или растерянности, а потом решить, что правильней будет умолчать об этом, его встречи с Макгратом были случайными, а его визиты в дом Рэдичи, возможно, совершались ради Джуди, именно поэтому он и умолчал о них. Действительно, получается, что Биран не играл никакой зловещей роли в этом деле.

Все это было логичным и рациональным и

вполне могло бы убедить Дьюкейна, после чего оставалось только закончить дело. Однако он не был убежден, отчасти потому, что, непонятно на каких основаниях, чувствовал: есть в этом деле пока скрытый аспект, о котором известно Бирану, а частично потому, что история с Бираном захватывала его. Он так долго шел по его следу — как охотник за добычей. В нем развилось острое любопытство к этому человеку, любопытство, переходящее в своего рода влюбленность. Он хотел объясниться с Бираном, и эта идея была захватывающей. Но за те два дня, что прошли с их экскурсии с Макгратом в подземелье, он не решался на новые шаги. Он был в восторге оттого, что Биран появился на его пороге.

Биран был в состоянии возбуждения, природу которого было нелегко определить, но скрыть его было невозможно, да Биран и не пытался. Он прошел через всю комнату и, встав прямо перед Дьюкейном, воззрился на него.

— Садитесь и выпейте виски, — сказал Дьюкейн.

Он уже успел поставить графин и два стакана на низкий столик возле очага. Он указал на кресло напротив.

— Нет, спасибо, я постою, — сказал Биран, — не

надо виски.

Дьюкейн, который напряженно размышлял, едва увидев вытянутое лицо Бирана в голубом сумеречном свете, мерцавшем за дверным проемом, сказал тоном, наполовину уговаривающим, наполовину повелительным:

— Вы пришли рассказать мне о чем-то. О чем?

— Боюсь, я вас не совсем понимаю…

— Слушайте, — сказал Дьюкейн. — Я буду абсолютно откровенным с вами и жду от вас того же. Вы пришли рассказать мне нечто о Рэдичи. Я уже много знаю о Рэдичи и много знаю о вас, но еще остается кое-что непонятное для меня — буквально одна-две вещи. Они могут быть абсолютно невинными, и, если вы дадите мне удовлетворительное объяснение, я первый буду рад.

Биран, все еще глядя на него, откинул волосы. Он сказал:

— Для человека, предлагающего разговаривать откровенно, вы употребили много ничего не значащих слов. Я хочу знать, зачем вы приходили ко мне домой.

— Я хотел задать вам несколько вопросов.

— О чем? — высокий голос Бирана слегка дрогнул.

— Я хотел узнать, зачем вы лгали мне, — сказал

Дьюкейн осторожно. Заметив, что наклонился вперед, он опять откинулся на спинку кресла.

— В чем я вам лгал?

— Вы делали вид, что не знаете Рэдичи, тогда как на самом деле прекрасно его знали.

— Что еще?

— Зачем вы манипулировали с телом Рэдичи?

— Я не манипулировал с его телом, я не притрагивался к нему.

— Тогда как ваши отпечатки пальцев оказались на его воротничке?

Биран смотрел в упор на Дьюкейна. Он в задумчивости кусал себя за пальцы. Потом он прошелся по комнате.

— Вы не возражаете, если я все-таки выпью немного виски, в конце концов? Можно сесть?

— Пожалуйста. Итак?

Биран сел, налил себе виски, чтобы потянуть время. Он смотрел в стакан, осторожно потягивая напиток. Он сказал:

— Наверно, было глупо вводить вас в заблуждение, но я просто хотел быть в стороне от всего этого. Вы понимаете, может быть, я и должен был сказать полиции, что трогал тело, но это казалось тогда неважным и звучало бы абсурдно. Это было спонтанно. Он упал всем телом на стол, я откинул

его обратно. Думаю, я хотел убедиться, жив он или нет, и в то же самое мгновение я вынул из его руки револьвер. А затем я положил его обратно. Что заставило вас проверять его воротничок на наличие моих отпечатков пальцев?

— Вы положили его не туда, где он был после выстрела, — сказал Дьюкейн. — Вы, очевидно, не знали, что Рэдичи был левшой. Вы положили револьвер не с той стороны.

Бирон слабо улыбнулся. Виски пошло ему на пользу.

— Вы не нашли своим талантам должного применения. Вам надо было работать в Скотленд-Ярде.

— Зачем вы заперли дверь?

— Вы хорошо информированы. Это тоже было спонтанно. В первый момент я намеревался позвонить Октавиену и запер дверь в ожидании его прихода. Потом я решил не звонить ему.

— Я вам скажу через минуту, что я думаю о ваших пояснениях, — сказал Дьюкейн. — Теперь скажите, почему вы делали вид, что не знаете Рэдичи?

— Просто утаил, — сказал Биран, попивая виски. — Всякий имеет право защищаться от наглого любопытства. Я не знаю, почему парень покон-

чил с собой, может быть, это было как-то связано с девушками или еще почему-то. Я просто не хотел, чтобы меня о нем спрашивали и потом вызывали как свидетеля. Вы бы сделали так же на моем месте.

— Нет, я бы так не сделал и не мог оказаться на вашем месте, — сказал Дьюкейн взволнованно и опять наклонился вперед.

Биран упорно смотрел на него, почти сурово, а потом перенес свое внимание на стакан виски, в котором раскачивал и раскачивал напиток. Он молчал.

Хлопнувшая дверь и мотив «Добрый герцог Муррейский» известили о том, что Файви, будучи отпущенным на вечер, вернулся домой. Дьюкейн нахмурился, опять откинулся назад и сказал себе: «О господи, он ловко увертывается».

— А что насчет Елены Троянской? — спросил Дьюкейн.

Биран хитро улыбнулся, поднятая бровь придала его лицу доверчивый вид.

— Юная Джуди, да. Вы ведь *сами* беседовали с Джуди. Она участвует в наших судьбах.

— Не в моей судьбе! — воскликнул Дьюкейн. Он понял, что начинает сердиться. Разговор пошел не так, как он предполагал. Биран явно взял себя

в руки, и теперь он сам был предметом насмешек и вынужден был защищаться. Он налил себе виски. Они смотрели друг другу в глаза.

— Ну, ну, Биран, — сказал Дьюкейн. Это звучало почти просительно.

— Что вы хотите сказать этим «ну, ну»? Я не отрицаю, что знаю Джуди Макграт и что Рэдичи тоже знал ее. Она любвеобильная дама с широким кругом знакомств.

— Вы познакомились с ней через Рэдичи?

Биран забеспокоился:

— Нет, меня познакомил с ней ее муж. Макграт знает, как подороже продать то, что имеет. И Рэдичи с ней познакомился таким же путем.

— Макграт шантажировал и вас?

— Что значит — и вас? Он вас шантажировал?

— Нет, меня — нет! Он шантажировал Рэдичи.

— Да? О да, припоминаю. Интересно. Возможно, это объясняет причину самоубийства.

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Не думаю, что считаю вас вправе допрашивать меня, мой дорогой Дьюкейн.

— Тогда зачем вы явились сюда?

— Потому что вы, скажем так, стали действовать мне на нервы. Если хотите знать, я пришел сюда, чтобы задать вам несколько вопросов.

— О чем?

— О том, насколько хорошо вы знаете Джуди Макграт.

— Ах, вот что! — сказал Дьюкейн.

Он встал, резко отодвинув кресло и почти опрокинув лампу. Быстро заходил по комнате. Он посмотрел вниз на Бирана и понял, что они поменялись ролями. Биран развалился в кресле, а Дьюкейн стоял перед ним. Несомненно, Биран — умный человек. Он так и уйдет, не открыв мне чего-то важного, думал Дьюкейн. Он почему-то все больше обретал уверенность: тому есть что скрывать.

— Ну? — протянул Биран. Он выглядел совершенно спокойным сейчас: сидел, вытянув ноги, в руке стакан, его длинная, узкая голова покоилась на подушке.

Дьюкейн подумал: он пришел, чтобы выведать, много ли мне удалось узнать, и я действительно дал ему понять, что ничего не знаю! Черт, черт, черт. И тут Дьюкейн вдруг почувствовал совершенно определенно, что Биран виноват в чем-то, возможно в чем-то серьезном. Он подумал: надо его каким-то образом напугать.

Дьюкейн сказал, напряженно думая:

— Вы прекрасно осведомлены, что я едва зна-

ком с миссис Макграт.

— Вы целовались с ней, — сказал Биран. — Что ж, темные лошадки вроде вас часто опережают всех. — Он усмехнулся и налил себе еще немного виски.

— Она сама поцеловала меня, — сказал Дьюкейн. — Она с профессиональной ловкостью воспользовалась моментом неожиданности. Вы прекрасно знаете, что миссис Макграт в этом смысле мне неинтересна.

— Почему я должен вам верить?

— Я не лгу.

— Правда? — осведомился Биран. — Тогда почему же вы мне все-таки солгали сейчас?

— О чем вы?

— Вы сказали, что Макграт не шантажировал вас.

Дьюкейн взглянул вниз на красивое, дерзкое лицо Бирана.

Затем он отвернулся и рассмеялся. Он начал шагать по комнате.

— Верно, Макграт пытался шантажировать меня, и, руководствуясь моими личными мотивами, я сделал вид, что уступил. Как вы узнали?

— Он рассказал мне. Этот парень подкупающе искренен. Он пытался и меня шантажировать.

Они с Джуди работают командой, как вы, возможно, уже поняли. Она заманивает богатых людей с причудливыми, скажем так, вкусами. А Макграт уже тут со своей маленькой камерой. У него настоящий талант фотографа.

— Понимаю. Он пытался, вы говорите, шантажировать и вас. Но это не получилось?

— Я сказал ему, что, если он вздумает и со мной играть в эту игру, я убью его. Он мне поверил.

Дьюкейн обернулся, дойдя до стены, и посмотрел на длинную расслабленную фигуру в кресле. У него на все есть ответ, подумал он. Мне бы ни один человек не поверил, что я могу убить его!

— Как я уже сказал, — ответил Дьюкейн, — у меня были свои резоны не обескураживать Макграта. — У него возникла идея, невольно подсказанная самим Бираном.

— Очень убедительные резоны, сказал бы я. Две очаровательные девушки. Да, *вы* — темная лошадка.

— Вижу, что подкупающая откровенность Макграта не имеет границ, — сказал Дьюкейн. Он подумал: этот парень знает обо мне больше, чем я о нем. А я-то считал его своей жертвой, узником!

— Да, он рассказал мне о двух письмах. Он гордился собой. Должен сказать, он в самом деле

очень изобретателен.

— Кажется, он стал вашим другом, — сказал Дьюкейн. — Будет интересно послушать, когда он расскажет *все*, что знает.

— Он этого никогда не сделает, — сказал Биран одобрительно. — И никогда вам его не подловить. И никому другому.

— А я смогу убедить его, — сказал Дьюкейн.

Биран выпрямился:

— Каким образом?

— Вот, скажем, этот шантаж, — ответил Дьюкейн. — Почему вы думаете, что я поощрял его? Эти два письма абсолютно невинные. Обе молодые женщины употребляют самые горячие выражения, как это свойственно молодым женщинам, но ни одна из них не является моей любовницей, и, собственно, у меня нет никаких возражений против того, чтобы они узнали о существовании друг друга. На самом деле они уже и знают, с тех пор как я им рассказал. Это первое, что я сделал после того, как Макграт сообщил мне о своих намерениях… Макграт мне не опасен — ему нечего открыть им. Правда, Биран, вы меня удивляете. Насколько вы знаете мой характер, неужели вы думаете, я действительно потерпел бы шантаж? Ничего особенно страшного я не

совершал и, конечно, не стану платить такому субъекту, как Макграт, только ради того, чтобы избежать легкого стыда.

— Вы хотите сказать…

— Да, у Макграта нет надо мной власти. Но у меня есть власть над ним, и я собираюсь ею воспользоваться. Естественно, я не собираюсь изобличать его, но я заинтересован в том, чтобы он заговорил, и он заговорит.

— А у вас есть доказательства? — К нему снова вернулась настороженность, и он опять принялся покусывать зубами суставы пальцев.

— Он имел глупость написать мне письмо. А кроме того, у меня есть магнитофонная запись. Я тоже в таких делах не лишен изобретательности.

Странный у меня сегодня вечер для человека, который не привык лгать, подумал Дьюкейн. Он подошел ближе к Бирану и внимательно рассматривал его. Биран явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Итак, вы собираетесь нажать на Макграта?

— Да. Половину истории он мне уже рассказал. Вторую половину я услышу на следующей неделе. Не знаю, обойдусь я без помощи полиции или все же прибегну к ней. У меня ощущение, что это

будет интересно. И еще: у меня чувство, что вас это тоже касается.

— Он вам ничего не расскажет, — сказал Биран. Сейчас он упорно смотрел на ковер.

— Значит, вы не отрицаете. Ему есть что рассказать?

— О, он много что мог бы порассказать. Но не о Рэдичи. Конечно, вы можете угрожать ему и понудить его изобличить сообщников. Но это вам не поможет. Об этом он больше ничего не знает.

— Почему вы так уверены?

— Потому что он кое-что рассказал мне. Верней, намекнул. Это дело Рэдичи слишком раздуто. Не понимаю, почему оно вас так волнует. В нем нет ничего интересного. Рэдичи был наполовину безумным, питающим интерес к оккультным наукам и имеющим довольно странные сексуальные вкусы. Как раз такие люди часто кончают с собой. Почему бы ему не сделать этого? Неужели нужно поднимать такую шумиху по поводу его самоубийства?

Дьюкейн сел. Он передвинул стол с виски и сдвинул кресло вперед. Он мягко сказал:

— Слушайте, Ричард, я *знаю*, что вы лгали мне сегодня, и я *знаю*, что вы замешаны в этом деле больше, чем вы стараетесь показать, глубоко

замешаны. По самую шею. Вы знаете, почему Рэдичи совершил самоубийство, и вы мне скажете это прежде, чем покинете этот дом. Вы что-то взяли тогда у мертвого Рэдичи, и я знаю, что́ именно вы тогда взяли. Я не очень много накопал о вас информации, но то, что я нашел, может доставить вам серьезные неприятности, если я захочу.

Биран сейчас сидел прямо, руки его, вцепившиеся в ручки кресла, были освещены золотым светом, длинный цилиндр его головы повернут в тень. Он сказал:

— Извините, Дьюкейн, мне больше нечего вам сказать, кроме как пожелать вам спокойной ночи, — но не двинулся с места.

Дьюкейн осознал, что назвал Бирана по имени. Вместе с этим пришло наконец ощущение, что он загнал его в угол. Он подумал: я поймал его. Он сказал, резко наклонившись вперед:

— Не будьте идиотом. Почему вы сказали, что я действую вам на нервы? Вы пришли сюда не для того, чтобы выяснить, что мне известно, вы пришли рассказать мне что-то. Я не блефую, Биран. Это проклятое расследование подошло к финалу, и в финале вы — главное действующее лицо, хотите вы этого или нет. Важно, чтобы вы это поняли. До сих пор это дело велось без участия

полиции. Оно было совершенно секретным, и я имею право держать в тайне и скрывать от всех то, что мне известно, и то, что считаю нужным. Хорошо, вы знаете вкратце, что́ мне известно. Если вы расскажете мне все, возможно, я смогу утаить это в той части, которая касается вас. Разумеется, я не обещаю этого, но я подумаю на эту тему. Если же вы не захотите говорить, то я передам все это дело в руки полиции и расскажу им о своих подозрениях. Если вы предпочитаете, чтобы они, а не я допрашивали вас, — это ваше дело. И не полагайтесь на верность такого человека, как Макграт.

Биран глубоко вдохнул. Он наклонил голову, и Дьюкейн мог видеть только длинную щель голубого глаза. Его жесткие волосы отсвечивали золотом в свете лампы. Биран сказал еле слышно:

— Дайте мне подумать, дайте мне подумать. — Все еще не поднимая глаз, он спросил: — Если то, что я вам скажу, не имеет прямого отношения к вопросу, был ли Рэдичи шпионом, то вы сохраните это в тайне?

— Да.

— Если я расскажу вам, почему умер Рэдичи, сможете вы в отчете так сформулировать это

объяснение, чтобы не называть лишних имен?

— Не знаю. Ваш вопрос слишком расплывчат. Не могу обещать вам молчание. Например, если вы мне скажете, что сами убили Рэдичи.

— Я не убивал Рэдичи. Во всяком случае, не в том смысле, который мог бы сделать меня подсудным. Подождите только минуту, хорошо? Подождите минутку.

Биран встал. Он повернулся спиной к Дьюкейну и оглянулся на темный угол комнаты. Дьюкейн провел рукой по лбу и заметил, что его волосы стали влажными и липкими от пота. Его глаза, его воля были направлены в сторону Бирана, сфокусированы на его затылке, где путаница жестких волос переходила в мягкие завитки. Дьюкейн молчал, но пространство между ними напиталось его волей. Но теперь он знал, что Биран захотел говорить и заговорит. Возможно, он с самого начала собирался сделать это и только нуждался в том, чтобы его к этому подтолкнули.

Биран обернулся, теперь его лицо стало гораздо более спокойным. Его тонкий рот слегка улыбался, выражая сардоническую решимость. Он сказал:

— Хорошо. Я верю вам, поскольку вы сами сказали, что вам можно верить. Предаю себя в ваши

руки. Вот этот документ скажет вам все, что вы хотите знать. После того как вы прочтете, я позволю себе дать вам два-три пояснения по этому поводу. — Он протянул Дьюкейну сложенный лист бумаги и сразу отвернулся.

Дьюкейн развернул бумагу. Он сразу понял, что она написана сжатым почерком Рэдичи. В ней говорилось:

Заявляю полиции, обществу и Богу, если он существует, что в сентябре прошлого года я убил мою жену Клодию, выбросив ее из окна. Я действовал под влиянием аффекта и не имел заранее обдуманного намерения убивать ее. Моим мотивом была ревность из-за ее связи с Ричардом Бираном. Биран был свидетелем моего поступка и с тех пор пытается шантажировать меня. Я умираю от собственной руки. Бирану посылаю предсмертное проклятие.

Джозеф Рэдичи

Я любил свою жену.

Дьюкейн был до того поражен и странным образом тронут этим документом, что ему хотелось просто прижать его к голове и закрыть глаза.

Но в нем тут же взыграл актерский инстинкт — инстинкт, перенесший его в былые дни, когда он работал в судах. Он встал, чтобы успокоиться, достал лупу и исследовал письмо, поднеся его к лампе. Почерк был твердым и, несомненно, принадлежал Рэдичи.

Биран все еще стоял к нему спиной. Дьюкейн сказал:

— Садитесь, пожалуйста, Биран.

Они оба сели. Биран глубоко дышал, он потянулся так, как будто бы ужасно устал.

Дьюкейн сказал:

— Возможно, вы сможете ответить на некоторые вопросы.

— Все, что хотите.

— Я готов признать, что это писал Рэдичи. Это все так и было?

Биран привстал. Он сказал:

— Правда, что он убил Клодию и что я видел, как это произошло. И правда, что он ревновал Клодию ко мне. Неправда, что я пытался его шантажировать, по крайней мере не совсем правда.

— Что значит «не совсем»?

— Боюсь, мне трудно сформулировать.

— Не важно. Скажите правду.

— Видите ли, я желал Джуди Макграт.

— Поэтому вы решили надавить на Рэдичи?…

— Я не собирался на него давить. Даже намека на это не было. Самому Рэдичи почему-то так показалось. Я хотел увести от него Джуди, и я бы легко это сделал, а ему почему-то захотелось думать, что ему угрожают.

— Он видел угрозу именно с вашей стороны?

— Думаю, да.

— Когда это случилось?

— Я увел ее два или три месяца тому назад. До того, как произошло…

— Ясно. В письме истинное объяснение его самоубийства?

— Да. Насколько вообще объяснение может быть истинным. Никаких других тайн, никаких иных намеков. Он был жутким человеком, находившимся постоянно в состоянии страха и тревоги. Я думаю, он общался с духами и боялся их.

— Любил ли он жену?

— Да. Думаю, да. Но, пожалуйста, поверьте, что я не знал этого вначале.

— Вы спали с миссис Рэдичи?

— Да.

— Она была несчастной женщиной?

— Нет, совсем нет, разве что в самом конце.

С самого начала я этого не понял. Я очень банально взглянул на это дело. Клодия казалась покинутой женой. У Рэдичи был целый гарем некромантических девушек, по крайней мере до появления Джуди, она заставила его их прогнать. Я думаю, Рэдичи сильно увлекся Джуди, и это причиняло боль Клодии. Она терпела других, но это показалось ей гораздо более серьезным. Думаю, это и побудило ее заигрывать со мной, а я воспользовался этим и взял ее штурмом. Это было неожиданно. Я бы не сделал этого в нормальном состоянии. Меня поразила сила ревности Рэдичи. Я не знал, что она ему так важна.

— Где все же вы впервые встретили Клодию?

— Через одну из предшественниц Джуди. Клодия пришла к ней домой с целью выяснить что-нибудь о Джуди уже после того, как она стала тревожиться по этому поводу. А я случайно оказался там.

— Понимаю. Итак, Рэдичи оказался ревнивцем и попросил вас убраться?

— Да. И лучше бы я так и сделал. Но я каким-то образом почувствовал, что должен защитить Клодию. Мне нравилась Клодия, она собой представляла нечто. И к тому времени все запуталось. Я сказал ему, что он ее не стоит. И он не стоил. С

другими девушками он не спал, и с Джуди тоже, и он их не бил. И все равно он жуткий какой-то был.

— И вы видели, как он убил свою жену?

— Да. Это было… — Биран уставился на пустой камин. Он вытянул руку и дотронулся пальцем до мраморной доски, погладив ее. — Я довольно сильно напился в тот вечер. Наверно, мы все трое были пьяны. Клодия была в странном состоянии духа. Я думаю, ей нравилось, что мы оба присутствуем… Ее забавляла эта ситуация. Ей было интересно, схватимся мы с ним или нет. Знаете, она действительно любила мужа, хотя, конечно, была влюблена в меня. Мы составляли истерическое трио, это было уже не в первый раз. Вы едва ли поверите, но мы обсуждали все это вместе. Втроем. Странность Рэдичи делала это возможным. Он все время разыгрывал какую-то роль, и, я думаю, именно это увлекало Клодию. Она хотела воспользоваться мною, чтобы заставить Рэдичи страдать, она хотела посмотреть на его страдания. Он бегал по комнате. Кричал и размахивал руками, а потом погрузился в долгое молчание и нахмурился, как русский актер. Я не мог серьезно относиться к нему во время этого представления, хотя в то же время он пугал меня,

и это заставило меня пытаться подловить его. Интересно, вы поняли хоть что-нибудь из этого?

— Думаю, да, — сказал Дьюкейн. — Продолжайте.

— Уже не так много осталось рассказывать. Во второй раз, когда мы так собрались, это было уже после полуночи, и мы стали спорить, пить и часами кричали друг на друга. Казалось, мы почти поняли друг друга, и это было приятно. Но вдруг Рэдичи схватил Клодию за плечи. Ночью было жарко, и окно было настежь открыто. Он поволок ее по комнате, крича на нее. А затем, прежде чем я успел встать, выкинул ее из окна.

Биран замолчал. Он все еще водил пальцем по мраморным прожилкам.

— Я никогда не забуду необыкновенной тишины и внезапности ее исчезновения из комнаты. Она не вопила, она просто исчезла в окне, как будто улетела в ночь. Мы не слышали стука, когда она упала на землю. Мы стояли как парализованные. Мне кажется, Рэдичи был удивлен не меньше меня. Думаю, он даже не помышлял сотворить такое.

— Она сразу умерла?

— Да, слава богу. То есть я имел в виду, раз уж она должна была умереть, слава богу, что быстро.

Мы побежали вниз, она лежала на камнях со сломанной шеей. Как вы знаете, дом Рэдичи совершенно изолирован, и никто ничего не видел и не слышал.

— Что было потом?

— Потом с Рэдичи случилась истерика. Я все время просил его вернуться в дом. Начался дождь. Я продолжал настаивать, чтобы он вернулся. Я просил его подумать о том, что он расскажет полиции, но он только плакал все время. Потом он сказал, чтобы я ушел, я подумал, что так действительно будет лучше, и ушел. На следующий день я прочитал в газете о «несчастном случае».

— Знал ли Макграт об этом?

— Нет, он ничего не знал, но догадывался. Он много раз приходил туда уже после этого, а он наблюдательный человек. Он пришел к Рэдичи и сказал, что я поведал ему о том, что тот убил Клодию, и спрашивал, правда ли это. Но, к несчастью, потом он совершил ошибку: пришел ко мне почти тогда же и сказал, что Рэдичи рассказал ему, что это я убил Клодию, и спросил, что же теперь делать.

— Это тогда вы угрожали убить Макграта?

— Да. Я чувствовал, что вправду могу это сделать, поэтому это прозвучало правдоподобно.

Тогда Макграт попытался превратить все в шутку и признался, что пытался шантажировать Рэдичи тем же способом. Я написал записку Рэдичи, чтобы он не обращал внимания на Макграта, но, думаю, он и так не обращал. Он был слишком погружен в свою скорбь.

— Макграт тогда уже получал деньги от Рэдичи?

— Да. У него были замечательные фотографии обнаженных девушек, которым Рэдичи ставил на грудь чашу. За это он требовал денег, и Рэдичи регулярно платил ему за молчание. Но не думаю, чтобы Рэдичи это огорчало. Между ним и Макгратом была своеобразная дружба. Макграт был по-настоящему потрясен его смертью.

— Потом вы еще общались с Рэдичи?

— Нет. Я только написал ему раз или два записки, касающиеся в основном Джуди. Я не решался говорить с ним в департаменте и боялся идти к нему домой. Рэдичи был нелеп, но в нем было что-то угрожающее. И после случившегося я действительно стал бояться его. Я даже думал одно время, что он может убить и меня. Когда я зашел к нему в кабинет в тот последний день и увидел, что у него в руке револьвер, я подумал, что он хочет убить меня.

— Вы полагаете, он позвал вас, чтобы…

— Чтобы я увидел, как он умрет. Это для него характерно. Он послал мне странную записку с просьбой зайти к нему в определенное время, потому что он якобы нуждался в моей помощи. Я знал, что должен пойти, хотя и боялся. Когда я вошел и закрыл за собой дверь, он достал револьвер и выстрелил в себя у меня на глазах.

— Боже! А потом вы заперли дверь и обыскали его.

— Да. Вы подумаете, что я холоден как рыба. Что ж, может быть, так оно и есть. Я сразу же догадался, что он наверняка оставил записку, обвиняющую меня. Я подумал, она у него в кармане, я заглянул во все карманы. Но ее там не было. Она была заперта в одном из ящиков письменного стола. Пришлось взломать замок стальной линейкой. Я боялся, что потом заметят царапины на замке, но, очевидно, не заметили.

Воцарилось молчание.

— Это все? — спросил Дьюкейн.

— Это все. Остальное вы знаете. Макграт все испортил, продав свою фантастическую историю газетам, чем спровоцировал вас начать расследование. А иначе все бы тихо сошло на нет. Кстати, вы читали эту историю?

— Нет. Но я получил полный отчет от человека, который читал ее. Ничего нового там нет. О вас там не упоминается.

— Этого я тоже боялся. Вы не возражаете, если я отодвину портьеры? Здесь ужасно душно.

Биран подошел к окну и, отодвинув тяжелую портьеру, открыл форточку настежь. Стал слышен шум уличного движения с Эрлз-Корт-роуд.

Через мгновение Дьюкейн сказал:

— Зачем вы спрятали исповедь Рэдичи?

— Зачем? Это звучит безумно, но я боялся, что подумают — это я убил его!

— Успокойтесь, успокойтесь. — Дьюкейн вздрогнул. — И у вас есть Джуди.

Биран несколько раз глубоко вдохнул воздух, а потом снова задернул портьеру. Все еще продолжая глубоко дышать, он вернулся к Дьюкейну и встал напротив него, глядя ему в лицо:

— Джуди мне безразлична, я взял ее как любую другую.

Дьюкейн молча смотрел на длинное, слегка искаженное лицо Бирана. Оно было неподвижным, усталым, спокойным, в нем горел слабый огонек надменности, которую он сам сознавал в себе. Дьюкейн подумал: да, ты холоден как рыба, ты настоящий мерзавец.

— Что вы собираетесь делать со мной? — спросил Биран.

Дьюкейн занервничал, налил себе еще виски, а потом медленно сказал:

— Вы поставили меня в трудную ситуацию.

Он не хотел, чтобы Биран начал притворяться снова. К тому же он был действительно поражен и потрясен историей, которую он только что услышал, и ситуацией, в которой они оба оказались.

— Продолжайте.

— Когда вы пришли сегодня, — спросил Дьюкейн, — вы намеревались рассказать мне все это?

— Да. Нет. Я не уверен. Сказать по правде, я думал, что вы знаете гораздо больше, чем на самом деле вы знали. Я думал, вы знаете все. Я полагал, что вы обо всем узнали от Макграта. То есть я думал, что он мог рассказать вам о своих подозрениях или выдать их за истину. И конечно, я не был уверен, что Рэдичи не оставил где-нибудь копию своей записки. Я вбил себе в голову, что вы все знаете и просто играете со мной по каким-то своим соображениям. Я начал так думать особенно после вашего визита ко мне, когда вы застали у меня Джуди. Все это начало ужасно

действовать мне на нервы. Я начал видеть вас во сне. Я знаю, это звучит смехотворно. Я поймал себя на том, что хочу все рассказать вам. Во всяком случае, я хотел рассказать кому-то. Рэдичи тоже снился мне. Я знаю, вы думаете, я вел себя плохо, но я жил как в аду. Как вы думаете, удастся вам спустить это дело на тормозах хотя бы в том, что касается меня?

— Я не уверен, что смогу, — сказал Дьюкейн. — Вы были свидетелем убийства.

Биран взял стул, стоявший у стены, и сел.

— Завтра я буду считать себя идиотом, — сказал он. — Вы оказались не таким уж умником. А я-то думал! Я пришел сюда в полной уверенности, что вам многое известно, и поэтому решил исповедаться перед вами. Я даже не дал себе времени придумать новый план. Я должен был бы уйти через полчаса после начала нашей беседы. Но я был как будто зачарован. Если бы я вам не рассказал, вы бы, скорей всего, никогда не узнали бы. Неужели ваши смутные подозрения и неубедительные выводы — это все, что вы хотели сообщить полиции? Они бы ничего не могли сделать с ними. Я бы просто отболтался. А вы действительно думали прижать Макграта, рискуя, что письма ваших девушек появятся в газетах?

— Я не знаю, — сказал Дьюкейн. — Я действительно не знаю. Я еще не решил, что делать. Но я хотел прежде всего поговорить с вами. Если бы вы не пришли ко мне, я бы сам пришел к вам.

У него на языке вертелось: правильно, что вы все мне рассказали. Но какой смысл говорить это. Произносить этого не нужно. Дьюкейн ведь не судья, не школьный учитель и не священник. Биран в этот момент чувствовал, что напряжение, мучившее его столько времени, ослабло, а его полной размышлений тревоге пришел конец, но зато явилась мысль, что он совершил чудовищную ошибку. Самое милосердное, что мог сделать для него Дьюкейн, — избавить его от последнего сожаления. Он сказал:

— Если бы вы и не сказали, это все равно каким-нибудь образом вышло бы наружу. Макграт мог бы разузнать. И, понимая, что все это дело было для меня одной большой загадкой, вряд ли бы я мог написать отчет, не упоминая вас.

— Хорошо, ну а теперь, когда я все рассказал, вы намерены упомянуть меня?

Дьюкейн почувствовал, что он очень, очень устал. Ему бы хотелось, чтобы это расследование подошло к концу. Он хотел бы вернуться к своим научным занятиям. Он сказал:

— Не думаю, что удастся скрыть совершение убийства. Это мой долг, даже с профессиональной точки зрения.

— К черту ваш долг, — сказал Биран. Он встал, отбросив стул одной рукой. — Буду ли я считаться соучастником, когда об этом узнают официальные лица?

— Боюсь, что да.

— Это будет концом моей карьеры.

— Да. Мне очень жаль, Биран. Но сейчас я не вижу, как я могу защитить вас. Даже не учитывая то, что вы видели, как совершилось убийство, и то, что вы скрыли признание убийцы, я просто должен дать представление об этом деле во всей полноте. Я мог бы скрыть только то, что не имеет прямого отношения к тому, что я обязан был расследовать. Но это имеет отношение. Особенно имеет отношение к делу эта записка, которую я забираю, если вы не возражаете. Моей целью было узнать, почему Рэдичи покончил с собой. Этот клочок бумаги дает полный ответ на этот вопрос.

— Разве недостаточно, что *вы* знаете ответ на этот вопрос? Вы можете сообщить властям с чистой совестью, что секреты государства не пострадали. Конечно, славы вы получите меньше…

— Дело не в славе, — сказал Дьюкейн. — Просто я должен сделать свою работу наилучшим образом. Простите, Биран, я не хочу вас расстраивать, но вы должны понять…

— Да, да. Я понимаю. Долг, работа. Это должно вас волновать. Вы должны быть вознаграждены за их выполнение. Но я не понимаю теории возмездия. Я — хороший слуга общества и хочу продолжать им быть. Не хочу начинать жизнь сначала. На самом деле ничего особенно страшного в моем поведении не было, мне просто не повезло. Все казалось таким безобидным вначале.

— Я бы не назвал это безобидным, — сказал Дьюкейн. — Я думаю, вам не следует больше встречаться с Джуди Макграт.

— Почему? Она вам самому приглянулась?

— Конечно нет. Просто человек вашего ранга…

— Благодаря вам у меня теперь не будет никакого ранга. И кажется, я могу общаться с кем пожелаю. Но надо признать, что вы теперь командуете. Вы теперь босс. Вы можете мне приказывать, вы можете ставить условия, если, конечно, вы поможете мне выпутаться, вот так.

— Довольно, довольно, довольно, — сказал Дьюкейн. Он чувствовал себя неловко. Не надо

было упоминать Джуди. Он сказал: — Послушайте. Сейчас вам лучше уйти. Обещаю, что дня два-три ничего предпринимать не буду. И вообще ничего не предприму, пока снова не поговорю с вами. И разумеется, я никому об этом и словом не обмолвлюсь. Я все тщательно обдумаю. Сейчас, пожалуйста, уходите.

Дьюкейн распахнул двери гостиной, и они оба вышли в холл.

— Вы пришли без пальто?

— Да, сегодня тепло.

— Что ж, благодарю за визит.

Биран коротко рассмеялся. Дьюкейн открыл входную дверь. Они помедлили на пороге.

Дьюкейн почувствовал необходимость прикоснуться к Бирану. Он на мгновение положил руку ему на плечо почти робким жестом. Биран сделал шаг назад, а потом протянул ему руку. Они торопливо обменялись рукопожатием, и Биран исчез.

Дьюкейн закрыл дверь, повернулся и понял, как он устал; тут он заметил, что стоит на письме, лежащем на коврике. Наверно, кто-то просто подсунул его под дверь. Оно было от Макграта.

С чувством глубокого уныния Дьюкейн взял его в гостиную. В комнате еще царила атмосфера напряженности и печали. Он раздраженно разо-

рвал по краю конверт. Послание гласило:

Дорогой сэр.

Так как Вы не выполнили моей просьбы, я отправляю одно из писем заинтересованной особе. У меня остается еще одно, пока я не отсылаю его, надеясь, что Вы все же выполните обещание и договоритесь со мной. Цифры те же самые, впрочем, можем все обсудить. Я осмелюсь позвонить Вам завтра утром.

С величайшим уважением,
искренне Ваш

П. Макграт

Кому он послал письмо? — думал Дьюкейн. Кейт еще в отъезде, Джессика не ответила на его открытку. Какая разница, думал он. Он пошлет и второе тоже на днях. Он поколебался немного, а потом разорвал письмо Макграта. Он не мог предъявить ему серьезных обвинений. И они оба знали это. Конечно, он не должен был рисковать и подвергать этому Кейт и Джессику. Страдать должен он один.

Признание Рэдичи лежало на столе. Дьюкейн положил его в свой секретер и запер, даже не взглянув на его содержание еще раз. Он хотел

избавиться от представления о том, как Рэдичи писал его, содрогаясь от убийственной, саморазрушительной ненависти. Дьюкейн не находил в себе сил пожалеть Рэдичи, и не надо о нем думать. Мне тошно, тошно, сказал он себе. Выключив свет в гостиной, он стал подниматься по лестнице.

В спальне было темно, но в ванной оказалось достаточно светло, Дьюкейн вошел туда, не включая свет. Он быстро разделся, стараясь не смотреть на себя в зеркало. Ему страшно захотелось уснуть, забыть все это, он вспомнил, что часто испытывал подобное желание в своем несчастливом детстве. Какая мерзость, думал Дьюкейн, ужасная мерзость. Но сейчас спать, спать, спать. Он застегнул пижаму и поспешил в спальню, включив там свет. Когда он подошел к кровати, он обнаружил, что там уже кто-то лежит.

— Я думала, вы никогда не придете! — сказала Джуди Макграт.

29

— Это всего лишь маленькая Джуди.

Джуди Макграт откинула одеяло и раскинулась во всей красе, опираясь на локоть. Она была обнажена. Она повернулась и гостеприимно похлопала ладонью по простыне.

— Вас так долго не было. Я немного вздремнула.

Дьюкейн видел ее тело как бы сквозь дымку. Лампы, казалось, лили блеклый свет… Или, возможно, он слишком устал. Он взял висевший на стуле шелковый белый халат и накинул его. Он спросил:

— Вы пришли с Бираном?

— Что, мой сладкий?

— Вы пришли с Бираном?

— Нет, сама по себе. Задняя дверь была открыта, и я вошла. Я догадалась, где ваша спальня. Не сердитесь на меня, сладкий.

Может быть, это какая-то интрига, подумал Дьюкейн. Он спросил:

— Где же ваш муж со своей маленькой камерой? — Когда он произнес слово «маленькой», он

осознал, что пытается имитировать не только словечки Бирана, но и его голос.

— С вами я бы так не поступила, мистер Сладкий. Это бесплатно. Я вас люблю.

— Сомневаюсь, что вам известно, что такое любовь, Джуди.

— Этого вы не можете знать, мистер Сладкий.

Она права, подумал Дьюкейн. Он слегка качнулся и сел в кресло. Он понял, что выпил слишком много виски. Еще он понял, что выпил бы еще.

— Вам лучше уйти, Джуди. Вставайте, одевайтесь.

— Куда так торопиться, мистер С.?

— Я смертельно устал и хочу лечь, а я не могу лечь, пока вы в моей постели. Вставайте, Джуди.

— Вы можете лечь рядом со мной. Я не буду вас трогать в эту ночь.

— Не будьте глупышкой, девочка.

— Выпейте, мистер Сладкий. Немного выпивки я принесла с собой. Выпьем за дружбу.

Дьюкейн заметил, что Джуди заранее поставила на столик у кровати кожаную фляжку и два стакана. Он глядел, как она перекатилась на живот и налила немного виски в каждый стакан. Потом она приняла прежнюю позу на боку и протянула ему стакан.

Это движение глубоко взволновало Дьюкейна. Джуди в дымке этой комнаты, облитая серебристо-золотистым светом, казалась увиденной на картине. Возможно, она действительно напомнила ему одну из работ Гойи или Веласкеса. Но это ее перекатывающееся движение со всей своей неловкостью, ее на мгновение расставленные колени, вид ее грудей наводили на мысль о трогательном уродстве плоти, но также и о ее притягательности.

Дьюкейн механически наклонился вперед и взял стакан.

— Вот и хорошо, мистер Сладкий. Теперь мы можем поговорить. Только поговорить немного, а потом, клянусь, я уйду. Нам нужно поближе узнать друг друга. Это будет мило, не правда ли?

— Я бы не назвал это милым, — сказал Дьюкейн. — Это слово не подходит, любое другое было бы лучше.

— Ваше здоровье, мистер Сладкий.

— Ваше, Джуди.

— Итак, о чем мы будем говорить? Давайте поговорим о нас.

Она грациозно потянулась, вытягивая пальцы ног и приоткрыв рот и глаза. Ее плечи выгнулись. Пятнистые тени пробежали по сжатому животу.

Потом она снова расслабилась.

— Как это вышло, что вы связались с этим чертовым Макгратом? — спросил Дьюкейн. Он смотрел в стакан, но все равно мог видеть темный ореол ее черных с синим отливом волос.

— Я была очень молода, мистер Сладкий. И он что-то представлял собой. Я знала, что могу выйти только за человека, который что-то собой представляет. Из него могло что-то выйти, из Питера. Он яркий.

— Да, яркий. И он действительно кем-то стал. Он превратился в настоящего многообещающего жулика и вас сделал такой же.

— Вы считаете, я должна бросить его, мистер Сладкий?

— Нет, конечно нет, — сказал Дьюкейн с напором.

Он принудил себя взглянуть на нее. Он пытался сосредоточиться на ее глазах цвета Северного моря. Он понял, что ее лицо вовсе не было темным. Оно сияло, из-под затененной медово-золотой кожи как будто проступала бледность. Ее тело растворялось в золотисто-неровном свете.

Гойя, Веласкес. Боже, помоги мне, взмолился он.

— Думаю, вам надо уговорить его встать на пра-

ведный путь, иначе вы оба окажетесь в тюрьме. Вам там не понравится, Джуди.

Господи, я как будто хочу причинить ей боль, подумал он. Пусть она уйдет, пусть уйдет.

— Я должна покинуть его, мистер Сладкий, другого выхода нет. Вы знаете, я не могу заставить Питера перемениться. Я должна уйти от него, мистер Сладкий, а вы должны помочь мне сделать это. — Ее голос стал мягче, вкрадчивей.

Дьюкейн смотрел в ее голубые умоляющие глаза. Дай мне утонуть в них, думал он, и больше ничего не видеть, не чувствовать. Он сказал:

— Боюсь, я ничем не могу помочь вам, Джуди. Я дал вам совет. А теперь…

— Вы можете помочь мне. Только вы можете помочь мне. Только вы можете действительно спасти меня, мистер Сладкий.

— Перестаньте называть меня этим смешным именем! — сказал Дьюкейн. Он резко, как робот, повернул голову и посмотрел на дверь ванной.

— Хорошо, дорогой… Джон.

Дьюкейн встал.

— А теперь не будете ли вы так добры покинуть мой дом? — Он повернулся к ней спиной.

— Через минуту, Джон, через минуту. Не сердитесь на меня. Я знаю, что делала много плохого,

и не только Питер виноват в этом. Прежде чем я встретила Питера, вы знаете, я была с другими мужчинами. Это звучит так естественно. Но я чувствую совсем другое, встретив вас. Вы — первый мужчина, кто так спокойно относится ко мне, и вы такой добрый. Вы можете спасти меня, мистер Джон, и никто другой. Я ничего не прошу, только иногда видеть вас, разговаривать с вами. Вы можете сделать мою жизнь совершенно иной. Я сделаю все, что вам угодно, я научусь всему. Я стану, ну, не знаю, нянькой…

Из уст Дьюкейна вырвался звук, который можно было понять как смех или как возглас отвращения. Он сам не был уверен, что это.

— Спасите меня, Джон, милый, помогите мне. Вам это ничего не стоит, а для меня это так важно. Вы же сами сказали, что если я останусь с Питером, то окажусь в конце концов в тюрьме.

— Я этого не говорил, — сказал Дьюкейн. — Но не обращайте внимания. Оденьтесь.

— Еще минутку, милый, Джон. Вы не знаете, что такое для женщины — быть в отчаянье. Я боюсь Питера. Мне не к кому обратиться за помощью. У меня нет друзей, есть только мужчины, а они плохие. Такие люди, как вы, чувствуют себя спокойно. Вы важный, всеми уважаемый, у вас есть

настоящие друзья. Вам не нужно карабкаться из низов общества. Я должна расстаться с Питером, просто должна. А что со мной станет после этого? Будьте мне другом, Джон, это все, чего я прошу. Скажите, что вы не оставите меня на произвол судьбы, что мы будем видеться. Пожалуйста, скажите это, это так просто, пожалуйста.

В ее голосе послышалось легкое всхлипывание. Я не должен жалеть ее, думал Дьюкейн. Она думает, что говорит не всерьез, но на самом деле она говорит правду. Она может причинить мне вред. Я могу причинить ей вред. Что ж я смотрю на нее как на прокаженную? Какая разница, как я смотрю на нее? Я ничего не могу для нее сделать.

— Я не могу ничего для вас сделать, — сказал он тусклым голосом.

Наступило молчание. Джуди сказала:

— Я так устала. Я скоро уйду. — Она всхлипнула и закрыла лицо.

Дьюкейн повернулся и посмотрел на нее. Она лежала ничком, уронив голову в подушку. С внезапной сосредоточенностью он смотрел на ее тело, с тем же вниманием, с каким мог бы рассматривать картину в музее, любоваться шедевром, который больше никогда не увидит. Но любоваться ею он не мог.

Дьюкейн разрешил себе осознать свое сильное возбуждение. В своих мечтах он очень нежно опустил руку на ее золотую шею, пониже темных сухих, электрических волос, на эту особенную линию позвоночника, и притронулся к ее шелковому плечу, ее спина слегка бы вздрогнула и пошевелилась, он бы погладил ее крутое скользкое бедро, ее ягодицу, которую он видел сейчас, бесшумно подходя к постели, она бы укрыла его золотом своих волос.

«Предположим, я трахну ее?» — спросил себя Дьюкейн. Он никогда обычно не употреблял это выражение, даже мысленно, и сейчас то, что оно всплыло в его уме, еще больше возбудило его. Слово повторилось в уме теперь голосом Ричарда Бирана. Биран наверняка употреблял это слово. Что ж, предположим. Дьюкейн бесшумно поставил стакан на столик у кровати. Девушка лежала сейчас совершенно неподвижно, только простыня с неосвещенной стороны слегка колебалась в ритм ее дыхания. Должно быть, она уснула. В его воображении он трогал ее тело почти невесомым прикосновением, легким касанием надвигающейся страсти, желая почувствовать ее плоть. Он склонился над ней.

От тела Джуди исходил слабый запах. Он не был

неприятным, смесь сладостей и косметики. Он посмотрел на ее лопатки, но увидел груду мертвых голубей. Он открыл рот и поглощал запах Джуди. Он почувствовал опять люциферическую легкость и увидел написанное почерком Рэдичи, поперек голых плеч Джуди, послание: «Делай что хочешь — в этом весь закон».

В то же самое время Дьюкейн внутри был совершенно холоден. Холодный наблюдатель внутри него видел эту сцену и знал, что он не должен даже мимолетно прикасаться к шелковой золотой спине Джуди Макграт. Он думал, что она знает: я не притронусь к ней. Она знает, что я этого не сделаю, возможно, она предполагает, что я не могу. Он опустил руку и притронулся вместо Джуди к самому себе — сдерживая себя и успокаивая.

Я — настоящий гроб повапленный, думал Дьюкейн. Я запутался в отношениях с двумя женщинами и скомпрометировал их, одной я не принес счастья, а для другой был просто катастрофой. Я приношу зло в мир, как Макграт. Я не могу пожалеть несчастных и подарить надежду и покой проклятым. Я не чувствую сострадания к тем, чьим судьей я себя считаю. Я даже не могу заключить эту девушку в свои объятия. И это не потому, что так велит долг, или ради нее, а ради

моего представления о себе как о незапятнанном существе, из-за моего представления о себе как о творящем добро, эта идея всегда во мне, как бы мерзко я себя ни вел.

— Вставайте, Джуди, — сказал Дьюкейн мягким тоном, отворачиваясь от кровати. — Вставайте, девочка. Одевайтесь. Пора домой.

Он оглядел комнату. Легкая невесомая груда белья лежала рядом с одним из стульев. Летний наряд Джуди, вышитый зелеными и голубыми цветами, висел на спинке стула. Дьюкейн поднял мягкое, пахнущее духами нижнее белье и бросил его на кровать. Джуди перевернулась и застонала.

— Я ухожу в ванную, — сказал Дьюкейн. — Чтобы вы были одеты, когда я вернусь.

Он вышел в ванную и запер дверь. Он открыл кран. Пригладил пышные волны темных волос и пристально посмотрел на свое лицо в зеркале. Его лицо было загорелым, сияющим, потным. Глаза как будто были навыкате и пристально смотрели на свое отражение. Он высунул язык, широкий и похожий на лопату. Он слышал, что в спальне происходит какое-то движение. В дверь осторожно постучали.

— Я уже готова, — сказала Джуди.

Она оделась. Зелено-голубое платье тесно обхватывало ее тело. Ее груди, думал Дьюкейн, о, ее груди, всего лишь мгновение назад я мог ласкать их. И он подумал: как она красива в одежде. Было похоже, как будто они только что занимались любовью, и теперь он чувствовал себя умиротворенным, а страсть явилась под покровом нежности, как это бывает при виде одевшейся возлюбленной.

Он быстро прошел мимо нее и открыл дверь спальни.

Послышался какой-то шум, и на лестнице появился Файви, он посмотрел Дьюкейну в лицо в полутьме лестницы. Файви был одет в черные брюки и белую рубашку и напоминал своим видом лидера какой-то балканской революции. Он стоял с бессознательно вызывающим видом, откинув голову и крутя усы рукой.

Дьюкейн сказал, верней, почти закричал:

— Файви, как это прекрасно, что ты еще не спишь. Ты можешь вывести машину и отвезти эту даму домой.

— О, но… — сказала Джуди, отступая обратно в комнату.

— Давайте уходите, — сказал Дьюкейн. Не касаясь ее, он обошел ее сзади и вынудил ее выйти.

Он включил свет на лестнице.

— Доброй ночи, — сказал Дьюкейн. — Мой слуга отвезет вас домой. Файви, иди заведи машину. Миссис Макграт подождет тебя у входной двери.

— Очень хорошо, сэр, — сказал Файви с видом, исполненным достоинства. Он спустился по лестнице.

— Спускайтесь, — сказал Дьюкейн Джуди. — Я останусь здесь. Ждите Файви у дверей. Он сейчас будет. Спокойной ночи.

— Вы на меня не сердитесь? Мы увидимся еще? Пожалуйста?

— Спокойной ночи, дитя мое, спокойной ночи, — сказал Дьюкейн, указывая ей путь.

Она медленно прошла мимо него и стала спускаться. Через минуту он услышал шум мотора и хлопанье передней двери.

Дьюкейн вернулся в спальню, закрыл дверь и запер ее. Минуту он постоял, ничего не ощущая. Затем он осторожно опустился на пол и, закрыв глаза, прижался к нему лицом.

30

— Разве это не забавно узнать — кукушка в Африке не кукует! — сказал Эдвард.

— Генриетта, ты выпустила жабу из ванной? — спросила Мэри.

— Я хотела приручить ее, — сказала Генриетта, — люди могут приручить жабу.

— Ты выпустила ее из ванной?

— Да, она снова в саду.

— Кукушкам трудно сидеть на земле, — сказал Эдвард. — У них две лапы направлены вперед, а две — назад. Я вчера видел одну, как раз после того, как мы видели тарелку…

— Не разбрасывай вещи, Эдвард. Если ты так ценишь «Охоту на ос», то почему ты положил на нее мармелад?

— Слушай, она поет теперь иначе, — сказал Эдвард. — Кукушка в июне меняет мелодию. Слушай.

Далекое, гулкое «ку-ку, ку-ку» проникло в открытое окно кухни.

— Я бы хотела, чтобы пошел дождь, — сказала Генриетта.

— Идите погуляйте, — сказала Мэри, — и возьмите Минго с собой. Он крутится у меня под ногами.

Близнецы вышли. Генриетта толкала брата впереди себя. А сзади плелся Минго, слабо помахивавший хвостом в сторону любого, кто обратит на него внимание. Монроз опять занял, свернувшись клубком, комфортное место в корзинке и наблюдал за их выходом, явно засыпая. Кот не был приверженцем раннего подъема.

— Кажется, мы тоже крутимся у тебя под ногами, — сказала Кейт. — Вставай, Джон, пойдем в сад, хорошо? Какое райское утро. Господи, как хорошо возвращаться домой!

Кейт подняла свою испанскую корзинку и через неприбранный холл направилась на лужайку перед домом. Теплый утренний воздух обнял ее, плотный и экзотический в сравнении с прохладой, царившей в доме, полный запахов и испарений, пробужденных уже давно поднявшимся солнцем, хотя, с точки зрения людей, еще было раннее утро в лесистых холмах и спокойном море.

— Ты слышал сегодня кукованье старой кукушки в четыре часа утра? — спросила Кейт. — Надеюсь, она не разбудила тебя.

— Я сам проснулся.

— Уже прошел самый долгий день, ведь правда? А середина лета будто все длится и длится.

— Безумие середины лета.

— Что?

— Ничего. Это сумасшедшее время года.

— Сумасшедшее и прекрасное. Надеюсь, мы тебя не разбудили своим приездом. Октавиен страшно шумел.

— Нет.

Дьюкейн приехал в Трескомб вечером, а позже Кейт и Октавиен вернулись из Танжера. Сегодня была пятница, и Октавиен уже должен был срочно уехать в Лондон на важное совещание.

— Бедный Октавиен, ему пришлось поторопиться. Он едва успел поздороваться с тобой.

— Хм.

— Джон, с тобой все в порядке? Ты кажешься угнетенным. Барби сказала, что думает, ты заболел или что-то в этом роде. Ничего плохого не случилось за время моего отсутствия?

— Нет, ничего.

— Ничего, теперь я вернулась и пригляжу за тобой, и ты снова станешь толстеньким и веселым.

— Как Октавиен.

— Джон, Джон, ты какой-то сварливый сегодня!

Ты даже не спросил меня о Танжере. Все равно я тебе расскажу как-нибудь. О, какая чудесная погода! Я так люблю такие утра в Англии, когда стоит жара. Знаешь, чего мне не хватало в Африке, так это росы. Думаю, роса бывает и в Африке. Надо спросить у близнецов. Но все там такое *пыльное.* Чувствуешь, как роса обрызгивает ноги? Она такая прохладная. Но ты не чувствуешь, на тебе носки. Как ты можешь носить теплые шерстяные носки в такую погоду! Почему ты не надел сандалии? Октавиен в Африке все время ходил в сандалиях, от этого он казался моложе. Давай присядем здесь.

Она села, расправив свою юбку в красно-белую полоску. Джон чуть не сел на юбку и неловко отодвинул ее край в последний момент.

Лужайка заканчивалась зарослями спиреи, по кустам которой сейчас были рассыпаны огоньки клубнично-розовых соцветий. Отверстие в изгороди вело к скошенному лугу, сразу за которым начинался лес, а над ним было видно море, разлившееся по горизонту голубым и серебряным сиянием. Шумно жужжали пчелы. В пестрой зелени леса мелькали поющие птицы. Дьюкейн чихнул.

— Будь здоров! Надеюсь, это не из-за сена. Этот

чудесный запах навевает столько воспоминаний! О Джон, как я рада, что вернулась домой. Да и всякий любит возвращаться, правда? Я чувствую себя усталой, но это приятная усталость. Солнце утомляет, тебе не кажется? Посмотри, как я загорела. А Октавиен стал просто цвета кофе с ног до головы. Да, с ног до головы! Он носил там всю последнюю неделю феску и выглядел совсем как старший евнух в «Похищении из сераля». О Джон, у меня для тебя смешной подарок — очаровательная марокканская шляпа ручной работы, я хотела принести ее вниз.

— Как мило с твоей стороны.

— Я пока еще не успела ни с кем толком поговорить… Я надеюсь, здесь все в порядке? Ничего не случилось, да? Мне кажется, все немного нервные…

— Кто, например, показался тебе немного нервным?

— Ты, например.

— Не мы нервные, а просто ты расслабилась. Виноградные листья у тебя в волосах. Ты вся еще там — на Средиземном море. Среди олив и виноградников…

— Да, да. Но здесь тоже было солнечно.

— В моей конторе на Уайтхолле это не очень

заметно.

— Джон, не ребячься. Я думаю, тебе нужен отпуск. Я поговорю с Октавиеном об этом. Смотри-ка, кукушка. А за ней — другая.

Две похожие на соколов птицы выпорхнули из леса, а потом вернулись обратно, растворившись в густой зелени, пронизанной солнцем. Ку-ку, ку-ку.

— Сумасшедшие птицы, — сказала Кейт. — Они помешаны на сексе. Весь день гоняются друг за другом, и никаких обязательств. Как ты думаешь, они ночи тоже проводят вместе?

— Птицы спариваются днем, — ответил Дьюкейн. — Ночью они успокаиваются. В противоположность людям.

— Обожаю, когда ты разговариваешь таким педантичным тоном. И все-таки вы все здесь такие нервные. В чем дело? Я всех обойду и со всеми поговорю. Все кажутся несчастными. Я не могу этого допустить! Даже Мэри сегодня утром резко разговаривала с близнецами, так не похоже на нее. И у Полы какие-то странные глаза. Она совсем не обрадовалась, когда я передала ей письмо из Адена. И Барби в каком-то антиобщественном настроении и не хочет общаться ни с кем, кроме пони, а Пирс — просто невыносим.

Мэри рассказала мне удивительные вещи — о похищении Монроза.

— Пирс вел себя ужасно, — сказал Дьюкейн, — но сейчас исправился. — Он отшвырнул ботинком приставшее к подошве сено и чихнул опять.

— Ты говоришь, как школьный учитель. Я не собираюсь делать выговор Пирсу. Я думаю, что ты и Мэри и так уже сделали это. Мне кажется, Барби ведет себя плохо по отношению к нему. А еще и Тео. Я никогда не видела его таким угрюмым. Утром, когда мы поздоровались, он посмотрел на меня как на пустое место… Смотри, а вот и он, идет по тропинке. Спорим, что он сделает вид, что не замечает нас.

Проход в дальнем конце изгороди вел в садик при кухне, а дальше дорога шла вдоль боярышниковых кустов к лесу. Это была самая прямая дорога к морю. Тео шел по ней очень медленно, очень неуверенно.

— Тео! — закричал Дьюкейн. Его голос прозвучал властно и сердито.

Тео остановился и медленно повернулся к ним лицом. У него было отстраненное лицо, как у тех, кто, идя на эшафот, вдруг оборачивается, услышав свое имя в толпе.

— Тео! — закричала Кейт.

Тео посмотрел на них. Затем он слегка поднял руку, неловко покачав ею, будто она была парализована выше локтя. Рука его сделала вялый жест, который можно было истолковать как приветствие или как пожелание — идите вы к черту. Он продолжил свой медленный путь к морю.

— Бедный Тео, — сказала Кейт. — Я думаю, он расстроен из-за Мэри и Вилли.

— Ты считаешь, он думает, что теряет Вилли? Возможно. Я подозреваю, что единственный человек, с кем Тео поддерживает истинное общение, — это Вилли.

— Бог знает о чем они говорят между собою! Я так рада за Мэри и Вилли, это так *правильно.* Это, может быть, не брак по страсти, но они оба не очень страстные люди. Мне кажется, они оба мудры. И Мэри так мила.

— Она больше чем мила, — сказал Дьюкейн. — Вилли — счастливчик.

— Да. Он счастливчик, и я пойду и скажу ему это перед обедом. Это я хорошо придумала — свести их вместе. И это удержит их обоих здесь.

— Ты думаешь? — спросил Дьюкейн. — Я не удивлюсь, если они оба уедут.

— О нет, нет, нет. Что мы будем делать без Мэри? Кроме того, никто не должен уезжать. Вы все

мои дорогие… дети.

— Рабы.

— Какой ты вредный сегодня! Теперь нам остается только найти подходящего мужа для Полы. Он должен быть, конечно, ужасно интеллектуальным. Мы построим еще один домик. Мэри и Вилли будут жить в коттедже. Октавиен уже подумывал о постройке бунгало — туда подальше, в сторону кладбища, из дома его будет не видно. Но я бы хотела, чтобы мы все вместе жили под одной крышей. Ты знаешь, я раньше так боялась, что ты влюбишься в Полу. Она гораздо умнее меня. Я так нервничала!

— Я обожаю Полу, — сказал Дьюкейн. — Я уважаю и восхищаюсь ею. Да и разве возможно не восхищаться? Но…

— Что «но»?

— Она — не ты.

— Дорогой, ты сегодня красноречив. О, смотри, близнецы идут купаться. Близнецы! Я вам говорю! Найдите дядю Тео и постарайтесь взбодрить его, он только что ушел в лес.

Волоча купальные полотенца по слегка царапающейся траве лужайки, близнецы помахали руками и ушли, за ними мчался Минго, лаявший не «по-морскому», а «по-кроличьи».

— Вот два действительно радующие душу существа в нашем доме, — сказал Дьюкейн.

— Ты *суров* с нами! Да, близнецы — это супер, как сказала бы Барби. Грустно думать, что они вырастут и станут такими же утомительными, как Барби и Пирс.

— Сексуальными, ты имеешь в виду. Да. Мы утомительны.

– *Ты* утомительный. Давай я расскажу тебе о Танжере. Это было так странно — видеть всех этих женщин в чадрах! И они так по-разному носят свои чадры. Чадра — это что-то вроде килта. И не всегда это нравится. А какой там рынок…

— Я был в Танжере, — сказал Дьюкейн.

— О, тогда зачем я тебе рассказываю!

Кейт обожала уезжать и так же любила возвращаться. Она любила людей, окружавших ее, и чувствовала себя взволнованной. Возвращаясь, она ощущала, что они нуждаются в ней, что она нужна им, как маленькая искра, которая электрически соединит их. Она была счастлива, что по ней скучают, и благословляла первое мгновение по возвращении — когда видно, как все по тебе соскучились. Но на этот раз, как она уже поделилась с Джоном, что-то странно изменилось. Ее близкие выглядели занятыми своими делами,

настолько занятыми, что почти не выразили радости от встречи с ней и не носились вокруг нее с ликующими воплями. Она решила: я должна всех *обойти* и всем нанести визиты, поговорить с глазу на глаз со всеми, даже с Тео. Она чувствовала себя чем-то вроде лекаря. Эта мысль вернула ей хорошее настроение.

Не то чтобы она и до этого была в плохом настроении. Но с тех пор как кукушка разбудила ее около четырех утра, она ощущала себя не в своей тарелке. Позднее она приписала это ощущение присутствию Дьюкейна, состоянию его ума. То, что она называла их нервностью, она никак не могла применить к себе. И поэтому могла помочь им, находясь как бы вне этих беспокойных состояний. Но депрессия Джона, его стремление ощущать себя «ужасным» тревожили ее изнутри. Их отношения с Джоном на мгновение, только на мгновение, перестали быть прежними. Кейт удрученно думала, что она знает причину этой мгновенной дисгармонии. Она надеялась, что Джон все-таки не догадывается.

Кейт, без сомнения, хорошо провела две недели в Танжере. Она умолчала о том, что провела бóльшую часть этого времени в постели с Октавиеном. Жаркий климат всегда так действовал

на Октавиена. Она готова допустить, что и на нее тоже. После долгого обеда с обильными возлияниями они очень *спешили* обратно в свою комнату отеля каждый день. Октавиен просто умирал от нетерпения. Кейт забавляла мысль, что, если бы Дьюкейн узнал об этом, он бы не только ревновал, но был бы просто шокирован. Мы такие же плохие, как эти кукушки, думала она, разница только в том, что мы моногамны и поэтому все же хорошие, а они полигамны и потому плохие! Действительно, она была пухленькая, и загорелая, и здоровая, и энергичная, и расслабленная, и, как выразился Джон, вся в оливах, вине и Средиземном море. А вдруг Джон *догадался*? Должно быть, он страшно скучал по ней. А теперь, по ее возвращении, в момент электрического контакта между ними, он, возможно, особенно остро отталкивает от себя мысль о ее принадлежности другому и каким-то образом чувствует, что она наслаждается тем, что ею обладает другой. Он, наверно, почуял это, подумала она. Она задалась мыслью: почуял ли он буквально? Возможно ли это с научной точки зрения? Она должна спросить — нет, получить эту научную информацию от близнецов она не может.

Кейт вслух засмеялась.

— В чем дело? — спросил Дьюкейн.

Голос его прозвучал капризно.

— Ничего, ничего, я просто опять вспомнила о тех собаках. Не обращай внимания, их проделки не для твоих ушей. У меня для этого недостаточный словарь.

Дьюкейн казался нерасположенным беседовать о собаках. Он тер нос носовым платком, глядя в лес прямо перед собой. Оттуда опять выпорхнула сексуально озабоченная кукушка и косо боком пролетела мимо. Ку-ку, ку-ку.

Это время года ему совершенно не идет, думала Кейт. Зачем он так мучает свой несчастный нос, он уже совсем красный, а его глаза слезятся. Сейчас он не похож на герцога Веллингтонского. Но цвет лица, хотя и красновато-коричневатый, — приятный, а там, где выпирают кости, кожа бархатистая и сияющая. Кажется, он еще похудел. Это его красит. Какие жирные у него волосы, они похожи на хвосты черных крыс, это, наверно, от жары и пота. Бедный парень, он потеет. Зачем он надел эту нелепую фланелевую рубаху в такой день? Нужно подарить ему нейлоновую.

Мы потеряли общий язык. Я неловка с ним сегодня. Но это пройдет. Просто молчать вместе — это помогает. Я знала с самого начала, что это

труд. Мужчины так тупы, они не понимают, что надо трудиться ради любви. Если что-то разлаживается, они злятся и сразу впадают в отчаянье. Не стоит целовать его сейчас. Он не хочет меня, сказала она себе, в *этот момент* он не хочет меня. Но кто может знать? Потом она подумала: и я не хочу его. Но эта туча между нами пройдет. Мы должны заново привыкнуть друг к другу. Не нужно суетиться и давить на него. Нужно предоставить его на время самому себе и просто ждать.

Вслух она сказала:

— Джон, ты не возражаешь, если я просмотрю письма, не случилось ли чего ужасного? Их всегда набирается такая груда, когда возвращаешься из отпуска, это прямо целый хор. Я взяла их с собой в корзинке, и, если ты не возражаешь, я разберу их сейчас. Оставайся, если хочешь, или лучше прогуляйся к морю. Может быть, ты встретишь там Барби, она как раз скоро поедет назад с прогулки.

Кейт перевернула испанскую корзинку и вывалила письма на сухие бледно-желтые связки сена. Она склонилась над ними и начала разглядывать их и раскладывать в разные стороны.

Дьюкейн, внезапно заинтересовавшись, тоже

наклонился, проверяя письма. Затем, слегка присвистнув, он протянул длинную руку и схватил письмо в коричневом конверте, лежавшее наверху пачки. Щупая письмо, он повернулся лицом к Кейт, щуря глаза от солнца. Он насупился, и лицо его стало выглядеть еще более худым и костистым, как деревянный тотем, обмазанный маслом.

Кейт почувствовала внезапное легкое беспокойство. Он выглядел таким строгим, и первая мысль ее была: он ревнует кого-то. Кого бы это? Он узнал чей-то почерк. Кейт, бывшая в пылких отношениях со многими мужчинами, предпочитала, чтобы ее друзья не знали друг о друге. Однако надпись на конверте, сделанная рукой явно необразованного человека, казалась ей незнакомой.

— Что это? — спросила она игриво. — Ты украл мою почту! — Она протянула руку, но Дьюкейн отстранился. — Что это такое, Джон?

— Можешь сделать мне большое одолжение? — спросил Дьюкейн.

— Какое? Скажи — какое?

— Не читай это письмо.

Кейт с удивлением посмотрела на него:

— Почему?

— Потому что оно содержит нечто неприятное, что, мне кажется, тебе знать не нужно.

— Какого рода — неприятное?

— Это касается меня и еще одного человека. Все это принадлежит целиком прошлому. Один мерзавец написал тебе об этом. Но совершенно нет смысла читать это письмо. Я сам расскажу тебе об этой истории когда-нибудь потом, а если хочешь, то и сейчас.

Кейт повернулась, и их колени соприкоснулись. Кайма ее платья задела сено. Она не знала, что и думать. Она была немного встревожена строгостью Дьюкейна, хотя почувствовала облегчение. То, о чем говорилось в письме, касалось его, а не ее, подумала она. Может быть, кто-то написал мне о том, что он гомосексуалист. Он, наверно, не понимает, что мне это безразлично. Она почувствовала страшное любопытство.

— Но если оно касается прошлого и того, о чем ты сам готов рассказать, то почему бы мне не прочесть его? Что в этом плохого?

— Лучше избежать соприкосновения со злом. По-настоящему дурное письмо надо прочесть и уничтожить, а лучше всего вообще не читать. Такие вещи вкрадываются в сознание. Не нужно иметь ничего общего с ненавистью и подозри-

тельностью. Пожалуйста, позволь мне разорвать это письмо, Кейт, *пожалуйста.*

— Не понимаю, — ответила Кейт. — Что бы ни говорилось в этом письме, это не может испортить мое отношение к тебе. Как мало ты мне доверяешь! Ничто не может уменьшить мою любовь к тебе. Ты это, конечно, сам знаешь.

— Все равно это произведет впечатление, — сказал Дьюкейн, — чувственное впечатление. Тебе будет трудно это позабыть. Такие вещи вредоносны, они отравляют, какова бы ни была любовь. Я виноват, Кейт. Лучше я сам, по-своему, объясню тебе все. Тогда ты поймешь.

— Нет, не пойму, — сказала Кейт. Она наклонилась вперед, и их колени соприкоснулись. — Не понимаю, что значит «чувственное впечатление». Лучше уж я сама прочту. Иначе я буду без конца думать, о чем оно. Дай мне его.

— Нет.

Кейт чуть отстранилась и засмеялась:

— Неужели ты думаешь, можно победить женское любопытство?

— Я прошу тебя стать выше женского любопытства.

— Дорогой мой, какие мы сегодня правильные! Джон, образумься! Я умираю от желания узнать,

что там такое. Это не повредит моей любви. Я люблю тебя, осел!

— Я расскажу тебе, о чем оно. Я просто не хочу, чтобы ты прикасалась к этой мерзости.

— Я не такая уж слабая! — сказала Кейт. Она выхватила письмо и встала, потом отошла с ним за садовую скамейку.

Дьюкейн мрачно смотрел на нее, а потом наклонился и закрыл лицо руками. Он замер в этой позе, выражавшей отчаянье и отстраненность.

Кейт вдруг очень заволновалась. Она колебалась, держа письмо в руках, но ее любопытство оказалось сильнее. Она открыла его.

Внутри было два вложения. На первом было написано:

Дорогая мадам.

Зная Ваши нежные чувства к мистеру Джону Дьюкейну, предполагаю, Вам будет интересно познакомиться со следующим письмом.

Преданный Вам

Доброжелатель

Внутри лежал еще конверт, адресованный Дьюкейну, Кейт вытащила письмо:

Мой любимый, мой любимый, мой Джон, это мое обычное ежедневное послание, в котором я хочу сказать, что люблю тебя до самозабвения. Ты был таким бесконечно милым вчера, после того как я была такая ужасная, и ты знаешь, как я невыразимо благодарна тебе за то, что ты остался. Я лежала потом на постели целый час и плакала – от благодарности. Разве мы сможем спрятаться от нашей любви? Хочу уверять тебя в моей любви каждый день. Конечно, у нас есть будущее.

Твоя, твоя, твоя Джессика

Кейт посмотрела на дату. Она была потрясена, как будто ее ударили в живот со всего размаху чем-то тяжелым. Она схватилась за спинку скамейки, сделала движение, будто хочет сесть, но потом отошла и села на траву, закрыв лицо руками.

— Ну? — спросил Дьюкейн спустя некоторое время.

Кейт ответила слабым голосом:

— Теперь я понимаю, что ты имел в виду под «чувственным впечатлением».

— Прости, — сказал Дьюкейн. Он казался спокойным теперь, разве только очень усталым. — Мне особенно нечего больше сказать. Ты была уверена, что оно не может повредить нашим отношениям, и могу только надеяться, что так оно и есть.

— Но ты сказал, что это относится к прошлому…

— И это верно. У меня нет сейчас романа с этой девушкой, хотя, по письму судя, можно подумать, что он еще существует. Я перестал быть ее любовником два года назад, но имел глупость продолжать видеться с ней.

Кейт сказала не своим голосом:

— Но, разумеется, ты можешь видеться с кем хочешь. Ты знаешь, что я тебя ничем не связываю. И как бы я могла? Я только немного удивлена, что ты вроде как… ввел меня в заблуждение…

— Лгал тебе. Да. — Дьюкейн встал. Он сказал: — Думаю, мне лучше сейчас уйти. Ты должна переварить это, Кейт, если сможешь. Я вел себя неверно и в каком-то смысле обманывал тебя. Я имею в виду, что утверждал, будто я ни с кем не связан, а это письмо говорит о том, что это не так. Я виноват.

— Ты не вернешься сейчас в Лондон?

— Нет, не думаю.

— О Джон, что же происходит?

— Ничего, пожалуй.

— Можешь ты наконец объясниться?

— Я устал от объяснений, Кейт. Я устал от себя самого.

Он быстро ушел, пройдя через отверстие в изгороди.

Стоя на коленях, Кейт медленно собирала рассыпанные письма и складывала их обратно в испанскую корзинку. Слезы текли с ее залитых солнцем щек на сено. Птица в лесу неуверенно и гулко крикнула: ку-ку, ку-ку.

31

— Сегодня будет представление, — объявил Пирс всем, кто слышал его.

Воскресный обед закончился. Дьюкейн, Мэри и Тео сидели за столом и курили. Кейт и Октавиен, тихо о чем-то говоря, сели на софу. Пола и близнецы ушли на лужайку, где близнецы сейчас играли в «Бобровый городок». Барбара сидела у окна, читая «Сельскую жизнь». Пирс в балетной позе стоял у кухонной двери.

— Что за представление? — спросила Мэри.

— Страшное и ужасное.

Барбара не отрывалась от чтения.

— Ты уже сделал нечто страшное и ужасное, — сказал Дьюкейн. — Думаю, ты доволен началом своей преступной карьеры.

— Страшное — для тебя или для кого-то еще? — спросил Тео заинтересованно.

— Подождите, и все увидите.

— О, как ты *надоедлив,* — сказала Барбара.

Она отшвырнула журнал и выбежала на переднюю лужайку. Через минуту она уже смеялась вместе с близнецами.

Пирс сел у окна и сделал вид, что читает «Сельскую жизнь». Он покраснел, и казалось, он сейчас расплачется. Трое за столом быстро заговорили о чем-то. Через минуту Мэри встала и что-то тихо сказала Пирсу, так что никто не слышал, и он покачал головой. Она вышла в кухню. Дьюкейн отложил сигарету и последовал за ней. Ему было невыносимо тяжело находиться рядом с Кейт и Октавиеном.

— Могу я вам помочь, Мэри? Вы ведь не собираетесь мыть посуду?

— Нет, Кейзи помоет. Она сейчас пошла в огород посмотреть, нет ли артишоков к ужину. В этом году все быстро созревает. Я собираюсь отнести немного малины Вилли.

— Можно я с вами?

— Да, конечно.

Она не хочет, чтобы я шел с ней, подумал он. Что ж, я только дойду до коттеджа. Куда мне деваться?

Темный бархатный запах малины повис над кухонным столом. Мэри накрыла корзину белой салфеткой, они вышли через заднюю дверь и пошли по каменистой дорожке почти по границе травы. Было очень жарко. Большие оранжевые мохнатые пчелы трудолюбиво шумели над цвет-

ками львиного зева. Стайка щеглов, искавшая семена у подножия кирпичной стены, вспорхнула, ища убежища в широких светлых листьях катальпы.

— Только посмотрите, сколько сорняков! Видно, садовник в отпуске. Нужно мне самой прополоть. Кейзи это ненавидит.

— Я прополю.

— Не говорите глупостей, Джон. Вы здесь на отдыхе. Кейт упадет в обморок, если увидит вас за прополкой. А вам не жарко в этой рубахе?

— Нет, мне нравятся потные ванны.

— Я бы хотела, чтобы вы поговорили с Пирсом.

— Вы имеете в виду?...

— Скажите ему, чтобы он прикусил язык. Он только раздражает Барбару и всех нас. Я знаю, это трудно, но он должен понять, как обстоит дело, и смириться. Я уговариваю его уехать и погостить немного у Пембер-Смитов. У них даже есть яхта!

— Если вы не можете уговорить, мне это вряд ли удастся.

— Я не авторитет для него, а вы — авторитет. Вы должны строго поговорить с ним. С тех пор как вы ударили его, он стал обожать вас! Я вам говорила, что так будет.

— Ладно, я попробую.

— Слава богу. И хорошо бы с Полой вы тоже поговорили. Она *чем-то* ужасно потрясена, и она не хочет мне рассказать, в чем дело, хотя я настойчиво расспрашивала ее, а вам она расскажет. Она вас ужасно любит, и у нее вы тоже пользуетесь авторитетом, да и у всех нас. Попробуйте поговорить с ней серьезно, в чем же все-таки дело.

— Я ее очень люблю, — сказал Дьюкейн. — Думаю, что я…

— Хорошо. И не принимайте отказа. Вы великолепны, Джон. Я на вас абсолютно полагаюсь. Не знаю, что бы мы делали без вас.

— О господи, — прошептал Дьюкейн.

Письмо Джессики произвело неожиданный эффект — оно по-новому сплотило Кейт и Октавиена, по-новому, по крайней мере, для Дьюкейна. Он никогда не ревновал ее физически к Октавиену, а сейчас начал. Он не сомневался, что она рассказала о его неверности и что они обсуждали это. Конечно, Октавиен отмолчался. Он расхаживал по дому, загадочно улыбаясь, и еще больше напоминал толстого золотого Будду. Кейт избегала оставаться с Дьюкейном наедине. У него было впечатление, что она запуталась в своих чувствах. Возможно, она бы обрадовалась его попытке, отчаянной попытке объяснить,

объясниться, закутать паутиной слов и эмоций эту несчастную новость. Но Дьюкейн не мог ни решиться уехать в Лондон, ни поговорить с Кейт. Он чувствовал, что не должен объясняться с ней, но не понимал почему. Он знал, что его нежелание объясняться сейчас, как и неспособность объясниться сразу, делало эту историю с письмом более серьезной и мрачной, чем она была на самом деле.

Но ведь она действительно была угнетающей и серьезной? Он старался преуменьшить значение своей связи с Джессикой, тщательно обуздывая свои чувства, но в то же время позволяя Джессике жить в мире своих фантастических желаний. Легко теперь считать это неправильным. Почувствовав в письме Джессики сильное чувство собственницы, Кейт была близка к истине. И если у Кейт создалось впечатление, что он и Джессика все еще любовники, фактически любовники, это не было целиком неверным впечатлением.

Когда Макграт позвонил Дьюкейну на работу, Дьюкейн, разумеется, послал его к черту. Их разговор длился сорок минут. Дьюкейн безнадежно пытался связаться с Джессикой. Он звонил ей десять раз, посылал записки и телеграмму с просьбой позвонить ему. Он даже забегал к ней

три раза, но она не откликнулась на звонок. И это та самая Джессика, с неожиданной болью подумал он, которая постоянно сидела дома, ожидая его письма или звонка. Когда он отошел от ее двери, он испытал нечто похожее на возрождение любви. После третьего телефонного звонка он не сомневался, что она стала первым адресатом Макграта, что на нее первую обрушился этот злоумышленник, и он испугался — не покончила ли она с собой. Образ Джессики, простертой на постели, побелевшей, с окостеневшей рукой, свешивающейся с кровати, мерещился ему за закрытой дверью и преследовал его во сне. Однако, подумав, он решил, что этого произойти не могло. В ее любви всегда таилась крупица нетерпимости. Спасительный эгоизм мог заставить ее ненавидеть его теперь. Это была грустная мысль.

Но все его мысли о Джессике были какими-то бесцветными. Он лишь с огромным трудом мог ясно представить ее. Она как будто перестала быть человеком, а превратилась в какую-то болезнь, овладевавшую им. Совершенно по-иному Дьюкейн думал о Джуди Макграт. Он помнил сцену в своей спальне с галлюцинаторной живостью, она присутствовала в его сознании всегда, постоянно парила над ним, как ослепительный

ромб, символизирующий присутствие Троицы в глазах обезумевшего святого. Он жалел, что не переспал с ней. Это было бы честным поступком — судило что-то внутри него, но что-то другое в нем шептало, что это странное мнение неверно. Только начни фальшивить, и все твои построения вмиг станут ложными. Только допусти это, допусти то, и сразу совокупление с Джуди покажется вполне нормальным действием. У зла своя логика, и Дьюкейн чувствовал, что поддается ей. Но прекрасное распростершееся тело Джуди — ее абрикосовость, ее шелковистость, ее весомость — продолжало зачаровывать его с мучительной неизбежностью.

И все это со мной происходит тогда, думал Дьюкейн, именно тогда, когда ум мой ослаблен и я совсем запутался, когда я призван быть судьей другому человеку. Он и о Биране думал постоянно, как будто призрачный Биран всегда был с ним, прозрачный и совсем близкий. Призрак не обвинял его, просто невесомо присутствовал, перемещаясь чуть влево или вправо, становясь порой чем-то вроде *alter ego*[18]. Дьюкейн не знал, как избавиться от Бирана. Мысль, что он должен

---

[18] Примечания: 18
Второе «я» *(лат.).*

наказать его, испортить его карьеру, навлечь на него отчаянье и бесчестие, была так ужасна, что Дьюкейн почти физическим движением отталкивал ее. Но альтернативы не было, и Дьюкейн знал это: он должен стать холодной судейской машиной, и это — единственное, что важно и несомненно. Исповедь Рэдичи невозможно скрыть. Она давала разгадку, ясную и очевидную, всей этой таинственной истории, которую Дьюкейн наконец нашел. В любом случае, и даже независимо от расследования, убийство нельзя скрывать, и простой обязанностью его было не скрывать его. Решив это для себя, Дьюкейн смог хладнокровно оценить опасность, которая угрожала бы ему в случае сокрытия. Дьюкейн не обязан заботиться о преступных секретах, а тем более разделять их с таким человеком, как Биран, который был ему несимпатичен и которому он не доверял. И, кроме того, он ощущал еще и призрачное присутствие Макграта, он мог знать больше, чем Биран воображал. Дьюкейн знал, что если потом выплывет тот факт, что он утаил важный документ, то он погиб.

— С вами все в порядке, Джон?

Они молча шли по тропинке. Пахучие сорняки распространяли вокруг причудливый запах.

Ворон с поднятым хвостом сопровождал их, пробираясь через коричневую темноту изгороди.

— Я в порядке, — сказал Дьюкейн не совсем своим голосом. — Просто мне снились плохие сны.

— Вы имеете в виду настоящие сны или свои мысли?

— И то и другое.

Дьюкейну снилось в прошлую ночь, что он убил женщину, но не мог понять, кто она, он пытался спрятать тело под грудой мертвых голубей, когда был внезапно застигнут стремительно вошедшим человеком. Этим человеком был Биран.

— Расскажите мне о них, — попросила Мэри.

Почему я должен все время всем помогать, подумал Дьюкейн, а сам не могу принять помощи? Я хочу, чтобы кто-нибудь помог мне. Я бы хотел, чтобы Мэри могла мне помочь. Он сказал:

— Это все чужие тайны.

— Присядем здесь на минутку.

Они дошли до леса. Мэри села на ствол поваленного дерева, Дьюкейн — рядом с ней. Он постучал ногой по грибам пергаментного цвета, волнами растущим на влажном боку ствола. Нежная коричневая подкладка грибов, собранная в складки, как девичье платье, рассыпалась по сухим листьям. Пара щеглов задумчиво копалась в ма-

леньких джунглях коровьей петрушки и дягиля.

— Вы поссорились с Кейт? — спросила Мэри.

Она не смотрела на него. Она поставила корзину на землю и, глядя на нее, качала ее ногой, обутой в коричневую сандалию.

Она наблюдательна, подумал он. Впрочем, это очевидно.

— Да. Но не всерьез, совсем нет.

— Кейт найдет способ помириться, вы знаете, она всегда все исправляет. Она вас так любит! А в чем еще дело?

— Я должен что-то решить, это касается одного человека.

— Девушки?

Ее вопрос слегка удивил его.

— Нет, мужчины. Это довольно серьезное решение, оно определит всю жизнь этого человека, а я чувствую, что недостоин решать его судьбу, я сам чувствую себя никуда не годным и аморальным.

— «Никуда не годным и аморальным». — Мэри повторила эту странную фразу, как будто она абсолютно точно поняла ее смысл. — Но вы ведь знаете механику принятия решений?

— Да, я умею принимать решения.

— Может быть, лучше подумать о самом решении, а не о себе? Пусть сама механика действует,

и не важно, какой вы.

— Вы совершенно правы, — сказал он. Он чувствовал себя в присутствии Мэри необыкновенно спокойным. Странно, но он обрадовался, что она не протестовала против его самоуничижительных реплик, а дала правильный совет. Она каким-то образом убедила его в существовании вечной моральной основы. Она, думал он, подчиняется тем же законам, что и он. Он обнаружил вдруг, что подобрал край ее платья и ощупывает его. Она надела в тот день лиловое платье из крепа. Щупая материю, он подумал вдруг о красно-полосатом платье Кейт и о платье Джуди с голубыми и зелеными цветами. Дамы и их наряды.

Он быстро сказал, бросив край платья:

— Мэри, вы не будете возражать, если я скажу, как я рад за вас и за Вилли.

— Но ничего не решено пока. Вы же знаете.

— Да. Я знаю. Но все равно рад. Передайте Вилли привет. Я не хочу вас больше задерживать и думаю, мне не стоит идти с вами.

— Хорошо. Вы поговорите с Полой, ладно? И с Пирсом?

— Да. Прямо сейчас. Кого первым встречу, с тем и поговорю!

Они встали. Мэри, откинув волосы, повернула к нему свою узкую русую голову. В горячей пестрой тени глаза ее казались туманными. Они неловко постояли так несколько мгновений и потом, махнув на прощанье друг другу рукой, разошлись.

32

— Что ты там делаешь, Мэри?

— Мою посуду, Вилли.

— Не надо, я сам займусь этим попозже. Лучше поговори со мной.

— Я переложила малину в кувшин и посыпала сахаром. Мы можем съесть ее за чаем.

— Можем…

Есть вместе с ним еще было непривычным делом, незаурядным событием, как пикник, как евхаристия. Жара в комнате создала своего рода приятную бархатную тишину, в которой человек не шел, а плыл.

Вилли вытянулся в кресле рядом с очагом, рубашка его была расстегнута, обнажая седую поросль на груди, казавшуюся косматой майкой. Он почесывал ее. Мэри поставила стул между ним и столом и села, положив руку ему на плечо. Это не было лаской. Скорей, так прикасаются к любимому, но неодушевленному предмету, к рулю машины например.

— Пола придет читать «Энеиду»? Я так рада, что ты ее уговорил.

— Нет, сегодня она взяла выходной.

— Вы уже много прочли?

— Читаем шестую книгу.

— О чем она?

— Эней спускается в подземный мир.

— А что он там делает?

— Он встретил там тень своего кормчего Палинура. Палинур заснул и упал в море с кормы корабля и утонул. Так как его тело не предано земле, Харон не хочет перевозить его через Стикс. Но Эней говорит, что люди из той местности, рядом с которой он утонул, возвели ему гробницу и основали его культ, и вся область носит теперь его имя. Эти новости обрадовали бедного парня больше всего на свете!

Сердце Мэри сжалось от песенного речитатива Вилли. Она спросила:

— Как ты думаешь, каждый должен спускаться порой в нижний мир?

— Ты имеешь в виду — в поисках мудрости?

— Да.

— Конечно нет. Там темно, нечем дышать, и скорей там можно испугаться до смерти, чем научиться чему-нибудь. Пусть классная комната жизни будет светлой и проветренной!

Мэри вспомнила визг тормозов и ужасный

крик. Она должна рассказать об этом Вилли, раз она уже рассказала Джону. Теперь надо рассказать и Вилли. Но только от этого ей легче не станет, как стало легче тогда. И она знала, что сегодня она неуклюжа и неловка.

Она сказала:

— А ты научился там чему-нибудь?

— В Дахау? Конечно. Я научился, как согреваться трением об стену, как становиться почти невидимым во время обхода, как иметь долгие-долгие сексуальные фантазии…

— Извини, я дурочка.

— Нет, что ты, моя дорогая. Но просто лишь немногие инициации носят искупительный характер, и я сомневаюсь, что спуск в ад может чему-нибудь научить. Он только ускоряет уже существующий процесс и обычно означает деградацию. Видишь ли, в аду не хватает энергии, чтобы изменить что-то. Вот в чем смысл ада.

— Я думаю, по крайней мере, человек там узнаёт, кто он такой на самом деле.

— Даже не это. В конце концов, что такое человек? Мы — тени, Мэри, тени.

— Я уверена, что ты там не деградировал.

— Перестань, перестань, это неподходящие разговоры для славной девушки в такой славный

день.

— Вилли, ты займешься со мной немецким — позже?

— Если хочешь, дитя мое. Но зачем тебе немецкий? Он не так уж важен. Почти все важнее изучения немецкого.

— Но я бы хотела все делить с тобой, — сказала она, — твои воспоминания, твой язык, твою музыку, твою работу. И не могу. Я всего лишь, всего лишь женщина.

— Женщина, но это значит много.

— Нет, не много.

Она встала и подошла к окну. Подоконник запылился, и мертвая муха висела на паутине, свешиваясь с рамы. Мэри подумала: надо бы прибраться. Швейцарский бинокль, его серый кожаный футляр тоже запылились. Мэри рассеянно взяла его в руки. Сквозь магическое стекло она увидела край моря, маленькие волны с белыми завитками, разливающиеся среди камней. Потом она увидела две большие сгорбившиеся фигуры. Это были Дьюкейн и Пола, они сидели у воды и были явно увлечены своим разговором. Мэри раздраженно отложила бинокль.

— Мэри.

— Да, Вилли.

— Иди сюда.

Она вернулась, смутная, напряженная, и погрузила свои пальцы в его серебряную шевелюру.

— Мэри, я никогда не смогу жениться на тебе, я никогда не смогу жениться ни на ком.

Пальцы Мэри замерли. Потом она провела ими назад по волосам, ощутив легкую испарину его головы.

— Все хорошо, Вилли.

— Прости меня, моя дорогая.

— Все хорошо, я жалею, что встревожила тебя.

— Нет, ты не встревожила меня. Ты сделала мне много добра. Ты оживила меня.

— Я рада…

— Я теперь так много ем. Скоро я буду толстым, как Октавиен.

— Я рада. Я бы хотела, чтобы Кейт не болтала о нас так много.

— Она перестанет. Все будет как прежде.

— Тео будет счастлив. Он-то думал, что потерял тебя.

— Тео — осел.

— Все будет как прежде между нами.

Она погладила его лоб, глядя через его голову на книжные полки. Она не хочет, чтобы все было как раньше. Она хочет великих перемен в своей

жизни. Вдруг, как большой медведь, внутри нее поднялась сильная темная боль.

— Мэри, я тебя люблю. Я не хочу тебя ранить.

— Но я все равно ранена… — сказала она.

— Приободрись. Я ничего не могу дать тебе, кроме любви, малышка. Это единственная вещь, которой у меня много, малышка.

— Ладно, Вилли. Я виновата, что испортила то, что было. Я была дурой.

— Ты — божественная дурочка, и ты ничего не испортила.

— Это лето тянется бесконечно. Хоть бы оно уже кончилось! Прости, я говорю ерунду.

— Тебе нужен отдых.

— Да. Мне нужен отдых.

— Я думаю уехать отсюда, может быть в Лондон.

— Правильно.

«Что же случилось?» — думала Мэри. Она отошла от него с чувством ужаса, ощущая себя частью тела, отделенной от него — легко, неслышно, как во сне. Она знала, что радость, которую она от него получала, — странная радость, имеющая свою цель, — исчезла. Драгоценные, двусмысленные возможности останутся для нее недостижимыми.

— Что такое?

— Мне так грустно, Вилли, так ужасно грустно.

Слезы хлынули из ее глаз, затопив лицо, как внезапный ливень. Желая их скрыть, она отошла к окну и опять взяла бинокль, утерев глаза. Она невидящими глазами смотрела в яркий круг света. Но через минуту она прижала бинокль покрепче к глазам.

— Вилли, там происходит что-то совершенно необычное!

33

— Пола.

— О, привет, Джон.

— Можно я пройдусь с вами?

— Да, конечно.

— Где близнецы?

— Плавают с Барби. Вон они там.

Три головы болтались в спокойном море, на которое полдневное солнце бросило золотистую дымку. Двое местных в сопровождении спаниеля с шумом ступали по гальке. Монроз, как пушистый шар, лежал на волнорезе, сощурив глаза и недоброжелательно наблюдая за спаниелем. Вдали Пирс и Минго стояли на кромке воды.

— Присядем?

Они сели на горячие камни. Пола натянула желтое платье на колени. Рука Дьюкейна инстинктивно копалась в камешках, выискивая те, что попрохладнее, лежавшие в самом низу.

— Вы не возражаете? — Он снял пиджак.

— Странно, что галька никогда не бывает совершенной сферической формы, — сказала Пола очень отчетливо, интонацией напоминая своих

детей. Она изучала пеструю лиловатую гальку, а потом швырнула ее в море.

Он сейчас в Красном море, подумала она, плывет на север. Огромный, длинный Эрик, состоявший только из головы и лица, медленно рассекал воду, переплывая спокойное, несопротивляющееся море. Я должна полностью расслабиться, думала она. У меня не должно быть ни воли, ни своих намерений. Я должна просто *претерпеть* его.

Я встречу его в Лондоне, думала она. Захочет ли он спать с ней? Как это будет? Может быть, лучше встретиться с ним здесь? Но она не могла перенести мысли о том, что он окажется рядом с близнецами. Я должна быть разумной, думала она, разумной.

— Пола…

— Простите. Вы что-то сказали?

— В чем дело, Пола? И не говорите, что ни в чем. Вы тихо сходите с ума из-за чего-то.

— Не важно.

— Ну, ну, Пола. Всем это заметно. Скажите мне, в чем дело. Вдруг я сумею помочь.

Итак, всем это заметно.

— Вы не сможете, Джон. Я одинока, как лунатик.

— Пола, вы расскажете мне.

Она смутно подумала: рассказать? Она вытащила другой камешек в форме несовершенного шара и кинула его вслед за первым.

— Пола, пожалуйста, моя дорогая…

— Если бы я только могла рассказать об этом полностью хладнокровно и объективно, — сказала она сама себе вслух.

— Да. Да, давайте, вы сможете. В чем дело? Просто скажите мне, что вас тревожит, начните.

— Это касается парня по имени Эрик Сирз.

— Кто он?

— Мой бывший любовник.

— О!

— Вы, наверно, думаете, как и все, что это я ушла от Ричарда. Нет, я не уходила. Ричард развелся со мной из-за моего романа с Эриком.

— Вы любили Эрика?

— Должно быть.

— Вы любите Эрика?

— Нет, не думаю.

— Вы видитесь с ним?

— Я собираюсь. Он возвращается из Австралии, чтобы встретиться со мной, чтобы вернуть меня.

— Только вы сами можете захотеть вернуться.

— Это несколько более сложно…

— Вас с ним что-то связывает?

— Да.

— Ребенок?

— Нет, нет. Это так ужасно. Я не могу рассказать.

— Но вы же рассказываете.

— Вот так все случилось с Ричардом.

— Мне кажется, у самого Ричарда было много интрижек до того, как Эрик появился на сцене?

— Да. Ричард изменял мне. Но это не извиняет моей неверности. И даже не объясняет ее. Я просто на время обезумела.

— Какой он — Эрик? Чем занимается?

— Он керамист. Большой блондин с бородой. По крайней мере, у него есть борода. Он — демон.

— Как это все случилось с Ричардом?

Пола глубоко вздохнула. Она почувствовала, как ее лицо уменьшилось, как будто порыв ветра уносил ее плоть куда-то. Она сказала:

— Они подрались…

Пола осознала огромную тишину всего вокруг. Солнце светило в чистую тихую воду, делая видимым каменистое дно. Очень далеко галька хрустела под чьими-то ногами. Прожужжал, спускаясь, аэроплан. На горизонте плескались купающиеся дети, их голоса почти полностью

растворялись в зное, который навис над морем, как балдахин.

— Что же случилось? — сказал голос Дьюкейна очень, очень мягко.

— Это все случилось так неожиданно, — сказала она. — Это произошло у нас дома, в бильярдной. Вы знаете, нет, наверно, вы не знаете, у нас дома в Челси есть бильярдная в пристройке за домом. Ричард иногда играл. Там есть дверь, ведущая в сад. Однажды вечером Ричард объявил вдруг, что уезжает в Париж по делам. Думаю, он сказал это, чтобы поймать меня в ловушку. Конечно, я говорила ему об Эрике. Я рассказала о нем сразу же — холодно и равнодушно, и он был равнодушен, это его не волновало. Я совершенно не представляла, что он может ревновать. Я даже подумала, что он испытал некоторое облегчение. Эрик пришел ко мне тем вечером. Это было глупо с моей стороны, но он очень настаивал. Он никогда не был у нас прежде. Наверно, ему просто интересно было взглянуть на дом Ричарда. Мы разговаривали в холле. Кажется, мы собирались как раз уходить и перебраться к Эрику. Потом вдруг мы поняли, что Ричард вошел из сада в бильярдную, что он стоит в темноте и слушает. Как только я услышала шум, я поняла, что случилось, и зажгла

свет. Эрик и Ричард раньше не встречались. Мы втроем стояли в бильярдной, и Эрик вдруг начал произносить что-то вроде речи. Он, желая выйти из положения, хотел было протянуть руку. Но только поднял ее. И тут Ричард просто прыгнул на него. Эрик — крупный мужчина, но Ричард служил в десанте, и он умел драться, а Эрик — нет. Он ударил Эрика по шее, и, кажется, тот был оглушен. А потом, бог знает как, это было все так быстро, он швырнул Эрика к стене и перевернул на него бильярдный стол.

— Господи! — тихо сказал Дьюкейн.

— Вы знаете, сколько весит бильярдный стол, — сказала Пола. Она говорила каким-то педантичным голосом. Ее взгляд сосредоточился на каком-то камешке под водой. — Стол упал боком на ногу Эрика, а столешница распластала его по стене. Он начал вопить. Мы с Ричардом пытались поставить стол на место. Это была необыкновенная сцена. Мы не сказали ни слова друг другу, а просто тащили стол на себя с разных сторон. Эрик продолжал визжать. Затем стол удалось оттащить немного от Эрика, он потерял сознание, а Ричард вынес его на воздух. Он практически потерял сознание от боли. Я позвонила в скорую помощь.

Пола замолчала.

— Что же произошло потом? — спросил Дьюкейн тем же почти шепчущим голосом.

— Я поехала с ним в больницу. Ричарда в следующий раз я увидела уже только на бракоразводном процессе.

— Эрик сильно пострадал?

— Не было серьезных повреждений внутренних органов, — сказала Пола своим педантичным голосом. — Но одна нога была совершенно раздавлена. Ее пришлось ампутировать. — Она добавила: — Мы сказали, конечно, что это был несчастный случай.

После паузы Дьюкейн сказал:

— Понимаю. А что потом?

— Что ж, потом я оставила и Эрика тоже. Я не могла вернуться к Ричарду, это мне даже в голову не приходило, и потом он же сам написал мне о разводе сразу на следующий день. Я думаю, ему так же трудно было вынести все это, как и мне. И я не могла оставаться с Эриком. То, что он стал калекой по вине Ричарда, сразу убило все. Я почти возненавидела его, и ему было также неприятно видеть меня. Все это некоторое время казалось невозможным осознать и пережить. Я дала Эрику уйти, и он ушел как-то автоматически. Я продол-

жала видеться с ним, но это было похоже, как если бы мы играли роли в какой-то кошмарной пьесе. А потом он известил меня, что уезжает в Австралию. Мы оба были наконец свободны.

— А потом?...

— А потом он написал оттуда, что он встретил на корабле совершенно чудесную девушку и собирается на ней жениться. Я почувствовала большое облегчение. Потом я о нем ничего не знала, но вот примерно четыре недели назад я получила письмо. Он пишет, что так и не женился, и что только я одна нужна ему в этом мире, и что он возвращается. Его корабль прибывает на следующей неделе.

— Вы боитесь его, — сказал Дьюкейн.

— Да, я всегда боялась его немного. Смешно, я никогда не боялась Ричарда, хотя в Ричарде склонность к насилию явно больше.

— Вы сказали, что Эрик — демон.

— Да. Это странно, потому что он кажется просто нелепым. Сначала я так и смотрела на него, как на абсурдного человека, что-то вроде переигрывающего актера. Но в нем есть, в буквальном смысле слова, магнетизм, животная сила, которой может обладать только глупый человек. Не то чтобы Эрик был глуп, просто это

не имеет ничего общего с умом, по крайней мере с разумностью. Это почти физическое свойство. Возможно, оно-то и привлекло меня. Эрик был первозданен — как земля, как море. Для меня он всегда ассоциировался с морем.

— Вы совсем не хотите видеть его?

— Нет. Но я должна. Я должна… претерпеть это опять.

— Могу понять, — сказал Дьюкейн, тщательно выбирая слова, — что вам кажется, что вы будто должны ему что-то. Это как союз по расчету…

— Вот именно. Как союз на крови. Я думаю, ему кажется, что над ним нависли чары, которые одна я способна расколдовать. Его жизнь превратилась в кошмар, и я одна могу освободить его от этого. Вот почему я должна увидеть его, и увидеть наедине.

— Вы действительно верите, что можете помочь ему, зная, что не любите его? Или вы думаете, что сможете опять полюбить его?

— Нет! Не знаю, смогу ли я помочь. Порой мне кажется, что он хочет каким-то образом поквитаться со мной. Иногда целыми днями, часами я думаю о том, что он возвращается с целью убить меня. Или, может быть, он удовлетворится, просто унизив меня так или иначе. Я просто не знаю,

что произойдет. Все, что я знаю, — пусть случится, чему суждено, на будущей неделе.

Дьюкейн, нахмурившись, смотрел на морское сияние.

— Кто еще знает эту историю?

— Никто. Только Ричард и Эрик.

— Почему вы держали это в тайне?

— Гордость, — неуверенно сказала она.

— Да. А это превратило все в настоящий ужас. Вы заразились демоническим началом Эрика.

— Знаю. Когда это все произошло, все рухнуло. И рухнуло главным образом мое представление о себе, о своей цельности. Это странно. И вот почему я не пыталась предотвратить развод с Ричардом. Что-то во мне сломалось во время этой сцены в бильярдной. Случилось так, будто чувство вины превратилось в осязаемый предмет и вошло внутрь меня.

— Вы должны избавиться от этого чувства, Пола. И не только ради Эрика, а ради себя самой.

— Может быть, но когда Эрик приедет…

— Вы должны руководствоваться здравым смыслом. Я понимаю ваши чувства. И само собой, вы должны повидаться с ним с глазу на глаз. Но потом вы должны погрузить его в здоровую атмосферу. Вокруг вас должны быть другие люди.

Он познакомится с вашими друзьями и поймет, что вам есть на кого опереться, что у вас есть свой собственный мир. Я собираюсь в Лондон на следующей неделе…

Послышался резкий хруст гальки, и чья-то тень скользнула рядом с ними, как ящерица. Это был дядя Тео.

Тео выглядел бледным и сухим на ярком солнце. Большой круглый купол его черепа нависал над его сморщенным собачьим личиком, как шлем. Он смотрел на них скривившись, со слегка насмешливым неодобрением. Он сказал:

— Пола, вот письма для вас.

Три письма упали на камни. Он поколебался, как бы ожидая приглашения остаться, но тут же быстро отошел и, сгорбясь, с шумом ступая по гальке, удалился прежде, чем Дьюкейн успел произнести:

— О Тео…

Пола смотрела ему вслед.

— Он кажется таким подавленным в последнее время. Хотела бы я знать, что происходит в его голове? Бедный Тео. Джон, я бы хотела, чтобы вы серьезно поговорили с ним. Пусть он вам скажет, в чем дело. Вам-то он скажет.

Дьюкейн издал легкий смешок.

— О, — Пола взглянула на письма, — одно от Эрика. Он уже в Суэце.

— Лучше прочтите побыстрей, — сказал Дьюкейн.

Он отвернулся, щуря глаза против света, стараясь разглядеть купающихся детей. Он заметил, что уже начался прилив, по тому, что лиловатые водоросли, видимые только в это время, сейчас как будто потемнели в чистой зеленоватой воде, приблизившейся на несколько шагов к месту, где сидели он и Пола. Бесцельно озабоченный Тео медленно уменьшался, удаляясь все дальше.

Через минуту Дьюкейн услышал странный звук рядом. Он обернулся и увидел, что Пола закрыла лицо рукой. Ее плечи вздрагивали.

— Что стряслось, Пола?

Пола продолжала трястись, из-под прикрывающей лицо руки слышался низкий хриплый звук. Другой рукой она протянула ему письмо Эрика. Дьюкейн прочел:

«Морания»
Суэц
Моя дорогая Пола,
сразу скажу тебе, чтобы не ходить вокруг да около: я встретил на кораб-

ле совершенно потрясающую девушку и собираюсь жениться на ней. Как неожиданна жизнь! Мне казалось, что судьба моя управляется богами. Но как часто они действуют неожиданно! Я хотел вернуться в Англию потому, что мне казалось, я тебе нужен. Но каким незначительным кажется все это теперь. Прости, что я так выражаюсь, но чем яснее я говорю, тем лучше для тебя. То, что я принимал за желание видеть тебя, было на самом деле охотой к перемене мест или магнетизмом моей судьбы, влекущей меня назад. Все сложилось совершенно чудесно. Мы сейчас покидаем корабль и вылетаем в Каир. (Если помнишь, я всегда мечтал поглядеть на пирамиды.) А после мы вылетаем в Нью-Йорк и в Чикаго с целью познакомиться с родственниками Анжелики. (Ее отец случайно оказался большим человеком в мире искусства, и у нее куча денег, что, конечно, не важно, и я об этом и не догадывался поначалу. Она – великолепный человек.)

Прости меня, Пола, что делюсь с тобой своим счастьем, но невозможно его

утаить. Я знаю, как ты ждала меня и надеялась. Поверь мне, я думаю о тебе. Но сейчас нам ни к чему встречаться. Есть много такого между нами, что Анжелике будет нелегко понять. Она совершенно ничем не омраченный человек, и я не хочу потрясти ее мрачными рассказами о прошлом. (Это я пишу на случай – вдруг ты ее встретишь, хотя, думаю, это маловероятно. Мы собираемся в кругосветное путешествие после свадьбы, а жить будем, возможно, в Сан-Франциско, где мне будет хорошо работать.) Я уверен, что ты простишь мою слабость. Ты очень сильная женщина, тебе чужды зависть, ревность и суета. Я глубоко верю в то, что скоро смогу поделиться и с тобой моим богатством, сожалея о том, что больше тебе ничем не могу помочь, хотя ты почему-то уговорила себя, что только я способен оказать тебе помощь. Я говорю тебе: я счастлив и свободен от прошлого. Мое самое искреннее желание – однажды услышать и от тебя то же самое.

Эрик

P. S. Пожалуйста, обязательно уничтожь это письмо.

Дьюкейн посмотрел на Полу. Ее лицо преобразилось. Оно как будто расширилось, глаза и рот широко открылись, и он понял, что она смеется. Ее лицо, освободившись от сковывавшей его маски, расслабилось и сияло. Так как она все хохотала и хохотала, Дьюкейн тоже засмеялся, и они стали смеяться вместе, раскачиваясь и кидая пеструю гальку в сторону моря.

Наконец Пола подобрала письмо, упавшее между ними, и разорвала его на мелкие кусочки. Она рассыпала их над своей головой.

— Смотрите, как можно расправиться с пугалом.

— Теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря об абсурдности, — сказал Дьюкейн.

— С Эриком на кораблях всегда что-то происходит!

— Добрая, милая Анжелика, благослови ее Господь. Мне кажется, он убедил себя в том, что я умоляла его вернуться!

— Пола, у вас теперь все снова прекрасно, — сказал Дьюкейн, прикасаясь к подолу ее желтого

платья.

— Да, Джон. Не знаю, как вас благодарить…

— Вы ведь не жалеете о том, что рассказали мне, а?

— Нет-нет. Я по-другому на все взглянула. По-другому…

Дьюкейн довольно неловко встал. Он надел пиджак, поднял воротник рубашки и пригладил волосы. Он мог видеть сейчас Барбару и близнецов, бегущих вдоль берега к ним.

Вдруг он спросил:

— Пола, вы все еще любите Бирана?

— Да, — ответила она, ни секунды не колеблясь. Помолчав, она сказала: — Но, конечно, уже не…

— Что такое? В чем дело? Посмотрите на детей. Барби, что такое?

— Пирс. Он уплыл в пещеру Гуннара и сказал, что останется там до отлива, и он так и сделает, я знаю, он так и сделает!

34

Внутри пещеры было необыкновенно тихо. Пирс, плывя брассом, делал длинные беззвучные гребки, заставляя свое тело скользить, как рыба в воде, и делая как можно меньше усилий. На нем были легкий свитер и брюки, шерстяные носки и резиновые ботинки. Водонепроницаемый электрический фонарик лежал в кармане брюк, привязанный веревочкой. У него с собой были и часы, тоже водонепроницаемые. Он еще никогда не забирался так глубоко в пещеру; дневной свет, светивший из-под темной дуги входа, стал смутным. Он едва различал равномерные движения своих слегка фосфоресцирующих рук, нарушавших темное спокойствие воды. Кругом ничего нельзя было различить.

Намерение Пирса остаться в пещере на время прилива стало в период его созревания настоящим наваждением, его невозможно было объяснить рационально. Конечно, оно было связано с Барбарой, но вернее сказать, что идея пещеры поглотила идею Барбары. Большая черная стрела указывала путь в эту магнетическую тьму. Уни-

жение, пренебрежение и отчаянье смешались в сгусток желания, целью которого была уже не Барбара. То, что это испытание может закончиться смертью, больше всего притягивало его. Но гипотеза реальной смерти была даже несущественной для него. Концепция смерти росла в уме Пирса, она расширялась, сияла странно ослепительным блеском, и она перестала быть только физической возможностью или утешением, но стала высшим объектом любви.

Далекий свет от входа в пещеру совсем исчез, и Пирс скользнул теперь в черную безвидную сферу. Он продолжал плыть и, оглянувшись, увидел какой-то намек на свет, но уже не видно было низкой белой дуги дневного света. Он, должно быть, повернул за угол внутри пещеры. Он пошарил в кармане, нашел фонарь и, стряхнув с него воду, включил его. Луч света был длинным и мощным, но казалось, что воздух превратился в пыльную субстанцию, мешавшую распространению света. Пирс высветил верх пещеры, где-то высоко над ним, и стены, круто уходившие в воду, украшенные коричневыми водорослями, как будто мерцающими ожерельями. Пещера была приблизительно двадцать ярдов шириной. Направив фонарь наверх, Пирс сделал несколько

гребков назад, и черта дневного света неожиданно материализовалась в темноте слева от него, похожая на длинное беловатое зерно, показавшееся у него над головой совсем близко. Он как будто потрогал его. В то же самое время движущееся пятно от фонаря над ним исчезло.

Пирс пошарил в воде и крепче схватил фонарь. Он принялся светить на все кругом. Здесь своды пещеры были значительно выше, и он понял, что находится в месте разделения пещеры. Здесь она превращалась в две небольшие пещерки одного, на вид, размера, одна вела налево, а другая, по которой он только что плыл, — направо. Это открытие слегка обеспокоило Пирса. Он представлял себе совсем другое: в его воображении она не раздваивалась и шла выше в скалу, где превращалась в сухое, полное воздуха помещение, возможно полное сокровищ. Дело было не в сокровищах и даже не в сухости и воздухе. Это последнее убежище могло оказаться дырой или трещиной, где прилив в конце концов соприкасался с крышей и топил забравшегося туда, как мышь в ловушке. Но вот чего не предвидел Пирс — возможности выбора. Идея выбора напомнила ему об идее жизни, о будущем, и тут он почувствовал страх в первый раз.

Пирс высветил фонариком свод первой пещеры, слева от него. Она была примерно на двадцать пять футов выше уровня моря и вся заросла водорослями. Он повернул фонарик направо. Здесь тоже все было покрыто водорослями, но она была чуть выше. Какая из них выведет его наверх? Он решил, так как все было непонятно, отдаться на волю случая, который привел его к правой пещерке. Он выключил фонарь и поплыл. Пятно дневного света исчезло.

Теперь он плыл медленно, стараясь определять направление и ощущая близость стен чем-то вроде внутреннего радара. Он чувствовал, что справится. Но темнота обескураживала его. Она стала еще гуще и ощутимей, она давила на него, как шляпа черного гриба. Ему казалось, что стоит поднять руку — и тьма сломает ее. Дыханье стало коротким и быстрым. Он нащупал ногами дно и встал, чтобы нормализовать дыхание. Вода внутри пещеры казалась теплее, чем в море, просто необычайно теплой, и он не чувствовал ни усталости, ни озноба. Он опять включил фонарь, освещая путь, уже пройденный им, и то, что было впереди.

Прямо перед ним пещера раздваивалась опять. Еще один выбор. Пирсу пришло в голову — если

я и не утону, то могу просто заблудиться в этом жутком лабиринте и никогда не найду пути назад. Или когда прилив спадет, мне будет легче найти путь? Он не был уверен. Он медленно поплыл вперед и увидел тонкую линию света в пещере, что была впереди. Свет фонаря стал узким и неровным, тьма поглощала его. Теперь он видел еще меньше. Его глаза совершенно не приспособились к этому плотному грибовидному мраку. Здесь уходящий налево канал как будто бы слегка расширялся, и его мокрый, в водорослях, свод казался выше. Пирс медленно вплыл туда. Он подумал: сначала направо, а потом налево. Нужно запоминать путь. Сначала вправо и потом — влево.

Он опять включил фонарь, осматривая своды и стены. Пещера была не больше и не меньше, а ее стены также круто уходили в воду. Не было ни одного выступающего из стены камня, где можно было бы отдохнуть. Пирс подумал: так продолжаться не может. А потом он подумал: а почему бы и нет? Пещера тут снова поворачивала, довольно круто изгибаясь влево. Почему бы этим теплым пещерным путям, так аккуратно проделанным водой, не тянуться бесконечно долго ниже уровня прилива? Он мог бы плыть по

ним часами в кромешной тьме, пока поднявшиеся воды не прижмут его макушку к округлому скользкому своду.

Паническая дрожь пронзила Пирса, как электрический удар, и ему сразу стало холодно. Он думал: предположим, если я очень быстро поплыву назад по тому же пути, успею ли я выплыть из пещеры до того, как прилив затопит выход? Он поднял руку из воды и зажег подсветку часов. Его часы, залитые водой, но такие привычные, казались зловещими и одинокими под черным куполом воды. Он был внутри всего лишь пятнадцать минут. Он может успеть выбраться, если сейчас повернет назад. Пирс выключил свет и изо всех сил поплыл вперед, еще глубже в пещеру.

Он остановился снова и включил свет, желая быть уверенным, что не пропустил новых разветвлений. Кажется, одно было впереди. Он осторожно поплыл вперед и выплыл на обширное место, из которого было уже не меньше четырех выходов — черных кругов, похожих на сжатые кулаки над медленно движущейся водой, освещаемой фонариком; она казалась слоистой и шоколадно-коричневой в его неровном свете. Тут Пирс увидел справа от себя, когда пещера расширилась, выбоину в стене, похо-

жую на наклонную полку. Пирс подплыл к ней и попытался взобраться на нее. Это оказалось делом нелегким. Она вся была покрыта зелеными водорослями, тонкими, как волосы, это делало ее крайне скользкой. Наконец он примостился, хоть и неудобно, наполовину в воде и зажег фонарь, с осторожностью осматриваясь. Впереди было четыре выхода. Пирс увидел, что их своды значительно ниже, чем те, что были в прежних пещерах. Пещера явно уходила вниз.

В этот момент Пирс услышал шум в воде. И не он производил его. Он лежал, подобно тюленю, совсем тихо, вытянувшись в углублении, удерживаясь там с трудом благодаря выступающему острому камню, за который цепко держался. Он напрягся, прислушиваясь. Это был плеск, производимый кем-то большим и неуклюжим. Пирс с трудом повернулся, держась за край выбоины, и посмотрел через плечо. Бледный коричневый луч фонаря заскользил по поверхности воды. Кто-то был здесь, кто-то приплыл сюда — в сердце пещеры. Это был Минго.

— Минго! — крикнул Пирс.

Он резко выпустил из рук фонарь и перестал держаться за край своего убежища. Когда он скользнул вниз, веревка, привязывавшая фонарь

к ремню, задела за острый выступ камня и оборвалась. Фонарь балансировал на самом краю и затем тихо сполз в воду и исчез в ней.

Пирс все еще лежал, прижавшись к скользкой скале, вода доходила ему до плеч, одной рукой он ухватился за водоросли. Тьма была плотной, абсолютной. Звук плеска приблизился, Пирс вытянул руку и ощутил ошейник Минго и сухую шерсть его головы. Минго вскарабкался на скалу, стараясь забраться подальше от воды.

— О Минго, Минго, — сказал Пирс.

Он подтолкнул собаку повыше на маленький уклон с водорослями и положил голову на ее мокрый теплый бок, вцепившись в скалу мертвой хваткой. Горячие слезы вдруг заструились по его лицу.

35

— Что же нам делать? — спрашивала Пола.

Она смотрела на Дьюкейна. Барбара схватила его за рукав. Близнецы обнялись.

— Моторная лодка? — спросил Дьюкейн.

— В деревне есть одна, — сказала Пола, — но в это время…

— Ее арендовали на весь день, — сказал Эдвард, — мы видели, как она уплыла.

— Нужно позвонить в береговую полицию, — сказал Дьюкейн. — Нет, не это… Давно он туда заплыл?

— Наверно, минут пятнадцать прошло, — сказала Барбара.

— Больше, — уточнила Генриетта.

— Понимаете, — сказала Барбара, ее голос стал высоким от страха, — я совсем не верила ему сначала. Я ждала, когда он выйдет оттуда. Потом я вдруг поняла, что он говорил серьезно. А потом стало ясно, что он не выплывет сам.

— Мы там тоже были, — сказал Эдвард. — Я был уверен, что он не шутил. Я об этом сразу сказал.

— Мы скоро увидим, как этот юный идиот вы-

плывет из пещеры и…

— Нет, нет, нет! — завыла Барбара. — Он внутри, он собирается там остаться, я знаю!

Дьюкейн задумался. Он старался соображать как можно быстрее, глядя на Полу, которая отчаянно пыталась помочь ему.

— Когда море закроет вход в пещеру?

— Через полчаса.

— Через двадцать пять минут, — поправила Генриетта.

Дьюкейн посмотрел на часы.

— Послушайте, — сказал он Поле, — будем предполагать худшее. Звоните в береговую полицию, звоните в деревню. Если увидите моторную лодку, остановите ее. Выясните, знает ли кто пещеру. Узнайте, есть ли у кого-нибудь легководолазное снаряжение и кто умеет им пользоваться. Хотя я не знаю, на самом деле… Я сейчас оплыву скалу и посмотрю. Может быть, он притаился сразу за входом, пытаясь просто напугать нас.

— Мы с вами! — закричали дети.

— Нет, вы не пойдете, — ответил Дьюкейн. — У вас озноб, вы слишком долго были в воде. — Все трое детей дрожали. — Во всяком случае, это на вас Пирс пытается произвести впечатление. Особенно на тебя, Барбара. Если он подумает, что ты

там, он не выйдет. Вы идите с Полой.

— Джон, ты ведь не пойдешь в пещеру? — закричала Пола.

— Нет, нет. Только посмотрю. Возможно, я встречу Пирса, возвращающегося обратно. Идите, вы все, и не паникуйте.

Дьюкейн снял пиджак и галстук. Скинул ботинки, носки и брюки.

— Идите! — крикнул он остальным.

Пола и дети побежали по гальке. Дьюкейн опять надел ботинки и побежал в противоположном от них направлении, туда, где в море спускалась красная скала, и скользнул в воду.

Он плыл, делая сильные и быстрые гребки, стараясь держаться как можно ближе к скале. Он чувствовал подводные течения, из-за которых купальщики не жалуют этот пляж. Они несли его назад, и он продвигался медленно. Он еще никогда не испытывал такого ощущения от плавания — он как будто в судороге агонизировал на одном и том же месте. Он уже задыхался. Рукава рубашки намокли, они вздулись, наполнившись водой, он стал стаскивать с себя рубаху. Не переставая плыть, он стащил ее через голову и бросил в воду. Затем течение ослабло, когда он повернул за скалу и оказался в другой бухте, откуда уже не

было видно Трескомба.

Теперь уже ничего не было видно, кроме спокойного моря, и неба, и скалы, закрывавшей сейчас вид на берег. Дьюкейн почувствовал себя вдруг маленьким и одиноким. Красная скала вблизи оказалась коричневой терракотой с серо-голубыми и синими полосами, она круто обрывалась в море и выглядела такой сухой и обветренной, что казалось, рассыплется от соприкосновения с водой. Широкая полоса внизу указывала уровень прилива, а водоросли, пекшиеся на солнце с тех пор, как море выбросило их, свисали темными уродливыми пучками, как колтуны. Поверху виднелись стайки белых маргариток, неведомо как угнездившихся на скале. Дьюкейн чувствовал их аромат, смешанный с теплым морским запахом полузасохших водорослей.

Сейчас он уже видел вход в пещеру — неправильной формы темно-коричневый зев над водой. Приблизившись, он посмотрел на часы, которые еще шли. По оценке Генриетты, оставалось еще пятнадцать минут до того, как вода закроет его. Сделав еще несколько гребков, Дьюкейн вышел из области, залитой светом, и оказался в тени скалы, он крикнул:

— Пирс! Пирс!

Молчание.

Вход в пещеру был примерно на высоте семи футов над водой. Дьюкейн проплыл туда и заметил, что там свод немного понижается. Потом он снова стал выше, а пещера шире. Дьюкейн плыл и звал, опять и опять.

Дьюкейн сказал, что поплывет к пещере просто потому, что ничего другого придумать не мог. Ему почему-то казалось, что он легко отыщет Пирса и заставит мальчика выплыть из пещеры. Но сейчас все казалось иным. Острое одиночество в залитой солнцем бухте, потом погружение в холодную полутьму что-то изменили в нем. Реальность куда-то исчезла. Он звал снова. Он заметил, что море теперь вливается в пещеру очень быстро и что течение уже уносит его от входа. Он сделал несколько гребков в обратную сторону, чтобы иметь уверенность в том, что он может легко выплыть оттуда. А потом он дал течению снова отнести его чуть дальше в темноту, и все время он звал Пирса через равные промежутки времени.

Когда Дьюкейн вплыл в большой бассейн пещеры, ему вдруг ясно представился образ из «Алисы в Зазеркалье» — Алиса и мышь плавают в Бас-

сейне Слез. Он ясно помнил, как грациозно плыла Алиса, как элегантно ее одежда распустилась на воде, подобно цветку. Наверно, эта картинка произвела на него в детстве очень большое впечатление. Девушки и их наряды. Он позвал опять. Молчание.

Теперь он лучше видел в коричневатом чайном свете внутри пещеры и различил слева черноту в стене пещеры, которая казалась дырой. Он поплыл к ней, теперь брассом, высоко держа голову и прислушиваясь. Как будто бы кто-то очень легко прижимал к его голове черную подушку, когда он вплывал в эту дыру.

Дьюкейн не боялся воды, но очень боялся замкнутых пространств. Он подался назад, держась за стену. Потом закричал. Очень-очень слабый крик раздался в ответ. Вода отнесла Дьюкейна к стене. Он прислушивался к тишине, в которой едва различимо было тихое шипение текущей воды. Он отвернулся от слабого света позади него и посмотрел в непроглядную тьму впереди и позвал опять. Значит, ему не померещилось. Ему ответил слабый, далекий, затерянный, нереальный крик.

В уме Дьюкейна возник новый образ. Он увидел Пирса где-то в конце туннеля, страдающего от

судорог или раненого, пойманного в ловушку, отчаянно зовущего на помощь. Одновременно, как если бы тьма стала экраном, на который проецировалось то, что было у него в уме, он увидел с абсолютной ясностью прямо перед собой загорелое взволнованное лицо Мэри Клоудир.

— Я здесь! — закричал он и бросился в воду.

Тусклый свет позади совсем ослабел и исчез. Течение теперь так быстро несло его, что он уже и не плыл. Туннель внезапно повернул. Дьюкейн схватился за скользкую круглую скалу и попытался удержаться на ней. Но течение схватило его и перевернуло, унося, как если бы большая рука пропустила его сквозь пальцы. Он проглотил немного воды.

Дьюкейн почувствовал панику. Он пытался найти что-нибудь, за что можно было бы уцепиться. Он боялся, что в любой момент может разбить себе голову о подводный камень. Плотная, замкнутая тьма пугала его. Он ударился коленом о выпуклость на дне, вздымавшуюся под водой, и постарался удержаться около нее, упираясь руками в стену. Он закричал изо всей мочи:

— Пирс! Пирс!

– Пирс! Пирс!

Это было эхо, сказал Дьюкейн себе. Он сказал

это холодно и отчетливо. Он крикнул опять:

— Ау!

Я должен вернуться, подумал он. Он оторвался от скалы и попытался поплыть назад. Но сильное течение схватило его и потащило дальше.

Теперь Дьюкейн испугался по-настоящему. Он изо всех сил прорывался к стене, где течение не было таким сильным, и пытался там удержаться. Абсолютная тьма нарушила чувство ориентации, мешала чувствовать тело. Он сам себе подсказывал, какие движения надо делать, чтобы плыть. Он говорил сам себе: сила все победит, вся сила, которая есть во мне, сверхъестественная сила. Он то шел, то плыл вдоль стены в том направлении, как ему казалось, откуда приплыл. Он двигался очень медленно, но все же двигался. Он подумал, что возвращается к тому месту, где туннель поворачивает. На мгновение он перестал чувствовать силу течения. Он понял, что плыл в другом направлении, и теперь туннель казался шире, воздуха в нем было больше, а течение замедлилось. Он, наверно, где-то неподалеку от большой пещеры.

Дьюкейн почувствовал, что туннель расширяется и что стена, к которой он прикасался, исчезла. Теперь он мог легко плыть. Он сделал

несколько гребков. Вот-вот уже он должен оказаться в главной пещере. Но было темно. Какая-то слабая зеленоватая линия светилась далеко под водой. Но входа в пещеру, сквозь который лился закатный свет, видно не было. Пещера не имела выхода.

Теперь в его воображении всплывали другие образы. Дьюкейн плыл уже некоторое время. Цветные образы вырисовывались во тьме с невероятной яркостью. Он увидел Алису, стоящую на каминной полке, в тот момент, когда зеркало превращается в серебристый туман, через который она проходит. Он увидел лицо Мэри Клоудир, оно больше не было взволнованным, а было нежным и печальным. Мы оба умерли, подумал он и не мог вспомнить, кто это «мы». Он и Пирс, конечно. Он все время звал Пирса, но ответа не было. Голос ударялся о какую-то преграду, возвращался слабым эхом, но дальше не проникал, по крайней мере. Из этого следовало, что канал, по которому он плыл, был достаточно широким.

Он стал чувствовать холод, и его руки и ноги устали, но плаванье превратилось в автоматическое действие, как будто он был в родной стихии. Нечто жуткое двигалось вместе с ним, прямо над его головой, как немая черная ворона из экто-

плазмы. Это был страх, паника, страх, который уничтожает человека, заставляет его распасться на части и вопить. Дьюкейн очень остро ощущал его присутствие. Он старался дышать ровно и медленно. Он представлял себе, как пещера поднимается, поднимается и выходит на сухую поверхность скалы. Он старался не представлять больше ничего. По крайней мере, пещера все длилась, и ничего не оставалось, как плыть дальше и дальше, сколько хватит сил. Но больше не за что было держаться, до сих пор он все время вытягивал руки и проверял, где он находится. Но теперь ничего, кроме ровных, гладких стен, не было. Ни камешков, ни камней, на которых можно было передохнуть. И теперь он видел, как Алиса падает в кроличью нору — медленно-медленно.

Дьюкейн подумал: в такой темноте я могу проплыть в каком-нибудь ярде от безопасного места и не заметить его. Все определяет случай, только случай. Течение ослабело, и теперь он мог плавать туда и сюда поперек него, держась за стены канала, которые сейчас были на расстоянии пятнадцати ярдов от него. Канал сужался очень медленно. В стене были какие-то выбоины, выступы, скользкие и обточенные водой, которая текла куда-то в черную бесконечную глубь

скалы. Воздух был еще свежим, но слегка отдавал гнилью, будто само море разлагалось здесь, и действительно все кругом стало маслянистым и более плотным. Все органы восприятия почти не функционировали. Но запах ощущался Дьюкейном с невероятной тонкостью, как будто запах и был тем черным ядром клейкого воздуха и воды, в которой, может быть уже не продвигаясь, все слабей и слабей он делал томительные движения пловца и молился.

Ему казалось, что он давно уже не кричал, и хрипло, не очень громко позвал:

— Пирс!

— Привет.

— Пирс!

— Я здесь.

Звук раздался где-то рядом. Дьюкейн перестал плыть. Все изменилось. Он опять вселился в свое тело, он чувствовал, как его руки и ноги движутся в воде. Он чувствовал, что́ находится вокруг. Тьма перестала быть материей, частью которой он был, но стала вуалью, случайностью.

— Где ты?

— Здесь, здесь.

Дьюкейна внезапно вынесло к выступу скалы, мягкому от плесени. Он почувствовал, как вода

разделяется вокруг него, прижимая к скале.

— Где?

— Сюда.

Дьюкейн прополз вдоль скалы и отдался течению. Его колени вдруг коснулись дна, руки тоже уткнулись в землю. Он больше не плыл, а полз. Он почувствовал, как кто-то трогает его плечо и хватает его. Прикосновение было болезненным, как будто бы ослепительным. Он понял, что потерял чувствительность от холода. Он прополз дальше и вытянулся во весь рост. Он нащупал гальку под руками.

— Я очень виноват, — сказал голос Пирса рядом.

Честный, серьезный голос мальчика странно прозвучал в темноте, связав ее с обыденным миром, где извиняются.

— Не мог бы ты попытаться сделать массаж или что-нибудь такое, — сказал Дьюкейн, — все тело онемело.

Вспыхивающая боль вернулась и проползла по позвоночнику. Он принялся растирать руки. Теперь он так устал, что не понимал, как мог плыть еще минуту назад.

— Что это?

— Это Минго. Он нашел меня. Я так виноват.

— Хватит уже. Как отсюда выбраться?

— Не знаю, — сказал голос Пирса. — Я просто оказался здесь. По крайней мере, мы не в воде, пусть ненадолго. Я пытался проплыть по другим каналам и уткнулся в стену, а свод там был таким низким, что я как можно быстрее выбрался оттуда. Это было непросто — плыть обратно против течения. Потом я нашел это место, а потом услышал, как вы зовете.

— Ты в порядке?

— Да, в порядке. Вам теплее теперь?

— Да.

Если я не утонул, то мне суждено умереть от холода, подумал Дьюкейн. Он сел, растирая руки и ноги. Его плоть казалась ему чужой, как ледяная замазка на ощупь.

— Нам лучше двигаться, — сказал Пирс. — Это, наверно, тоже тупик. Может быть, мне сплавать и вернуться за вами?

— Нет, нет, я тоже пойду.

Ради бога, не оставляй меня, думал он. Он встал на колени, а потом во весь рост. Что-то легко коснулось его головы. Это был свод туннеля.

— Что это за шум?

— Я думаю, это прилив пробирается через дыры в скале.

Рядом слышался слегка прерывистый стон, прерываемый мягкими всплесками.

— Это вода ударяет по своду следующей пещеры, — сказал Пирс. — Кажется, дело становится серьезным.

Вода, которая в темноте катилась так тихо, в этом более замкнутом месте усилила свое течение. Дьюкейн почувствовал толчок по ногам.

— Пойдем, Пирс. Проклятое море начинает прибывать.

— На вас обувь?

— Пойдем.

Они медленно пробирались вперед во мраке. Поверхность под ногами как будто слегка поднималась, но в такой полной темноте трудно было определить точно. Ноги Дьюкейна сжались в круглые хромые шары боли, и он уже не понимал, по воде ли они идут. Низкий стон и всплески продолжались.

— Куда-то он ведет, — сказал Пирс.

Голос его звучал громко и вибрировал. Шум позади них немного усилился, он становился невыносимым.

— Вам надо здесь наклониться.

— Эта чертова темнота! Разговаривай, я не хочу потерять тебя.

— О боже, он идет вниз, думаю, нам придется ползти.

— Какой смысл, — сказал Дьюкейн, наклоняясь. Ему представилось, как они ползут все вперед и вперед, пока не окажутся в каком-нибудь узком закутке, ждущем прилива. — Если этот канал сужается, нам лучше поискать другой, пока есть время. Прилив догоняет нас.

— Стойте, — сказал Пирс надтреснутым голосом. — Я сейчас возвращаюсь к вам.

Дьюкейн замер и почувствовал, как рука Пирса прикоснулась к нему и он прошел рядом в своем мокром свитере. Что-то влажное и теплое коснулось ног — это был Минго, не отстававший от Пирса.

Голос Пирса раздался из тьмы:

— Боюсь, что вода уже закрыла выход полностью. Она сейчас прибывает все быстрей. Она и сюда доберется рано или поздно.

Дьюкейн схватил сам себя, почти физически, как можно схватить и потрясти свое второе «я», а затем понял, что он держал в руках Пирса, натолкнувшегося на него.

— Значит, нам надо идти. — Голос Дьюкейна тоже стал громче, как будто он обращался к большой аудитории. Эхо разносилось по потаенным

местам и закоулкам тьмы.

Вода сейчас издавала иной звук — грызущий и сосущий звук приближался, гремя по гальке в узких местах. Пирс, обойдя Дьюкейна, пошел назад.

Дьюкейн ощупал суставами пальцев мокрую скользкую скалу и наклонился. Так, склонившись, он шел вперед, иногда вытягивая руку, чтобы прикоснуться к мокрому краю свитера Пирса. Минго снова пробежал мимо слитком теплой темноты. Свод стал немного выше, а потом опять опустился. Трудно было понять, идут ли они вверх. Движение приобрело теперь новый характер, оно стало медленным и болезненным переставлением костей внутри массы черной материи.

— Мы идем вверх, а, Пирс?

— Думаю, да.

— Мы идем по воде?

— Нет, мы же вышли из нее. Смотрите. Свод опять опускается.

Дьюкейн уже шел почти на четвереньках, упираясь одной рукой о каменистую почву пещеры. Его голова уткнулась в спину Пирса. Пирс, казалось, полз на коленях.

— Что там?

— Тут стена.

— Осмотрись, пощупай хорошенько, — сказал Дьюкейн. Он задвигал руками, расталкивая куски гладкой мокрой тьмы, заключившей их в себя.

— Ничего хорошего, — сказал Пирс новым спокойным голосом. — Это тупик.

Спокойствие было крайним выражением ужаса.

Дьюкейн сказал:

— Попробуем немного вернуться назад. Этот свод висит прямо на моей шее.

Он подумал: если я выпрямлюсь, то умру. Когда он пошел назад и выпрямился, то ощутил гальку, перекатывавшуюся под ногами. Море преследовало их.

— Я быстренько подымусь туда, — сказал Пирс. — Я боюсь, нам не выбраться.

Он издал тихий, глубокий стон.

Дьюкейн съежился, больше от этого ужасного звука, чем от смысла его слов. Он стал что-то громко говорить сам себе. Но в этот момент произошло нечто необычайное, что-то разорвало сферу тьмы, прошло через шум воды. Показалось, что это — свет. Но это не было светом. Это был запах маргариток.

— Пирс, здесь воздух свежее. Я чувствую воздух

снаружи пещеры. Здесь где-то может быть трещина или расселина, нам надо взобраться…

Они встали рядом и подняли руки, ощупывая твердую скалу. Дьюкейну казалось, что его руки стали кусками тьмы, кусками без пальцев. Он не мог унять свою дрожь теперь и услышал свистящий звук, а потом понял, что издает его сам.

— Здесь что-то есть, — сказал Пирс, стоя рядом.

Дьюкейн внезапно нащупал отверстие. Сквозь него проходил воздух.

— Достаточно ли оно велико, чтобы выбраться?

— Думаю, да. Постойте здесь минутку.

Пирс исчез. Раздавались только шлепающие звуки, шорохи, и потом он услышал ликующий голос Пирса сверху:

— Я наверху. Здесь есть пространство. Не знаю, как далеко оно идет.

— Там есть уступы? Как ты взобрался?

— Подождите. Я спускаюсь. Стойте спокойно.

Раздался скользящий звук, и Пирс тяжело приземлился рядом с ним, схватив его за плечо.

— Как ты туда взобрался?

— Там отверстие вроде дымохода. Нужно сжаться. Плечи в одну сторону. Ноги — в другую. Он идет диагонально, так что это легко, градусов

шестьдесят, я думаю. Нужно просто подтянуться и уцепиться за край, а потом лезть. Только там очень скользко. Сейчас я перенесу туда Минго.

У меня это не получится, подумал Дьюкейн. Я бы и ребенком не сумел бы проделать такой трюк. А теперь, потеряв форму, да еще измученный, парализованный холодом… Он сказал:

— Ты не можешь туда влезть, таща Минго. Ты упадешь и сломаешь ногу. Минго придется оставить.

Минго, подумал он, и меня.

— Я не собираюсь оставлять Минго, — сказал Пирс решительно. — Я подтолкну его. Только помогите мне поднять его к дыре. Здесь вот, чувствуете?

Они подняли вдвоем мокрую, теплую, тяжелую собаку к дыре. К счастью, Минго привык, что его таскают, как мешок.

— Подтолкните его, он проскользнет. Придержите меня сзади рукой, а то мы упадем.

Дьюкейн почувствовал, как темный комок устремился вверх, а тело мальчика изогнулось, как лук. Он оттолкнулся левой рукой и прыгнул вверх. Прошло время. Затем голос Пирса:

— Мы наверху! Это было нелегко, какой он тяжелый. Успокойся, Минго, ложись. Не знаю,

уместимся ли мы… Господи, здесь немного места. Можете вы сейчас подняться?

Дьюкейн уцепился за край дыры, чья темнота не отличалась от окружающей тьмы, и с чувством исполнения безнадежного ритуала медленно согнул колени, пока его ноги не уперлись в противоположную стену. Даже это потребовало неимоверных усилий. У него не было сил даже пытаться пролезть туда. Силы его истощились.

Море, катая гальку, ровно двигалось под ногами. Мягкий, хлюпающий звук перешел в тихий хаотический рев. Но Дьюкейн едва слышал эти звуки, с трудом понимая, внутри его головы происходят они или нет. Он подумал: а если дать воде поднять меня к этому дымоходу? Но нет, она как демон затопит эту дыру. Все, что здесь находится, разлетится в куски.

— Ну что, Джон? — резко спросил Пирс сверху.

— Я не могу, — сказал Дьюкейн.

— Вы должны. Попытайтесь. Прижмите ноги почти к голове. Пощупайте стену, где удобно упереться ногами. Затем вытолкните плечи и ноги, они должны делать такое движение, как при ходьбе.

— Я не буду и пытаться, Пирс. У меня нет сил. Не беспокойся. Море вынесет меня потом, когда

время придет.

— Не сходите с ума. Смотрите. Я спускаюсь.

Дьюкейн не сумел вовремя отодвинуться, и Пирс упал на его колени прямо в поднимающуюся воду.

— Извините. О боже. Я бы мог попробовать подтолкнуть вас, но я едва справился с Минго. Боже, что же нам делать? Если бы я захватил веревку… я не думал…

Дьюкейн сумел встать. Я долго не выдержу, я сейчас рухну… Он не знал, случится ли это с его умом или телом. Душа и тело соединились в этой холодной, острой боли и тьме. Он отчетливо сказал себе: «Я должен сделать все, что могу, чтобы выжить». Он сказал медленно, прислонясь к мокрой стене:

— Мы могли бы сделать… веревку… из нашей одежды… Пирс.

— Да. Да, быстро. Можете раздеться? Нейлоновая майка и брюки, разорвите их на полосы.

— Я разделся, дорогой мальчик. Но ты должен разорвать. Вот.

Дьюкейн неловко освободился от майки и кальсон. Он забыл свое тело и должен был действовать опытным путем, находя, где ноги, где руки. Он начал дрожать и ничего не мог с этим поделать.

— Нет, подержите пока одежду, я должен разорвать свою. О боже, она не рвется. У меня не хватает сил.

— Рви их по швам, — сказал Дьюкейн. — Только не урони, ради бога, а то мы ее уже не найдем. Вот, я держу, а ты тяни, *тащи.*

Раздался слабый рвущийся звук.

— Хорошо, хорошо, вот так. Думаешь, хватит? Они вытянутся, конечно. Можешь связать их? Умеешь вязать узлы?

— У меня руки не действуют, — сказал голос Пирса. Он был на грани слез и слегка дрожал.

— Думай об узлах, а не о своих руках. Дай посмотреть… Хорошо, ты сделал это. Теперь, Пирс, слушай меня и подчиняйся мне. Ты заберешься наверх с веревкой и опустишь ее. Я попытаюсь обвязать ее вокруг пояса, иначе не получится. А потом упорно тащи, а я буду помогать тебе руками и ногами. Будь осторожен, удерживайся, если я начну падать, *выпусти веревку.* Если мне не удастся, значит так суждено. Не спускайся больше, это бесполезно, ты можешь слишком устать, чтобы взобраться снова. Я испытаю свое счастье, когда море поднимется. А теперь забирайся наверх.

Пирс, тихо ропща, отошел от него. Из-за шума

воды Дьюкейн не слышал, как он взбирается наверх. Дьюкейн дотянулся до мокрой раскачивающейся веревки. Потом она замерла.

— Она у вас? — спросил Пирс сверху.

— Да. Я думаю, что сумею обвязать вокруг пояса, длина достаточна.

На самом ли деле так, подумал он. Глупо, надо было попросить Пирса сделать это. Очень медленно он обмотал ее вокруг пояса и завязал узел.

— Теперь тащи, очень осторожно, а я буду тебе помогать.

Это невозможно, думал Дьюкейн, абсолютно невозможно. Сейчас, когда он поднялся, морская вода достигала уже до колен. Мелкие брызги сеялись сквозь темный воздух. Шум внутри головы стал сейчас металлическим, заглушающим все остальное, как в детских лихорадочных кошмарах. Если бы я мог молиться, подумал он, если бы существовал такой источник силы, к которому я мог бы подключиться. Он скорчился у входа в трубу. В ногах совсем не было силы, чтобы попытаться вскарабкаться. Они закоченели от холода и обессилели, голой спиной он беспомощно ерзал по скользкой ледяной стене, пытаясь взобраться хоть чуть-чуть повыше. Его мокрое обнаженное тело беспомощно висело между стен, не делая

усилий, не излучая энергии. Он подумал: если бы я мог чем-то отвлечь свой разум, это, может быть, помогло бы телу — чем угодно, эротическими видениями, чем-нибудь. Что-то белое появилось в воздухе, прямо перед глазами, подвешенное в пространстве. Лицо женщины плыло перед ним, казалось, оно движется и в то же время неподвижно, как луна на небе, едва различимое и все же отчетливое, смотрело ему в глаза.

Он обнаружил, что уже не сидит скорчившись, а висит между двух стен. Не исчезай, не уходи, сказал он мерцающему лицу, как бы исподволь замечая, что его ноги движутся, его сгорбленный длинный костяк висит в воздухе. Он мог слышать, как Пирс наверху говорит что-то, эхо разносило слова. Смысла в них не было. Веревка ровно тянулась вверх. Очень-очень медленно Дьюкейн возносился ввысь. Стало легче. На бледном лице прояснились черты, которые он знал.

Дьюкейн лежал на выступе. Эти теплые звезды под веками закрытых глаз, наверно, слезы, подумал он почти отвлеченно. Пирс растирал его, пытаясь натянуть оторванный рукав свитера на его руку.

— Погоди, Пирс, погоди, *погоди.*

Чуть позже Дьюкейн сел. Он вытянул онемев-

шие руки, прикасаясь к чему-то черному, что, наверно, было Пирсом, Минго, скалой. Сладкий, насыщенный небесный сухой запах маргариток стал сильнее. Внизу все громче шумела вода, казалось, она крутится в водовороте, ее как будто кружили в огромном пустом сосуде. Он спросил Пирса, едва узнавая свой голос:

— Мы можем выбраться отсюда?

— Нет, я пытался уже. Здесь есть трещины, но выхода наружу нет.

— Понятно.

Дьюкейн прислушивался к шуму воды. Он чуть изменился. Вода, должно быть, сейчас достигла входа в трубу.

— Сколько времени прошло, Пирс? Прилив уже достиг пика?

— Я не знаю. Я потерял счет времени. И в часах не работает подсветка.

— У меня тоже. Как ты думаешь, вода достигла высшей точки?

— Не знаю.

— Тут влажно?

— Не могу сказать, я ничего не чувствую. А вам как кажется?

Дьюкейн начал опять двигать руками, пытаясь понять, к чему прикасается. Он ощутил что-то

длинное и гладкое, как будто в воздухе была проведена черта. Он поднес пальцы к губам. На них был вкус соли. Он лизнул пальцы, согрев их до легкого содрогания. Затем он опять коснулся холодной линии, опять попробовал на вкус. Соль. Или он ошибался? Может быть, его пальцы так пропитались морем, что они сами солоны? Он сказал Пирсу:

— Я тоже не знаю.

Он подумал: лучше и не знать.

— Наденьте свитер, пожалуйста.

— Послушай, Пирс. Наши шансы на выживание, если мы, конечно, не утонем, зависят от двух вещей — твоего свитера и Минго. Очень повезло, что Минго отыскал тебя. Он — посланец богов. Где он? Чувствуешь, какой он теплый? Нам надо укрыться остатками свитера и положить Минго между нами. Боюсь, веревка нам уже будет не нужна, мы можем ею тоже прикрыться. Можешь натянуть свитер мне на голову и сам поместиться в него. Только смотри ляг подальше от края. Сколько здесь места?

— Здесь приблизительно четыре-пять футов, но свод наклонный. Поднимите руку, если можете. Передвиньтесь сюда. Теперь я натягиваю свитер вам на голову.

Дьюкейн почувствовал, как свитер ползет по руке, потом по лицу. Он высвободил голову. Он тихо лежал, пока Пирс просунул и свою голову под свитер. Шов разорвался, и голова Пирса оказалась рядом с его головой, лицом к лицу, а Пирс просовывал руку в другой рукав свитера.

— Стяните свитер пониже немного, Джон. Я завернусь в него хоть чуть-чуть. Черт, Минго отбежал. Никак не удержать его между нами. Подтяните его ко мне, просто потяните за хвост.

Минго уже не протестовал, теплый Минго наконец улегся своим плотным телом между ними, его голова высовывалась из-под края свитера. Через несколько мгновений Дьюкейн ощутил, как вспыхивающие обжигающие частицы тепла устремляются в его тело. Чуть позже он почувствовал, что Минго лижет его бедро.

— Удобно?

— Порядок. Вы не можете передвинуться назад?

— Нет.

Вода уже кипела внизу под их убежищем, поднимаясь и отступая со звуком пробки, вытаскиваемой из бутылки. Дьюкейн подумал, что очень скоро все решится так или иначе. Он лежал на правом боку, голова Пирса упиралась в его

голову, твердая скула вжималась в его щеку. Они лежали как две сломанные куклы, привалившись голова к голове. Дьюкейн почувствовал, что Пирс слегка дрожит, и теплая влага потекла с его щеки на щеку Дьюкейна. Пирс плакал. Он положил тяжелую вялую руку на мальчика и слегка прижал его к себе.

Интересно, конец ли это, думал Дьюкейн, и если так, то к чему все свелось? Как все было мелко и пусто. Он видел себя в прошлом, как маленькую крысу, деловитую, суетливую крысу, стремившуюся только к своей выгоде и комфорту. Жить легко, пользоваться знакомыми мелкими радостями, стараться, чтобы о тебе хорошо думали. Он почувствовал, что тело коченеет, и пристроился поближе к Минго, источавшему непобедимое тепло. Он подложил руку под плечо Пирса. Бедная, бедная Мэри. Цветные видения снова вернулись в его закрытые глаза. Он увидел совсем близко лицо Бирана, как в немом фильме: тот двигался, открывал рот, но ничего не было слышно. Ничто не стоит ни гроша. Главное — убить эту маленькую крысу, не надо никого судить, быть выше кого-то, проявлять власть, искать, искать. Любить и прощать — только это важно. Всякая власть греховна, и всякий закон

непрочен. Любовь — вот единственный суд. Прощение, примирение. И не надо закона.

Он слегка передвинулся, и его свободная рука за спиной Пирса наткнулась на что-то в темноте. Его окоченевшие пальцы постарались понять, что это. Это был маленький твердый нарост на скале. Его рука нащупала еще один. Морские улитки, подумал Дьюкейн. Улитки. Он снова замер. Он надеялся, что Пирс не обнаружил улиток.

36

— Долго еще?

— Только несколько минут теперь.

Голоса смолкли.

Ночь была теплой, и запах белых маргариток стелился над водой, прилипая к нежной коже моря. Большая круглая луна на светлом ночном небе из серебряной становилась чеканно-золотой.

Две лодки подплыли к скале. Сколько было смятения, призывов, предположений, планов. Местные жители, взволнованные бедой, выдвигали бесчисленное количество теорий о скале, но никаких фактов. Полиция была оповещена, морская охрана тоже, даже флот поставили в известность. Предлагали вызвать спасательную лодку, чтобы она стала на якорь. Должны были приехать водолазы со своим снаряжением. Телефонные звонки раздавались по всему побережью. Время шло. Водолазы понадобились где-то еще. Скоро прилив должен был прекратиться. Потом наступило время бездействия.

— Нам ничего не остается больше, как ждать, — говорили все друг другу, отводя глаза.

Мэри сидела на корме лодки. Тут уже перебывало много народу, любопытные на моторных лодках, журналисты с камерами, пока полиция не приказала им удалиться. Теперь воцарилось молчание. Мэри дрожала от холода, хотя было тепло. Она была в пальто Тео, которое он заставил ее надеть. Воротник пальто был поднят, ее ладони, утонувшие в широких рукавах, сжимали руки повыше запястья. Она сидела, наполненная тишиной, отстраненная, подбородок она слегка задрала вверх и невидящими глазами смотрела на луну. Она не проливала слез, но ощущала свое лицо как нечто расплавившееся, разрушенное, превращенное в ничто горем и ужасом. Теперь ее последним врагом была надежда. Она сидела, как человек, который, изо всех сил стараясь уснуть, гонит от себя мысли и надежды.

Рядом с ней в лодке сидели Вилли и Тео, хотя она не смотрела на них. Но все равно видела. Возможно, она так хорошо представляла себе их, потому что все время видела их во время ужасного смятения и нерешительности еще днем и сейчас — вечером. Тео сидел ближе всех к ней. Иногда, не глядя на нее, он протягивал руку и поглаживал рукав пальто. Кейзи плакала. Кейт плакала. Октавиен носился во все стороны,

организовывая спасение, звоня во все концы. Наверно, она разговаривала со всеми, но не могла этого вспомнить.

С тех пор как она оказалась в спасательной лодке, уже больше часа назад, мысли Мэри стали странно отстраненными и спокойными. Возможно, бессознательно спасаясь от агонии надежды, она думала об Алистере и о словах Дьюкейна о нем: «Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change»[19]. Она мысленно изменила слова: «Каково это — быть мертвым, мой Алистер?» Стоило ей сказать «мой Алистер», как она почувствовала волнение, что-то вроде грустной безличной любви. Откуда она знала, что это волнение в ее сердце, в уме, где не было ничего, кроме этих почти бессмысленных слов, — что оно было любовью? И все же она знала, как можно любить их, мертвых, выстроившихся в длинные шеренги где-то далеко. Мертвый, думала она, мертвый, и абстрактно, пусто, безымянно оживила в уме идею сына.

Смерть случается, любовь случается, и вся человеческая жизнь — соединение случайностей. Если ты любишь то, что так хрупко и смертно.

---

[19] Примечания: 19
Вечность изменит изнутри его в конце концов *(фр.)*.

Если любишь и вцепляешься в любимого, как терьер, не должна ли сама любовь перемениться? Есть только один абсолютный императив — императив любви, и если можно терпеть и выносить любовь к тому, кто должен умереть, что же означает тогда смерть? *О смерть, укачай меня, дай мне желанный покой. Дай уйти из моего любящего сердца мрачному обвиняющему призраку.* Человек создан из праха — смесь слабостей, моментная тень в хаосе явленного нам мира. Раз смерть и случай — то, из чего мы состоим, то любовь к кому-нибудь может быть только любовью к смерти и случаю. Эта измененная любовь скользит по океану случайностей, над призраками мертвых, любовь — такая безличная и такая холодная, что ее трудно узнать как таковую, любовь, лишенная красоты, она так мало известна тебе в опыте, что ты знаешь ее только по имени. Такую любовь Мэри чувствовала сейчас к своему мертвому мужу и к призраку без лица своего, возможно, мертвого сына.

Полицейский катер вернулся и неожиданно зажег яркий прожектор, направленный на скалу. Все вздрогнули. Теплый пурпурный свет потемнел вокруг них. Яркий полукруг на скале высветил ее красную с серыми полосами по-

верхность, блестевшую там, где только что был прибой. Над линией темно-коричневых водорослей росли белые маргаритки, свисающие, как пучки перьев, декоративные и нереальные в этом алмазном свете.

Слабая темная полоска появилась на воде. Мэри вздрогнула. Горячая надежда затрепетала в ней. Утонул, утонул, утонул — повторяло ее унылое сознание.

— Свод там снижается, — сказал один из спасателей.

— Что?

— Свод внутри снижается, он выше всего у входа. Пройдет еще минут пять, прежде чем они смогут выплыть.

Лучше бы он не говорил таких вещей, подумала Мэри. Через двадцать минут, через полчаса — что станет с ее жизнью? Сможет ли она вынести этот долгий канун смерти? Будет ли она вопить и плакать? Будет ли она существовать, будет ли она собой через полчаса?

Октавиен и Кейт сидели в лодке спасателей. Она могла видеть, как Кейт всматривается в черную тень в воде. Прошла минута. Люди в той лодке начали шептаться. Утонул. Мэри подумала: утонул. Лодки подходили ближе. Вода еще спа-

дала. Отверстие входа становилось все больше и больше. Ничего не происходило. Утонул.

И вдруг раздался громкий крик. Что-то плюхнулось в черной дыре и задвигалось в сторону света. Мэри успокаивала сердце, сжатое в точку агонии.

— Это Минго.

— Что?

— Это всего лишь собака.

Мэри смотрела на черную дыру. Слезы боли текли по ее лицу.

Еще один плеск — и плывущая голова ясно вырисовывалась в свете, громкий крик, ответный крик.

— Это Пирс, — сказал кто-то ей в ухо. Возможно, Тео.

Теперь она сама ясно видела голову сына. Вторая лодка подплыла ближе. Кто-то прыгнул в море. Кто-то схватил его, кто-то поднимал.

— Я в порядке, — крикнул он, — я в порядке.

Тео смущенно поддерживал ее, как будто она нуждалась в поддержке, но она держалась прямо. *Он в порядке.* Теперь Джон, Джон.

— Вот он! — Это был голос Кейт.

Лодка Мэри сейчас почти уткнулась носом в скалу. Несколько людей были сейчас в воде, пла-

вая вокруг входа в пещеру. Мэри увидела голову Дьюкейна среди них. Потом она уже оказалась совсем рядом с бортом лодки. Его толкали, тянули, поднимали из воды. Он еле стоял на ногах — тонкий белый абрис нагого человека. Он со стоном рухнул на дно лодки. Мэри скинула пальто и укрыла его им. Она обняла и крепко держала его.

37

— Я так понимаю, что с вами случилась серьезная неприятность в выходные, — сказал Биран. — Что же произошло?

— О, ничего особенного. Меня отрезало приливом.

— Ничего страшного, надеюсь?

— Нет, нет, все хорошо кончилось.

— Что ж, вы хотели меня видеть? Вы решили мою судьбу?

— Да, — сказал Дьюкейн. — Выпьете?

Был ранний вечер. Дьюкейн вылез из постели всего полчаса назад, и сейчас на нем был черный шелковый халат в красных звездочках поверх пижамы. В камине горел огонь, который он сам разжег, потому что Файви по непонятной причине отсутствовал. Он до сих пор чувствовал глубокий озноб, как будто внутри него лежал и не таял ледяной снежок. Но доктор успокаивал, что все будет хорошо. Минго, вероятно, спас его и Пирса от смертельного переохлаждения. По велению судьбы и случая вода остановилась в футе от них.

Сейчас Дьюкейн просто наслаждался тем, что живет. Существовать, дышать, просыпаться и находить, что ты еще здесь, было определенной радостью. Я — здесь, говорил он себе все время, я — здесь. О боже.

— Спасибо, — сказал Биран. — Я бы выпил джина, хорошо?

Дьюкейн подошел к окну, чтобы закрыть его. Шум часа пик на Эрлз-Корт-роуд затихал. Вечерний свет расцветил узкую улочку. О, как прекрасно выкрашены двери соседних домов, думал Дьюкейн, какие красивые блестящие машины. Будьте благословенны, вещи.

— Ну, Дьюкейн?

Дьюкейн мечтательно приблизился к камину. Он взял из ящика стола исповедь Рэдичи, положил на ближайший стул, а также копию криптограммы, начертанной Рэдичи на стене черной капеллы, сделанную им на большом листе бумаги.

— Сядьте, Биран.

Биран сел напротив него. Все еще стоя, Дьюкейн протянул ему лист бумаги с криптограммой:

— Можете ли вы с этим справиться?

Биран посмотрел на него:

— Нет. Что это?

— Рэдичи написал это на стене там, где он проводил свои… эксперименты.

— Мне это ничего не говорит. — Биран небрежно бросил лист на мраморный столик рядом с выпивкой.

— Мне тоже. Я подумал, вдруг у вас явится вдохновение.

— Что это, спиритуальный тест? Сатори — японцы это так называют? И какое это вообще имеет значение?

— Это имело значение для Рэдичи, — сказал Дьюкейн. — Для Клодии. Разве вам не интересно? — Он смотрел на Бирана.

Биран тяжело задвигался. Потом он встал и отошел назад, поставив стул между ними.

— Послушайте, — сказал он. — Я знаю, что я сделал. Мне не нужно, чтобы вы об этом мне говорили. Я знаю.

— Хорошо, я только хотел убедиться.

Они напряженно смотрели друг на друга.

— Что ж, продолжайте.

Для начала Дьюкейн повернулся и с долгим вздохом налил себе немного джина. Затем он плеснул в стакан сухой вермут, тщательно измерив дозу. Затем он опять изучающе посмотрел на Бирана с выражением сурового любопытства.

— Давайте уже, — сказал Биран. — Вы играете со мной, как кошка с мышкой.

— Кошка и мышка, — сказал Дьюкейн. — Да. Что ж, вам нужно смириться и немного побыть, как вы удачно выразились, мышкой. Я хочу задать вам несколько вопросов.

— Значит, вы еще не пришли к какому-то решению? Или вы хотите поставить меня на колени? *Oro supplex et acclinis*[20]. Вы думаете, вы — Бог?

— Всего лишь несколько вопросов, мой дорогой Биран.

— Спрашивайте, спрашивайте.

— Где Джуди?

— Я не знаю, — сказал Биран удивленно. — Вы велели мне бросить Джуди. — Он хихикнул.

— И вы сделали это?

— Нет. Она бросила меня. Она просто исчезла. Я думал, она ушла к вам. Должен сказать, что я почувствовал облегчение.

— Она не со мной, — сказал Дьюкейн. — Но не думайте о ней. Забудьте.

— О чем вы говорите, Дьюкейн? Давайте перейдем к делу.

— Вы слушайте, слушайте.

---

[20] Примечания: 20
Молю смиренно, коленопреклоненно *(лат.).*

— Я слушаю, как ни удивительно.

— Биран, вы все еще любите свою жену?

Биран резко поставил стакан на стол и отвернулся. Он прошелся по комнате.

— Какое это имеет отношение?...

— Отвечайте мне.

— Я не знаю.

— Хорошо, подумайте. У нас много времени.

Дьюкейн сел на один из своих легких стульев и стал раскачивать стаканом, как бы проводя в воздухе восьмерку. Он отхлебнул немного.

— Это мое дело.

Дьюкейн молчал. Дыша медленно и глубоко, он созерцал свой стакан. Ему казалось, что он тоже пахнет морем. Наверно, теперь ему не избавиться от этого запаха до конца своих дней.

— Хорошо, — сказал Биран. — Да, я все еще люблю свою жену. Нельзя забыть такую женщину, как Пола. А теперь, когда я удовлетворил ваше странное любопытство, может быть, мы вернемся к интересующему нас делу.

— Но это дело тоже имеет отношение к заданному мной вопросу, — сказал Дьюкейн. — Вы не думали вернуться к Поле?

— Нет, конечно нет.

— К Поле и близнецам?

— Нет пути назад к Поле и близнецам.

— Почему назад? Может быть, вперед? Они не остались только в прошлом.

— Точней говоря, Пола писала мне довольно давно. У нее своя жизнь. Могу я узнать причину ваших удивительно неуместных вопросов?

— Уместных, уместных. Не давите на меня. Я очень устал. Налейте себе еще.

Дьюкейн подвинул свой стул поближе к огню и отхлебнул пахнущий вермутом джин.

Биран, ходивший по комнате, подошел к креслу напротив, оперся на него и с удивлением воззрился на Дьюкейна.

— Вы служили в десантных частях, — сказал Дьюкейн. Он посмотрел на стройную фигуру Бирана, его напряженное, слегка подергивающееся лицо под сухим шлемом волос.

— Ваш ум сегодня блуждает в разные стороны, — сказал Биран.

— Этот случай с Эриком Сирзом. Именно потому вы чувствуете невозможность вернуться к Поле?

— Господи боже! Кто рассказал вам об Эрике Сирзе?

— Пола.

— Ах, она. Интересно. Что ж, это вроде препятствия. Если изувечишь любовника жены и

лишишь его ноги…

— Это преследует вас в ночных кошмарах?

— Я бы так не сказал. Но это, конечно, из того разряда событий, которые меняют отношения, меняют психологию.

— Я знаю. Пола тоже так чувствует.

— Кроме того, Пола ненавидит меня.

— Нет. Она все еще любит вас.

— Об этом она вам тоже сказала?

— Да.

— Господи! Зачем вы лезете во все это, Дьюкейн?

— А вы не понимаете?

— Нет.

— Вы сказали, что я командую и могу ставить свои условия. Хорошо, вот мое решение. Я умолчу обо всем, если вы сделаете хотя бы попытку вернуться к Поле.

Биран отвернулся и подошел к окну.

Дьюкейн начал говорить быстро и взволнованно, слегка извиняющимся тоном:

— Я помню, как вы сказали «черт побери, мой долг», и сейчас я думаю, что вы были совершенно правы и что есть другой долг. Я не хочу ломать вашу жизнь. Зачем мне это? Это не спасет ни бедного Рэдичи, ни бедную Клодию. А что касается

закона, то человеческий закон — лишь грубое приближение к справедливости, и он слишком грубый инструмент, чтобы оперировать им в той ситуации, в которой вы оказались. Это не значит, что я разыгрываю роль Бога, просто это дело было мне поручено, и я сделал что мог. Я хочу, чтобы оно закончилось, не принеся новых бедствий. Что же касается расследования, я знаю ответ на все вопросы, и я доложу о них, не вдаваясь в ненужные детали. Мысль о Поле пришла по вдохновению, помимо всего, как удачное предположение… Она, конечно, любит вас, так почему же не попытаться? Я прошу вас только попытаться. — Дьюкейн встал и резко поставил стакан на каминную полку.

Биран подошел и чуть отклонился назад. Он пробормотал:

— Выбор у меня небольшой, правда?

— Ну, у вас есть выбор и нет его, — сказал Дьюкейн. — Могу вас заверить, что я все равно сохраню все в тайне. В любом случае, как бы вы ни поступили. Но так как вы джентльмен…

— Вы — сумасшедший. Это будет ужасно. Не могу понять, почему это вам кажется такой хорошей мыслью.

— Я говорил с Полой об этом, конечно в общих

словах. Я не рассказал ей все это. И я думаю, что она хотела бы начать все снова. Она тоже не смогла оставить вас в прошлом.

— Несомненно, вы находите это странным, — сказал Биран. Он встал и посмотрел в огонь. Затем он сказал: — Хорошо, Дьюкейн, хорошо. Я попытаюсь, только попытаюсь. Бог знает, что получится.

— Хорошо. Вы сами иногда думали о примирении?

— Да, но только как о фантазии. Когда двое довольно упрямых людей расстаются так, как мы расстались…

— Я знаю. Вот почему мне показалось, что *deus ex machina*[21] будет тут нелишним.

— Я думаю, вы довольны собой. Хорошо. Но вдруг окажется, что Пола и видеть меня не может? И не могу себе представить, что я превращусь в идеального, верного мужа.

— Нет, вы останетесь таким же негодяем, как раньше.

Биран улыбнулся и взял свой стакан.

— Удивлен, что вы, наоборот, не хотите спасти Полу от моих лап. Забавно, я привык думать, что,

---

[21] Примечания: 21
Бог из машины *(лат.).*

возможно, вы и Пола… Это меня очень мучило. Сама мысль, что кто-то рядом с Полой, невыносима для меня, но, если бы это были вы, было бы еще хуже…

— Что ж, если вы не хотите, чтобы вокруг нее вертелись другие мужчины, вы должны сами приударить за ней. Между прочим, я добавляю еще условие. Вы должны рассказать Поле все.

— О Рэдичи и так далее?

— Да. Конечно, тогда право Полы отвергнуть вас. Но я не думаю, что она так поступит. Вот, это мне больше не нужно. Держите.

Дьюкейн протянул Бирану предсмертную записку Рэдичи. Биран положил его на каминную полку. Он сказал:

— Я думаю, было бы умнее, если бы *вы* рассказали Поле. Я имею в виду — просто изложили бы факты. Тогда она решит, хочет ли она меня видеть. Она должна решать в любом случае.

— Не думаю, что так будет лучше. Но хорошо, я расскажу ей. Как вы думаете, ей лучше будет приехать сюда для встречи с вами или вы поедете в Дорсет?

— Пусть она решает это. Хотя… Нет, в городе будет лучше. Я еще не готов посмотреть в глаза близнецам.

Дьюкейн засмеялся:

— Близнецы поистине великолепны. Я думаю, вы поймете, что они простили вас. Больше мне сказать нечего, остается только пожелать вам удачи.

Биран прикусил нижнюю губу, отчего лицо его стало еще асимметричнее.

— Мне кажется, это что-то вроде шантажа.

— Думаю, да.

— Думаю, я могу забрать это с собой на всякий случай. — Биран положил в карман признание Рэдичи. Оба рассмеялись.

— Я напишу вам после разговора с Полой, — сказал Дьюкейн.

— Спасибо. И спасибо за все.

Они направились к входной двери. Когда они дошли до нее, Биран притронулся к плечу Дьюкейна. Дьюкейн торопливо протянул ему руку, они пожали друг другу руки, избегая смотреть в глаза. И через мгновение Биран был уже на улице.

Дьюкейн устало наклонился, поднимая письма с коврика. Он побрел обратно в гостиную и поворошил угли в камине. Он заметил, что с мебели не стерта пыль. Где этот проклятый Файви? Его острое чувство жизни угасло, и внутри опять

леденел снежок. Он, наверно, приобрел какую-то хроническую болезнь, и она не замедлит вскоре проявиться. Он дрожал и вдруг заметил, что зубы стучат.

Он с таким странным нетерпением ждал встречи с Бираном. Но она пролетела как во сне. Он действительно теперь не считал Бирана негодяем. Неизбежно кончилось тем, что тот стал нравиться ему. Но напряжение, связывавшее их, ослабло. Больше Биран ему не нужен. И если Биран вернется к Поле, ему все равно всегда будет неприятно вмешательство Дьюкейна, и он будет считать это очередным проявлением власти. Биран будет избегать его, а если он воссоединится с Полой, то и она будет избегать его. Дьюкейн вздохнул. Он бы хотел сейчас поговорить с кем-нибудь сострадательным — с Мэри Клоудир, например, ему был нужен утешитель. Он хотел стремиться к чему-то новому. Он сел и стал просматривать письма.

Одно было от Кейт, другое от Джессики, а третье было надписано незнакомым почерком. Его и открыл Дьюкейн первым. В нем было следующее:

Дорогой Джон,
я думаю, Вам интересно, что сталось с

малышкой Джуди, я чувствую, что должна написать и рассказать Вам все. Раз Вы были так добры ко мне, я это ценю. Вы изменили мою жизнь, Джон, хотя и не думаю, что Вы меня обратили и заставили исполнять десять заповедей. Вы познакомили меня с тем, кто мне нужен. И не думайте, что Вы поступили плохо, – хотя Вы относитесь к супружеским узам гораздо серьезнее, чем я, это у Вас оттого, что Вы неженаты. Я все равно собиралась бросить Питера, и тут Гивен вошел в мою жизнь той ночью, когда он вез меня домой от Вас, и, хотя мы только что познакомились, нам сразу стало понятно: мы созданы друг для друга и мы вместе уедем куда-нибудь. Попробуйте угадать куда! На корабле в Австралию! У нас как раз хватило денег на билет. Гивен, как и я, наполовину валлиец, наполовину австралиец, значит, мы поступаем правильно, он собирается отвезти меня туда, где родился, там его отец торгует машинами и устроит нас, так что порадуйтесь за меня! Ну, вот и все, я рада, что познакомилась с Вами, и мне жаль,

что между нами ничего не было. Но об этом молчу, поскольку Гивен страшно ревнивый! Я пошлю Вам открытку с Сиднейским мостом.

Ваша верная

Джуди

Дьюкейн не сразу понял, что Гивен — это многолюбивый Файви. Что ж, он надеялся, что Джуди не разочаруется в нем. Возможно, что Файви встретил наконец свою половинку. А он должен сейчас искать нового слугу. Нужно выбирать теперь с гораздо большей осторожностью. Только через неделю Дьюкейн обнаружил, что его самые дорогие запонки исчезли вместе с Файви, а с ними и кольцо с печаткой, принадлежавшее его отцу. Он не сердился на Файви из-за запонок, но кольца было жаль.

Потом он вскрыл письмо от Джессики.

Мой дорогой Джон,

прости, что не ответила на твои многочисленные письма, телеграммы и так далее и что не подходила к телефону и не открывала дверь. Как тебе, возможно, известно, я узнала о Кейт. Что тут скажешь! Я очень потрясена тем, что ты

считал необходимым лгать мне. Если ты желал пощадить мои чувства – это был неправильный путь, ведь узнать обо всем было еще хуже! Я ненавижу фальшь и обман, думаю – ты тоже. Поэтому сейчас тебе, наверно, легче оттого, что все открылось. Наша связь теряет теперь смысл. Ты столько раз сам говорил это, а я была идиоткой и не соглашалась. Ты знаешь, я думала, что я тебя очень сильно люблю, но – странная вещь – я ошибалась. Надеюсь, я не причиню тебе боли этими словами. Но, скорей всего, ты чувствуешь такое огромное облегчение оттого, что избавился от меня, что это тебя не уязвит. Конечно, мне грустно от всего этого, но далеко не так, как было два года назад. Так что не беспокойся обо мне. Я столько плакала, но теперь перестала. Лучше не отвечай на мое письмо, я еще не исцелилась полностью, и вид твоего почерка может расстроить меня. Будь счастлив с Кейт. Я действительно желаю тебе этого или скоро буду в состоянии желать. Пожалуйста, не пиши и не звони. Удачи.

Джессика

Дьюкейн бросил письмо в огонь. Любовь Джессики представилась ему как прекрасное и трогательное, чистое творение ее души. Он не чувствовал никакого облегчения при мысли о том, что она почти «исцелилась». Он постыдно играл ее преданностью, такой невыносимо чистой. Вздорные ссоры, сотни объяснений сотен моментов сейчас ушли навсегда и скоро сотрутся из памяти. А в памяти остался приговор высшей инстанции: он лгал, он все портил, и у него не было достоинства, которое было бы сравнимо с тем достоинством, с каким она просто любила его. Он открыл письмо Кейт.

Дорогой Джон,

я верю и надеюсь, что ты чувствуешь себя хорошо и тебе не повредило это ужасное приключение. Нелегко понять, как писать тебе, но я думаю, ты ждешь от меня слов. Столько всего случилось сразу.

С тех пор как я открыла письмо, которое ты просил меня не открывать, я очень много думала о тебе и обо мне, и в результате я почувствовала неудовлетворение

самой собой. В моей природе – всегда желать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, но это не всегда получается. Я была уверена, что наши отношения – такие странные, такие неопределенные и в то же время крепкие – можно было построить так, чтобы нам было приятно и никто бы не страдал. Но механизм любви имеет такие причудливые энергии, и к тому же (прости, что пишу об этом) я слишком верила, что ты не станешь водить меня за нос в том, что касается определенной темы. Признаюсь, открытие, что у тебя есть другая связь, было для меня очень тяжелым переживанием. Как я не раз говорила, разумеется, у меня нет на тебя прав. Может быть, нашей ошибкой было считать, что мы можем чем-то пользоваться и не иметь при этом чувства собственности. И если бы я раньше знала, что у тебя есть такие близкие отношения с кем-то, я бы не позволила себе так сильно любить тебя. Хотя теперь мне кажется просто идиотской мысль о том, что я могу сохранить тебя, такого привлекательного,

не будучи ни твоей женой, ни твоей любовницей. Но именно этого я хотела. Ты сочтешь меня дурой. Во всяком случае, теперь мне кажется, что немного отойти в сторону друг от друга будет для нас правильным, и, к счастью, так и выходит – чисто автоматически. Ты, возможно, почувствуешь облегчение, так как избавишься от запутанности наших отношений, в которых виновата я сама. Будь счастлив с Джессикой. Неуместно было бы сказать: «чувствуй себя свободным», поскольку я никогда не связывала тебя, и все же мы были связаны. Но это прошло. Разумеется, что ты можешь приезжать в Трескомб по-прежнему. Октавиен посылает привет и присоединяется ко мне в надежде скоро тебя увидеть.

Кейт

Дьюкейн бросил страницу за страницей в огонь. У Кейт был такой размашистый почерк, что ее письма всегда занимали несколько страниц. Он подумал: как не идет женщине этот особый негодующий тон и как трудно даже и умной женщине скрыть его. Потом он спросил

себя: с кем я обошелся более жестоко — с Кейт или Джессикой? Ответ было нетрудно найти. Джессика любила его больше. И только его раздувшееся «я» в конце концов волновало его. Дьюкейн лениво взял кусок бумаги, оставшийся на столе. Это была криптограмма Рэдичи. Он смотрел на нее, ни о чем не думая. Потом он стал изучать ее более пристально. Что-то в центральной ее части показалось ему странно знакомым. Затем Дьюкейн вспомнил. Центральная часть квадрата состояла из латинских слов — они были частью старинной христианской тайнописи.

R O *T* A S
O P *E* R A
T E N E T
A R *E* P O
S A ***T*** O R

Этот элегантный магический квадрат можно читать во всех направлениях, по горизонтали и по вертикали, он состоит из букв, которые, плюс еще A и O (альфа и омега), составляют первые два слова Господней молитвы.

A
P

A
T
E
R
A P A T E R N O S T E R O
O
S
T
E
R
O

Кто придумал, кто выцарапал таинственную надпись на какой-нибудь подземной стене, кто произнес это заклинание, чтобы вызвать силы более зловещие и, может быть, более реальные, чем христианский Бог? И что заставило Рэдичи присвоить ее мощь и сделать своим талисманом? Дьюкейн изучал буквы, шедшие вокруг квадрата. Опять дважды повторяются А и О, только перевернутые. Там было написано «Рэдичи Pater Dominus»[22].

Дьюкейн бросил бумагу. Он чувствовал себя разочарованным, тронутым и потрясенным. В

---

[22] Примечания: 22
Отец Господь *(лат.).*

эгоизме, с каким Рэдичи присвоил себе эту латинскую формулу, было что-то школьническое и трогающее. Такие штуки вырезают порой перочинным ножом на партах. Наверно, любой эгоизм, когда он наивно выходит наружу, кажется ребячливым. Дьюкейн чувствовал пронзительную жалость к Рэдичи. Разгадка тайнописи была равносильна разговору с ним, но какому-то странному и шутовскому. В конце концов, машинерия зла, перевернутый крест, зарезанные голуби — все казалось пустым и инфантильным. И все же Рэдичи был мертв, и разве не настоящие силы зла довели его до двух насильственных актов? Дьюкейну чужд был этот мир. Он видел там только гротеск и детскость, а то, что казалось пугающим, было ограниченным, мелким. Возможно, там были духи, возможно, злые духи, но все они были какими-то мелкими. Большое зло, чудовищное зло, которое разжигало войны и закабаляло в рабство, порождало бесчеловечность людей к другим людям, коренилось в холодной, осознающей себя немилосердной эгоцентричности самых обыкновенных людей, таких как Биран и он сам.

Дьюкейн встал и прошелся по комнате. Сцена решительно опустела. Файви ушел, Биран ушел, Джессика ушла, Кейт ушла, Пола ушла. Он по-

смотрел на себя в зеркало. Его лицо, о котором он думал, что оно «тощее», казалось сейчас совсем изможденным и худым, он заметил, что волосы его жирны, а посредине лба — унылая белая прядь. Глаза его были водянистыми и пожелтели. Нос блестел и покраснел от солнца. Он хотел кого-нибудь, кого-нибудь. Ему нужно было побриться.

Он сказал себе: эта эра моей жизни подошла к концу. Он достал писчую бумагу, сел и начал писать:

Мой дорогой Октавиен,
с большим сожалением сообщаю тебе, что вынужден уйти в отставку…

38

«Упаду ли я в обморок, когда увижу его?» — спрашивала себя Пола.

Было идиотизмом встречаться в Национальной галерее. Он написал ей открытку и предложил встретиться около Бронзино. Пола была тронута. Но все равно это была глупая идея в стиле Ричарда. Если бы он послал *письмо*, а не *почтовую карточку*, она могла бы предложить другое место. Но так она просто послала открытку в ответ со словом «да». К счастью, в этот довольно ранний час вокруг не было никого, кроме служителя в соседнем зале.

Пола пришла слишком рано. Так как Ричард, с характерной для него необдуманностью, предложил встречу ранним утром, она вынуждена была переночевать перед этим в отеле. Она не хотела остаться ни с Джоном Дьюкейном, ни с Октавиеном и Кейт. Она ничего даже не сказала Октавиену и Кейт. Она нуждалась в том, чтобы побыть наедине с собой. Она не спала. Она была не в состоянии заставить себя позавтракать. Она сидела ломая руки в холле отеля и смотрела на

часы. Потом ей пришлось побежать в туалет, ей показалось, что сейчас ей станет плохо. Наконец она выбежала из отеля и поймала такси. И вот теперь осталось ждать полчаса.

Я могу потерять сознание, подумала Пола. Она чувствовала слабость, ей казалось, что черный балдахин подвешен над ее головой, а его нижние кисти колебались прямо у нее перед глазами. А вдруг эта чернота рухнет на ее тело? Оно будет дрожать и извиваться, прежде чем она полетит вниз головой в глубокую шахту. Она почувствовала головокружение и чуть не упала. Она осторожно подошла к квадратному кожаному сиденью в центре зала и села.

Жестокость — жестокость стояла между ними, как гора, или она стала ужасным атрибутом самого Ричарда, как если бы у него выросла металлическая рука или нога. Странные мысли. Это у Эрика появилась металлическая нога. Неужели сцена в бильярдной сделала общение с Ричардом навсегда невозможным? Она никогда так не думала. Просто приняла это как данность. Иначе она не оставила бы Ричарда. Но с принятием этой мысли она уже не могла с ним оставаться. Была ли эта мысль верной или безумной — считать случившееся настолько важным, физически

важным?

Пола смотрела на картину Бронзино. С тех пор как Ричард «присвоил» ее, она устранилась от теоретизирования по поводу нее, но она смутно помнила то, что читала о ней раньше. Фигуры наверху картины — Время и Правда, они отдергивают голубую завесу, приоткрывающую экстатический поцелуй Купидона, который он дарит своей Матери. Воющая фигура за Купидоном — это Ревность. Над пухлой фигурой одетой в розовое Радости — зловещее эмалевое лицо девушки с чешуйчатым хвостом, она символизирует Обман. Пола в первый раз заметила странность в строении верхних конечностей этого существа: правая ладонь была на левой руке, левая — на правой. Правда смотрит, Время движет. Но поцелуй-мотылек длится, он только что слетел с губ, длинные сверкающие тела соседствуют друг с другом с почти неловкой нежностью, их объятие не завершено. Как может Ричард так любить все это, подумала она, — такой умный, такой чувственный.

Мужчина появился в дверях. Казалось, он материализовался из воздуха. Пола почувствовала, что какая-то сила пригвоздила ее к сиденью. Он быстро подошел и сел рядом.

— Привет, Пола. Ты пришла раньше.

— Привет… Ричард…

— Да, это все еще я. Я ничего не мог поделать, я должен был прийти.

— Да.

— Что ж, привет…

Пола не делала попыток заговорить. Она пыталась следить за своим дыханием. Долгий вдох, а теперь выдох, теперь выдох. Это было на самом деле легко. Она немного отодвинулась, глядя сбоку на Ричарда, который опустил руку на колено и смотрел на нее без улыбки. Служитель прошел мимо. В зале больше никого не было.

— Послушай, Пола, — сказал Ричард тихо, — давай разговаривать по-деловому, пусть начало будет деловым. Дьюкейн рассказывал тебе об этом ужасном происшествии с Рэдичи?

— Да.

— А обо мне и Клодии? Все?

— Да.

— Ладно, давай разделим проблему на две, согласна? «А»: думаешь ли ты, что я должен пойти в полицию, рассказать там все, быть арестованным и обвиненным в сообщничестве. И «бэ»: что мы с тобой будем делать? Если ты не возражаешь, я бы начал с «а».

Господи, как это похоже на Ричарда, подумала Пола, и что-то похожее на нежность и боль, память быть может, пронзило ее. Черный балдахин исчез, и дыхание восстановилось. Но сердце болезненно колотилось.

— Разве две эти проблемы не связаны между собой? — спросила Пола. Она была не в силах смотреть на него и поэтому уставилась в пол.

— Они связаны в том смысле, что ты должна решить, хочешь или нет посещать меня в тюрьме. Они зависимы еще и потому, что из них вытекают четыре решения — два «да» или два «нет».

— О Ричард, Ричард, это Джон вынудил тебя прийти?

— Нет, никто меня не вынуждал. Я просто хотел решить первую проблему. Мы не можем без нее решить вторую.

— Джон, кажется, хочет сохранить все в тайне, и он…

— К черту Джона. Что ты думаешь?

Пола не ожидала этого. Она была совершенно подавлена. Узнав о Клодии и Рэдичи, она никак не думала выносить суждений, которых он требовал от нее. Или скорей она сразу приняла точку зрения Дьюкейна, что нет никакой необходимости в признании Ричарда. Она попыталась снова

подумать об этом. Ричард просил ее быть объективной. Это само по себе было необычайным, таким же, как то, что они сидели бок о бок. Она посмотрела вверх на фигуры Правды и Времени.

— Не думаю, что это необходимо, Ричард. Джон совершенно уверен, что твоего свидетельства не нужно. От этого ничего не изменится. Ты сам себя будешь наказывать, и я не вижу смысла в этом.

Ричард глубоко вздохнул.

Ему стало легче, подумала она, о боже, и она почувствовала боль опять. Она опять уставилась в пол и позволила своему взгляду переползти в сторону его ботинок. Металлические ноги.

— Ну а что по поводу второй проблемы «бэ», Пола?

— Погоди, погоди, — бормотала она. — Давай будем, как ты сказал, говорить по-деловому. — Она отодвинулась немного и посмотрела на него. Его черты искривились в напряженную маску тревоги, он по временам трогал лицо рукой, как будто бы желая разгладить его.

— Ричард, ты *хочешь* вернуться?

Он коротко и отрывисто сказал:

— Да. — Он добавил: — А ты хочешь, чтобы я вернулся?

Пола так же быстро сказала:

— Да.

Эти два «да», короткие и неубедительные, парили над их головами.

— Ричард, ты жил с кем-то, да?

— Откуда ты знаешь? Просто догадалась?

— Однажды я пришла к нашему дому — просто взглянуть на него. Я знала, что ты на работе. И я увидела, как довольно красивая девушка открыла дверь своим клю-чом.

— Боже! Ты приходила, Пола? Боже! Ладно, да. Была девушка, но теперь все кончено. Она — шлюха.

— Что это меняет, как ты думаешь?

— Хорошо. Ничего. В любом случае она ушла. Она бежала в Австралию вместе со слугой Дьюкейна.

— Были и другие, потом, я имею в виду?

— Нет? А ты? У тебя был кто-то?

— Нет.

— У тебя был роман с Дьюкейном?

— Нет, конечно нет, Ричард!

— Ты уверена?

— Да!

— Хорошо. Что ж, продолжим допрос. Мне совершенно непонятно, почему ты хочешь, чтобы я вернулся.

— Ричард, мне надо поговорить с тобой об Эрике.

— Господи, неужели этот мерзавец снова возник на горизонте?

— Нет, нет. Он написал и сообщил, что собирается вернуться, но потом изменил свои намерения, слава богу.

— Ты не любишь его или любишь?

— Нет, нет, нет.

— Тогда забудем о нем.

— Нет, мы не можем забыть, в этом все дело. По крайней мере, нам не удастся забыть то, что случилось. Я знаю, это звучит слегка безумно, но эта ужасная сцена осталась как какой-то черный кусок, источающий яд.

— Я знаю, — сказал он тихо, — я знаю.

Появилось несколько американцев, желающих поглазеть на Бронзино. Они не торопились, делали ученые комментарии, но потом, заметив напряженную, неподвижную пару, удалились.

— Пола, — сказал Ричард, — мы оба — разумные существа. Может быть, мы не можем справиться с этим по отдельности. Но возможно, сможем вместе. Случилось нечто ужасное, в чем виноваты мы оба. Это случилось. Ты знаешь, я не верю в Бога и в чувство вины, покаяние и всякое такое. Прошлое

ушло, оно больше не существует. Однако те, кто существует, несут ответственность за прошлое и наши мысли о нем. Их трудно контролировать. Я предполагаю, что мы ничего не можем сделать для Эрика, кроме как забыть этого проклятого дурака. Мы должны помочь друг другу разогнать это облако, если уж мы решили, что нам стоит попытаться жить вместе. Не думаю, что черный кусок будет и дальше отравлять нам жизнь. Думаю, постепенно он исчезнет.

Пока Пола смотрела на него, слушая, как он своим четким высоким голосом так знакомо формулирует, излагая что-нибудь, она почувствовала, как дрожь прошла по телу, секундой позже она осознала, что это физическое влечение. Она хотела обхватить руками Ричарда и крепко прижаться к нему. Она напряглась и закрыла глаза.

— Что с тобой, Пола?

— Ничего, ничего. Ты, наверно, прав. Давай попробуем.

Она открыла глаза и посмотрела в золотисто-голубое свечение Бронзино.

— Ричард, если ты вернешься ко мне, будешь ли ты снова крутить романы с другими девушками время от времени?

После короткого молчания Ричард сухо сказал:

— Возможно.

— Я так и думала…

— Пожалуйста, Пола… Это трудно сказать. Сейчас, в этот момент, я чувствую… черт, чувства — это только чувства. Я не знаю, что я буду делать. Если прежние стереотипы остались во мне, возможно, время от времени я буду неверен. Подождем и увидим. Ты знаешь, что бы я ни сказал, не важно, раз ты уже решила что-то.

— Я знаю, думаю, что смогу перенести это. Только, Ричард, ты не будешь мне лгать?

— То есть ты хочешь, чтобы я докладывал тебе каждый раз, что поцеловал секретаршу?

— Нет. Но я бы хотела знать, если ты с ней переспишь.

Ричард опять помолчал немного, за это время группа школьников быстро пробежала через зал. Он медленно сказал:

— Это очень нелегко — давать заранее такие обещания, Пола. В конце концов, пообещать нетрудно. Не так легко быть уверенным в том, как себя поведешь, когда тебя будет соблазнять перспектива легкого и ни к чему не обязывающего развлечения.

Пола посмотрела на фигуру Обмана с эмалевым лицом, на ее неправильные руки и чешуйчатый

хвост. Неужели неизбежно падение в эту бездну фальшивых лиц, неужели обман всегда таится под лепестками роз и кровавыми перьями? Но по мере того как она смотрела, глаза ее прояснялись, она чувствовала, что никакое сомнение не изменит ее намерения вернуть Ричарда. Она повернулась к нему:

— Хорошо. Но ложь развращает и портит.

— Я знаю это. Я сведу ее к минимуму.

Свойственная Ричарду точность и даже его намерение в этот решающий момент держать дверь слегка приоткрытой для Венеры, Купидона и Безумия тронули ее, и она почувствовала к нему такую любовь, которую трудно сдерживать.

— Пола, насчет близнецов…

— Что насчет близнецов?

— Они настроены против меня?

— О мой дорогой, нет. Они сохранили свою любовь к тебе, их ничто не коснулось. Я знаю это.

Образ близнецов вызвал у нее горячее предчувствие слез. Она закрыла глаза, отворачиваясь, и в первый раз подумала: а привлекательна ли я еще для него?

— Слава Богу за это. Когда мне можно будет?… То есть мы что-нибудь решили?

Пола посмотрела на него вся в слезах:

— Ричард, спроси себя, спроси себя. Ты действительно хочешь этого?

— О Пола, да. Да, да. Пожалуйста, дай мне руку.

Пола подвинулась к нему. Их руки соприкоснулись, их колени соприкоснулись. Они оба дрожали.

— О Ричард, не здесь… кто-нибудь увидит.

— Нет, здесь.

Американцы, вернувшиеся с намерением бросить прощальный взгляд на Бронзино, быстро ретировались.

— Пола, я снова влюблен в тебя, ужасно влюблен.

— Я никогда не переставала быть влюбленной в тебя, ни на секунду.

— Слушай, Пола, ты не возражаешь, если мы сразу пойдем домой? Я хочу поцеловать тебя по-настоящему, я хочу…

Они вскочили. Ричард бросил быстрый взгляд на смотрителя и подошел к Бронзино. Он протянул жадные пальцы к холсту, лаская слегка соприкасающиеся уста Венеры и Купидона. Потом он схватил Полу за руку и потащил за собой. Они выбежали из галереи. Смотритель обернулся и начал взволнованно пересчитывать картины.

39

— Хотите чего-нибудь выпить?

— Спасибо. Немного шерри.

— Вам не мешает огонь? Не слишком жарко для вас?

— Нет, я люблю огонь. Вы уверены, что хорошо себя чувствуете?

— Я чувствую себя гораздо лучше. Как Пирс?

— Пирс в прекрасной форме. Чтобы не забыть, он шлет вам приветы. Просил, чтобы я не забыла сказать — горячие.

— И я шлю ему привет. Садитесь. Как хорошо, что вы пришли.

Мэри Клоудир бросила пальто на пол и довольно неловко уселась, напряженно держа стакан с шерри перед собой, как будто она держала что-то необычное, револьвер к примеру. Ее рука слегка дрожала, и несколько капель пролились на бело-голубые клетки ее платья и слегка увлажнили ее бедро. Она с любопытством оглядела комнату. Это была очень приличная комната, в которой было много — на вкус Мэри, слишком много — ярких безделушек. Они лежали повсюду,

похожие больше на игрушки, чем на украшения. Она выглянула через напоенное солнцем окно и посмотрела на железные почтовые ящики и ярко выкрашенные двери маленьких аккуратных домов напротив, и ее сердце упало. Она подумала: как мало я знаю его.

— Прекрасные новости о Поле и Ричарде? — сказала она.

— Чудесные.

— Я очень рада, — сказала Мэри. — Они так счастливы, что стали похожи на веселых детей. — Она вздохнула. — Но вы не удивлены? Я не знала, что они думают об этом. Пола все таит в себе.

— Мм. Да. Как-то быстро… Как в кино. Жизнь бывает неожиданной.

Мэри смотрела на тяжело ступающего, как конь в стойле, Дьюкейна по другой стороне комнаты в пространстве за высоким креслом. Потом он оперся о спинку стула и посмотрел на нее. На нем был черный шелковый халат с красными паутинными звездочками, накинутый на темно-красную пижаму, по этому поводу он рассыпался перед ней в извинениях. Одежда придавала ему слегка экзотический, слегка испанский вид, он был похож на актера или танцора.

— Джон, что происходило там, в пещере? Пирс

не хочет ничего рассказывать. А мое воображение не устает работать. Я видела ужасные сны об этом. Вы были близки к смерти?

Дьюкейн сказал медленно:

— Трудно сказать, Мэри. Может быть. Пирс вел себя очень храбро и мужественно.

— Как и вы, я уверена. Можете ли рассказать все, как было, начиная с самого начала?

— Не сейчас, Мэри. Если вы не против. — Он добавил: — Я странным образом видел там ваше лицо в темноте. Я расскажу вам позже.

Его властный вид успокоил ее.

— Хорошо. Вы расскажете, когда захотите. Вы приняли решение, Джон?

— Какое решение?

— Вы говорили, что должны принять решение, касающееся судьбы одного человека.

— О да, я сделал это.

— И это было верное решение?

— Да, я уладил это дело. Я уладил множество дел. Практически все!

— Хорошо.

— Вы не знаете, о чем вы говорите! — сказал Дьюкейн. — Извините. Я еще весь на нервах.

Мэри немного неуверенно улыбнулась. Потом она сказала неожиданно горько:

— Я ничего не знаю о вас.

— Вы знаете меня много лет.

— Нет. Мы замечали друг друга, как знакомые предметы ландшафта, как дома или железнодорожные станции, объекты, которые проезжаешь, путешествуя. Мы так мало сказали друг другу.

— Вы несправедливы. Мы общались друг с другом. Мы похожи.

— Я не такая, как вы, — сказала она. — Нет, вы принадлежите к другой расе.

Она оглядела комнату со всеми ее безделушками, похожими на детские игрушки. За окном тяжелый солнечный вечер полнился далекими звуками.

Он казался удивленным, обескураженным.

— По-моему, это звучит не очень лестно.

Она смотрела на его худое лицо, узкий нос, волны сухих темных волос. Их речь казалась ей глухим, долгим и лишенным ритма барабанным боем. Она вздрогнула.

— Это не важно. Вы — другой. Мне нужно идти.

— Но вы только что пришли.

— Я приходила узнать, все ли с вами в порядке.

— Наверно, нужно признаться, что не все в порядке. И мне не очень приятно, что вы убегаете.

Я надеялся, что вы пообедаете со мной.

— К сожалению, у меня встреча.

— Ладно, но не уходите сразу, Мэри. Выпейте еще шерри.

Он наполнил ее бокал. Черный шелк коснулся ее колена.

Зачем я сама загнала себя в эту абсурдную и ужасную ситуацию, думала Мэри Клоудир. Почему я — такая ужасная дура? Почему после всех этих лет я вдруг безумно влюбилась в своего старого друга Джона Дьюкейна, вопреки здравому смыслу, без всякой надежды?

Понимание, что она влюблена в Дьюкейна, пришло к Мэри нежданно на другой день после спасения из пещеры, но ей казалось, что на самом деле это произошло раньше. Как если бы она была под властью стихии, не осознавая этого, проблеск осознания мелькнул в ее душе в тот момент, когда она укрыла своим пальто мокрого, замерзшего обнаженного мужчину. На следующий день, когда Октавиен отвез Дьюкейна в Лондон, Мэри впала в чернейшую депрессию, она приняла ее за последствия пережитого ужаса. Она в жаркий полдень пропалывала сад. С яростным самоистязательным упорством она склонялась над клумбой, чувствуя, как ручейки пота стекают

по щекам. Она интенсивно думала о Дьюкейне, но так, как могла бы думать и о другом человеке. Она выпрямилась и пошла отдохнуть в тени акации. Ее разгоряченное тело обмякло, и она легла. Расслабившись, она вдруг с галлюцинаторной ясностью увидела лицо Дьюкейна; это видение сопровождалось физическим содроганием, как будто ее ударило током. Она лежала совершенно неподвижно, собираясь с силами.

Осознание того факта, что ты любишь того человека, которым давно интересовался, — забавный процесс. Из чего состоит он? Каждое человеческое существо плавает в тусклом море суггестивной образности. Это паутина давлений, потоков и идей, часто менее определенных, чем зрительные образы, они связывают наше мимолетящее настоящее с прошлым и будущим и образуют шар нашего сознания. Мы мыслим с помощью тела, с помощью его устремлений, его страхов, его призрачных блужданий. Сейчас все тело Мэри, распростертое под акацией, по-новому увидело Джона — всего, с головы до ног. Она почувствовала: он уехал — как будто огромная сила вырвала его из ее собственного тела. И она задрожала от ослепительной радости.

Но разве она не была влюблена в Вилли? Нет,

она не была влюблена в Вилли. Она любила Вилли своим заботливым, беспокойным разумом и трепетными пальцами. Она не обожала его всем своим телом-мыслью, не жаждала его всем своим существом. А то, что она ощущала теперь, было безошибочным состоянием влюбленности, она думала, что уже никогда не испытает его. Более того, лежа неподвижно на земле, глядя на пятнистый солнечный свет, пробивающийся сквозь разрезные листья акаций, она почувствовала, что вообще никогда не испытывала такого. И она со стоном перевернулась лицом к земле.

Великая любовь неотделима от радости, но следующая мысль принесла ей боль. Она абсолютно не знала, что же делать с этим огромным чувством, которое так неожиданно открыла в себе. И не только потому, что Дьюкейн принадлежал Кейт. Он был совершенно недоступен для нее. Он был очень добр к ней, но это проистекало из того, что он просто был хорошим человеком, добрым ко всем. Его внимание к ней было профессиональным, действенным и очень кратким. Она слишком проста, чтобы обратить на себя его внимание. В общем, он привык к ней так же, как привыкают к хорошим слугам.

Разумеется, он никогда не узнает, сколько вре-

мени понадобится ей, чтобы исцелиться. При мысли, что она осознала свое состояние двадцать минут назад и уже думает об исцелении, слезы потекли из закрытых глаз Мэри, смешиваясь с потом на ее блестящем лице и падая в теплую траву. Нет, она не будет думать об исцелении. Она чувствовала, что ей уже никогда не исцелиться. С этим придется жить. А он не должен никогда узнать об этом. Она не выдаст себя ни жестом, ни вздохом, ни взглядом.

Тем не менее через два дня, похожих на настоящую агонию, она поняла, что должна увидеть его. Она просто повидает его, скажет несколько общих фраз и уйдет. Но она чувствовала, что должна увидеть его или умереть. Она должна поехать к нему. Больная от страсти, она поехала в Лондон, позвонила ему и спросила, не может ли она ненадолго зайти к нему перед обедом.

В его присутствии она испытывала экстаз боли и мольбы. Ее острая радость от его присутствия пробивалась сквозь ее заурядность, ее глупость, ее неспособность сказать что-нибудь необычное. «О Джон! — кричала она внутри, как будто прося о помощи. — О мой дорогой, помоги мне вынести это!»

Джон Дьюкейн, опершись о спинку стула,

созерцал маленькую круглую головку Мэри, похожую на головы Энгра, ее бледно-золотистый цвет лица, очень маленькие уши, за которые она заткнула пряди прямых темных волос.

Джон Дьюкейн думал про себя: почему я оказался в такой ужасной и абсурдной ситуации? Почему я такой ужасный осел? Почему я так неуместно, неожиданно, ненужно и неопровержимо вдруг влюбился в свою старую подругу Мэри Клоудир?

Дьюкейну теперь казалось, что его мысли уже давно обращались к Мэри, прибегая к ней инстинктивно, как животные или дети. Важным был момент, когда он подумал о ней: у нас одна система ценностей.

Но уже давно знал, прежде чем ясно сформулировал, что у нее было схожее представление о морали, а это очень важно. Ее способ существования дарил ему душевное и даже метафизическое спокойствие, веру в мир и в реальность добра. Нет любви, которая ничего не стоит, даже когда фривольное льнет к фривольному, а низменное к низменному. Но в самой природе любви таится различение добра, и высшая любовь, в какой-то степени, — это любовь к хорошему. Дьюкейн сознавал, всегда сознавал, что он и Мэри сообща-

ются лучшим, что в них есть.

Огромное уважение Дьюкейна к Мэри, его вера в нее, его понимание ее добродетелей создали фон для чувства, которое под влиянием всех его сложных нужд переросло в любовь. Возможно, теперь он идеализировал ее и влюбился в нее в тот момент, когда сказал себе: она лучше меня. По мере постепенной потери большого уважения, которое он раньше питал к самому себе, он нуждался в образе человека, в котором бы воплотился более высокий образ. Его отношения с Джессикой, его отношения с Кейт, в каком-то тонком смысле именно отношения с Кейт, окончательно запутали его. Он хотя привык думать о себе хорошо, но теперь он потерялся, и воля его ослабела. Он начал нуждаться в Мэри, когда почувствовал нужду в более высоком представлении о самом себе. Она создавала утешающее равновесие его нынешней низкой самооценке.

Еще она была, понял он, матерью-богиней. Она была матерью для всех в Трескомбе. В этом свете простота ее роли виделась ему почти в мистическом ореоле. Она преобразилась для него благодаря его ревности к Вилли, ревности, которая удивила его самого, проявившись вначале как необъяснимая депрессия, простой недостаток

благородства. Эта ревность очень отличалась от ревности к Октавиену, которую он ненадолго ощутил, когда потерял Кейт. Ревность к Октавиену обнажила его собственную ситуацию как непорядочную и идиотическую. А ревность к Вилли заставила его почувствовать: это моя девушка. И вслед за этим: я хочу эту девушку. Она моя.

Ему казалось теперь, и это только обостряло боль, что он побуждал ее выйти замуж за Вилли только из чувства вины и ощущения собственной неудачи с Вилли. Разумеется, она не должна узнать о его чувствах, и Вилли тоже не должен узнать. Как только они поженятся, он будет абсолютно избегать общения с ними. Я выпаду из этой истории, подумал он. У него было тяжелое чувство, что он оказался в полной изоляции: все покинули его, а женщина, которая могла бы спасти его, была увлечена другим.

Он смотрел на Мэри. Все его тело болело от ощущения того, как много она могла бы сделать для него. Причиняя себе намеренно острую, отрезвляющую боль, он спросил:

— Как поживает Вилли?

— О, очень хорошо, полагаю. То есть лучше, чем обычно.

— Когда вы поженитесь? — спросил Дьюкейн.

Мэри поставила стакан на мраморный восьмиугольный столик. Она покраснела и затаила дыхание.

— Но я не собираюсь выходить замуж за Вилли.

Дьюкейн обошел кресло и сел в него.

— Вы говорили, что срок еще не определен.

— Это вообще не произойдет. Вилли не хочет жениться. Все это было ошибкой.

Она выглядела такой несчастной.

— Извините, — сказал Дьюкейн.

— Я думала, Кейт рассказала вам, — сказала Мэри. Она покраснела и упорно смотрела на стакан.

— Нет, — сказал Дьюкейн. Он подумал, что лучше я скажу ей: «Кейт и я… ну, не думаю, что мы будем видеться так же часто, как прежде… по крайней мере, не так…»

— Вы всерьез поссорились с ней? — спросила Мэри очень тихо.

— Нет, не всерьез. Но… я лучше расскажу вам, хотя это не улучшит ваше мнение обо мне. Я был раньше связан с одной девушкой в Лондоне, а Кейт узнала об этом, ей не понравилось, что я лгал, а я действительно лгал. Все это довольно запутанно. И это все испортило. Глупо было с

моей стороны воображать, что я могу манипулировать Кейт.

Не так я говорю, подумал он. Все это кажется еще ужаснее. Она всегда будет думать обо мне плохо.

— Понимаю, девушка… понимаю.

Он сидел в напряженной позе.

— Вы, наверно, расстроились из-за Вилли, простите.

— Да. Он вроде бы отверг меня.

Она любит его, подумал он, она любит его. Со временем она уговорит его. О боже.

Мэри начала медленно подбирать свое пальто, лежавшее у ее ног.

— Что ж, я надеюсь, вы будете счастливы, Джон, счастливы с… Да.

— Не уходите, Мэри.

— У меня свидание.

Он застонал про себя. Ему хотелось обнять ее, он хотел все рассказать ей, он хотел, чтобы она поняла.

— Разрешите мне подарить вам что-нибудь, прежде чем вы уйдете, что-нибудь, что вы возьмете с собой. — Он поспешно оглядел комнату. На столе на груде каких-то бумаг лежало французское стеклянное пресс-папье. Он схватил его и

бросил Мэри на колени. В следующее мгновение он увидел, что она рыдает.

— Что случилось, сердце мое? — Дьюкейн встал на колени рядом с ней, отодвинув стол. Он прикоснулся к ее колену.

Прижимая пресс-папье к юбке и сморкаясь, Мэри проговорила:

— Джон, вы подумаете, что я сошла с ума, но вы не беспокойтесь. Я должна вам кое-что сказать. Не могу уйти от вас, не сказав это. Я не любила Вилли по-настоящему. Я любила Вилли очень, я его любила, но это не настоящая любовь. Я знаю, на что похожа настоящая любовь и какая это ужасная вещь. Я не должна бы говорить вам это. У вас есть девушка, и вы были так необыкновенно добры ко мне, я не должна бы беспокоить вас и лучше бы промолчать об этом…

— Мэри, ради всего святого, о чем вы говорите?

— Я люблю вас, Джон. Я влюблена в вас. Простите. Я знаю, это невероятно, и, возможно, вы мне не поверите, но это правда, я очень виновата. Я вам обещаю, что буду вести себя разумно и не буду надоедать вам и не буду настаивать на встречах, теперь вы и не захотите видеть меня… О боже! — Она спрятала лицо в носовой платок.

Дьюкейн поднялся. Он подошел к окну и по-

смотрел на прекрасную герань, на прекрасные машины и голубое вечернее небо, в котором летело множество прекрасных самолетов к лондонскому аэропорту. Он постарался контролировать свой голос.

— Мэри, вы действительно договорились с кем-то пообедать?

— Нет. Я просто так сказала. Извините, Джон. Я ухожу.

— Я прошу вас остаться и обсудить ситуацию. В доме полно еды, и у меня есть бутылка вина.

— Нет смысла обсуждать это. Это только ухудшит все. Нечего больше сказать. Я просто люблю вас. Вот и все.

— Это только половина дела, — сказал Дьюкейн. — Возможно, за обедом вы узнаете вторую половину.

40

— Это действительно случилось?

— Да.

— Ты уверен, что делал все правильно?

— Господи, уверен!

— Ну, мне не понравилось.

— В первый раз девушкам это всегда не нравится.

— Может быть, я лесбиянка.

— Ну и глупости, Барби. Тебе хоть чуточку понравилось?

— Ну, вначале немного.

— О Барби, ты такая чудесная, я обожаю тебя.

— Что-то впилось мне в спину.

— Надеюсь, ты не на моих очках лежишь.

— К черту очки. Нет, это всего лишь корень плюща.

— Ты разметала столько листьев плюща кругом.

— Ты такой *тяжелый*, Пирс.

— Я почувствовал себя тяжелым. Когда все кончилось, мне казалось, я превратился в большой тяжелый камень, лежащий на тебе.

— Ты уверен, что не будет ребенка?

— Уверен.

— Ты думаешь, мне это станет нравиться больше, нравиться, как тебе?

— Тебе станет больше нравиться. Но не так, как мне, Барби. Я будто в раю побывал.

— Что ж, я рада, что кто-то получил удовольствие.

— О Барби, дорогая…

— Все в порядке, все в порядке. Как ты думаешь, мы — испорченные?

— Нет. Ведь мы любим друг друга. Мы сильно любим, правда, Барби?

— Да. Но все равно это неправильно.

— Может быть. Но я так не чувствую. Мне кажется, как будто все в мире вместе с нами.

— Я это тоже чувствую.

— Ты не станешь жалеть об этом, не возненавидишь меня?

— Нет. Это случилось со мной, и я счастлива, что это именно так случилось.

— Я любил тебя так долго, Барби…

— Мне кажется, я не смогу это делать с кем-нибудь другим. Потому что я знаю тебя так хорошо, ты мне как брат.

— Барби!

— Ну, ты понимаешь, что я хотела сказать. Дорогой Пирс, твое тело кажется мне сегодня совсем другим и таким красивым.

— Я не понимаю, почему девушкам нравятся мужчины. Мы такие грубые, и противные, и плоские в сравнении с вами. Тебе не холодно, нет?

— Нет, мне хорошо. Какая жаркая ночь. Какая огромная луна.

— Она кажется такой близкой, что ее будто можно потрогать.

— Слышишь сову? Она чудесна. Правда? Пирс…

— Да?

— Как ты думаешь, сможем ли мы спать с другими?

— Нет, Барби, понимаешь, мы так молоды и…

— Ты *уже* думаешь о других девушках!

— Барби, Барби, не отодвигайся, пожалуйста, положи руку обратно. Дорогая, я люблю тебя, господи, ты же знаешь, что я люблю тебя!

— Может, и знаю. Ты был ужасен со мной.

— Обещаю, что никогда не буду таким. Ты тоже бывала ужасна.

— Знаю. Давай *по-настоящему* любить друг друга, Пирс.

— Да, давай. Это будет нетрудно.

— Это будет нелегко. Может быть, мы сможем пожениться, когда ты сдашь экзамены.

— Ну, Барби, мы не должны *слишком* торопиться. О дорогая, *пожалуйста…*

— Когда мы опять займемся этим? Завтра?

— Завтра не получится. Я должен поехать к Джеффри Пембер-Смиту.

— Ты не можешь отложить?

— Нет. Видишь ли, это такой случай — прокатиться на яхте…

— А я? Я думала, ты меня любишь!

— Я люблю тебя, дорогая. Но яхты тоже не пустяк.

— Ну, ты меня потряс.

— Я и сам поражен.

— Какая темная лошадка все-таки эта Мэри! И после всей этой истории с Вилли…

— Дорогая Кейт, ты слишком быстро уверилась в их отношениях. Мэри никогда не была уверена в нем.

— Может быть. Но я уверена, тогда она не думала захомутать Джона.

— Может быть, Джон захомутал ее.

— Нет, нет, Октавиен. Это она инициатор. Она могла стремиться к этому после неудачи с Вилли. Кто-нибудь ей был нужен. Надеюсь, они не будут

сожалеть.

— Я уверен, что не будут.

— Ты очень добр, Октавиен. Что ж, мы должны простить его.

— Конечно, мы *простим* его. Но это было немного неожиданно.

— Кажется, наступил брачный сезон.

— Сначала Ричард и Пола, а потом эта бомба.

— Джон — замечательный миротворец.

— Ты думаешь, он помирил Полу и Ричарда? Не знаю, стоило ли, за Ричарда я бы не вышла замуж ни за что на свете!

— Пола кажется вполне счастливой. Думаю, они будут счастливы. Худшее они пережили, и теперь они ужасно влюблены друг в друга.

— Твое универсальное благодушие начинает действовать мне на нервы, Октавиен.

— Извини, дорогая. Можно выключить свет?

— Да. Так мы лучше рассмотрим луну. Она *огромна.*

— Как огромный абрикос.

— Слышишь сову?

— Да. Это чудесно, правда?

— Где Барби? Я не видела ее после обеда.

— Наверно, в постели, я думаю.

— Слава богу, юный Пирс стал немного более

спокойным… Он собирается поехать в гости к Пембер-Смитам завтра.

— Да, Барби обрадуется. Сколько еще пробудут у нас близнецы?

— По крайней мере неделю. Пола ремонтирует дом в Челси.

— Что-то вроде экзорцизма, я думаю.

— Окуривание. Наверно, в этом есть нужда. Кстати, как звали того парня? Помнишь, который покончил с собой у тебя на работе?

— Рэдичи.

— Ты разве не говорил, что Джон считал Ричарда в этом как-то замешанным?

— Выяснилось, что нет, ничего, по крайней мере ничего значительного. Я думаю, они оба общались с одной и той же девушкой или что-то в этом роде.

— Почему Джон подал в отставку, может быть, ему кажется, что он провалил расследование?

— Нет, я так не думаю. Его отчет был невелик, но вся проблема стала ясной.

— Тогда почему же?

— Он хочет заняться наукой, а может быть, немного попреподавать. Он уже несколько лет стремился в отставку.

— Наверно, он хочет начать новую жизнь и

все такое.

— Я надеюсь, он приедет к нам, то есть *они* приедут.

— Я тоже хочу надеяться. Октавиен, нам нужно взять еще одну домоправительницу. Мы сможем?

— Да, дорогая. Но только пощади чувства Кейзи.

— К черту Кейзи. Ну ладно. Я дам объявление, что нам требуется старшая горничная. О Октавиен, как грустно, все распалось, все ушли.

— Дорогая, ты скоро заведешь других.

— Других кого?

— Я имею в виду — людей.

— Ты ужасен.

— Любимая, перестань.

— Ты ужасный старый гедонист. Мне трудно будет с Джоном и Мэри. Ты не думаешь, что он из тех гомосексуалов, которые женятся, чтобы убедить себя в том, что они нормальные?

— Ты думаешь, что он гомосексуал, потому что он нашел в себе силы противостоять твоим чарам.

— Октавиен, ты — чудовище. Мэри больше похожа на мать, верно?

— Не думаю, что он педик. Мэри как раз его тип

— серьезная и все такое.

— Да. А я как раз не его тип. Я понимаю теперь, как глупо я вела себя с Джоном.

— Ты нежная девочка, Кейт.

— Не говори таким тоном!

— Джон ниже тебя. Для него это было слишком сложным.

— Он на самом деле не понял тебя.

— Джон — очень милый парень, но он не тот мудрый, хороший человек, каким мы его считали.

— Мы считали его богом, а оказалось, что он такой же, как мы, в конце-то концов.

— Как мы, в конце концов.

— Ты готов, дорогой?

— Готов, милая.

— Октавиен, я люблю тебя. Ты так умеешь подбодрить меня! Разве не чудесно, что мы все рассказываем друг другу?

На самом деле Октавиен предпочитал не посвящать Кейт в некоторые подробности своей жизни; в частности, он умалчивал о долгих поздних вечерах на работе, которые он проводил вместе со своей секретаршей. Но он легко прощал это себе, просто полностью забывая о происшедшем и чувствуя себя безгрешным. Он часто

говорил сам себе, что очередной такой вечерок — в последний раз, он не хотел считать себя обманщиком. Но сознание того, что жена ничего не утаивает от него, было для него источником счастья и удовлетворения.

Лунный абрикос сиял, и уханье совы разносилось над любовными ритуалами.

— Они уедут, — сказал Тео.

— Да, — сказал Вилли.

— Ты печален.

— Я всегда печален.

— Не всегда. Две недели назад ты был почти веселым. Мне показалось, ты переменился.

— Тогда со мной в Лондоне случилось нечто…

— Что случилось?

— Я занимался любовью с одной девушкой.

— Господи! Вилли! Вот не ожидал!

— Да, я сам удивился.

— И какова она?

— Она похожа на газель.

— Когда ты встретишься с ней снова?

— Я не встречусь.

— Почему, Вилли, почему нет? Она не хочет?

— Она хочет. Но нет, нет. Тео, я уже умер.

— Мертвецы не занимаются любовью.

— Это было просто чудо. Но за чудесами ничего

не следует. Они вне обыденной жизни.

— Я бы сказал, что как раз за чудесами всегда что-то следует, по определению. И ты согласился, что стал другим.

— Нет. Ты сказал, что я переменился. А я — только прошлое без настоящего.

— Это трусливая ложь.

— Как справиться с прошлым, Тео?

— Простить его. Дать ему мирно почить в тебе.

— Не могу.

— Ты должен простить Гитлера, Вилли. Пора уже.

— Да будь он проклят, Гитлер! Нет, я никогда не прощу его. Но проблема не в этом.

— В чем проблема?

— В прощении самого себя.

— Что ты имеешь в виду?

— Дело не в том, что он сделал, а в том, что сделал я.

— Где?

– *Da unten. Là-bas*[23] — в Дахау.

— Вилли, Вилли, Вилли, замолчи.

— Я в порядке.

— И хочу сказать — не рассказывай мне.

---

[23] Примечания: 23
Там *(нем.).* Там *(фр.).*

— Ты всегда просил рассказать, а теперь говоришь — не рассказывай.

— Я совсем развалился, Вилли. Я все время плохо себя чувствую. Ладно, расскажи мне без подробностей. Что произошло там?

— Я предал двоих людей, потому что я испугался, и они погибли.

— В том аду… Пожалей себя, Вилли.

— Их загнали в газовую камеру. Моей жизни ничего не угрожало.

— Мы — прах, Вилли. Нет ни единого, чей разум и мораль нельзя сломать пыткой. Не думай: я сделал это. Думай: это было сделано.

— Но это я виноват.

— Это в тебе гордость говорит.

— Их задушили газом, Тео.

Вилли сидел в кресле, его вытянутая вперед хромая нога лежала в толстом слое пепла у камина. Тео сидел спиной к камину на стуле, который он придвинул поближе к Вилли. Он отвел глаза от головы Вилли и посмотрел в мерцающие в высоком окне голубые небеса. Его рука тяжело легла на руку Вилли, ладонью он погладил его плечо.

Вилли отбросил назад свои отросшие седые волосы, лицо его расслабилось и приобрело абсолютно спокойный вид.

— Ты, наверно, прав. Но я не могу мыслить в твоих терминах. Это ведь даже не память. Это всегда со мной.

— Все время, Вилли?

— Каждый час, каждую минуту. И никакими силами не избавиться от этого. Никакой душевной хитростью. Никакой психологической уловкой.

— Посмотрим, мой дорогой. Если с тобой случилось одно чудо, может случиться и другое. Может быть, ты расскажешь мне все в конце концов.

— Да, думаю, да.

Мне не хочется слушать, подумал Тео. Он по-настоящему и не рассказывает, в чем дело.

Тео чуть передвинул руку, трогая пальцами воротничок рубашки Вилли. Он сосредоточил взгляд на сияющем окне. Солнечный свет как будто проник внутрь стекла, и голубое небо виднелось сквозь ослепляющий экран расколотого света. Пока Вилли бормотал, Тео упорно старался думать о чем-нибудь другом. Он думал о чайке со сломанным крылом, найденной близнецами, которую они притащили к нему. Генриетта плакала и гладила чайку, сидевшую на ее руке. Близнецы бежали к Тео по камням. Когда они увидели пораненную птицу, они растерялись, они не знали, что делать. Можно ли помочь,

можно ли вылечить больное крыло, может быть, отнести ее к ветеринару? Тео сказал — нет, со сломанным крылом уже ничего не поделаешь. Он должен был забрать у них чайку и утопить ее как можно быстрее. Это был акт милосердия. Ничего нельзя было больше сделать. Он осторожно снял чайку с вытянутой руки Генриетты и сказал близнецам, чтобы они ушли. Они сразу же убежали. Эдвард захлебывался слезами. Тео не стал медлить — снимать ботинки или закатывать брюки, он просто вошел в воду, его сапоги скрипели по светлым подводным камням. Чайка лежала в его руках абсолютно неподвижно, ее глаза казались бесстрастными, спокойными. Птица была легкой-легкой. А ее серые перья были такими мягкими. Тео наклонился и быстро погрузил этот мягкий серый сверток жизни вниз под воду. Она сделала слабое движение. Он так стоял наклонясь, долго, с закрытыми глазами, ощущая, как солнце припекает его шею. Он не смотрел на мокрый комок в своих руках. Он решил не оставлять ее в море, чтобы близнецы снова не нашли ее. Он поднял камень и пошел с бьющими по ногам мокрыми брюками к дальнему концу пляжа, где он встал на колени и руками выкопал ямку в перекатывающейся гальке так глубоко,

как мог. Он положил туда мертвую чайку и засыпал ее. Потом он отошел в сторонку и лег лицом на камни.

Голос Вилли продолжал звучать, а Тео слушал вполуха, прижимая к сердцу мысль о чайке. Наконец в комнате воцарилась тишина.

— Хочешь выпить чаю? — спросил Тео.

— Да. Ты приготовишь?

Тео встал и пошел в маленькую кухоньку Вилли. Он думал: в чем же тут смысл? Что мне сказать ему? Человек должен забывать о своих старых грехах в предвидении новых. Но как забыть? Смысл в том, что только любовь имеет значение, только она добра. Не надо смотреть на злое, надо смотреть на доброе. Только такое созерцание может сломать тиранию прошлого, отринуть от себя зло, отринуть, в конце концов, самого себя. При свете добра зло отчуждается, оно занимает только свое место, не претендуя на роль добра. Может он объяснить все это Вилли? Он должен попытаться.

Пока он наполнял чайник, он увидел в угловом окне девушку в голубом платье, с длинными распущенными волосами, идущую по тропинке из березняка. Он крикнул:

— К тебе гостья, Вилли!

— Мэри?

— Нет. Незнакомая девушка.

Вилли вскочил и подошел к нему.

— О господи, Тео, что мне делать? Это Джессика.

— Кто такая?

— Газель.

— Ты не рад?

— Но как она нашла меня?

— Ты должен угостить ее чаем. Я ухожу.

— Тео, не покидай меня! Слушай, Тео, я не могу вынести это. Понимаешь? Я пойду спрячусь на кладбище. Скажи ей, что я уехал из Трескомба и ты не знаешь мой адрес и теперь живешь здесь. Скажешь? И заставь ее поверить. Избавься от нее. Потом сходи за мной, когда она уйдет. Я выйду через заднюю дверь.

Задняя дверь стукнула. Тео задумчиво готовил чай. Длинноногая девушка с длинными волосами решительно поднялась в горку.

— Привет, Джессика, — сказал Тео, встречая ее у дверей.

Она удивилась:

— Я хотела бы видеть…

— Да, вы хотите видеть Вилли. Его сейчас тут нет, но вы легко можете отыскать его. — Тео дал

Джессике подробные инструкции, как добраться до кладбища.

Он опять закрыл дверь и налил себе чашку чая. Он чувствовал печаль, печаль.

— Смотрите, Минго и Монроз — вместе в корзинке.

— Да. До свиданья, Минго, до свиданья, Монроз.

— Им лень вставать. Я надеюсь, что Кейзи понравился подарок.

— Конечно, Мэри. Просто она переживает, что вы уезжаете.

— Она все плачет и плачет, не остановить. О дорогой. Грешно быть счастливой, когда кто-то несчастен?

— Нет, я так не думаю. Долг каждого — быть счастливым. Особенно тех, кто только что поженился.

— Тогда я буду такой, какой полагается быть счастливой жене, Джон. Мы ничего не забыли?

— Мы взяли множество вещей. Нужно ли все это брать?

— Мне легче оттого, что Октавиена и Кейт нет сейчас. Куда они уехали?

— В Петру.

— Пирс и Барби тоже уехали. Как мило со сто-

роны Пембер-Смитов было пригласить и Барби.

— Хм. Я подозреваю, что юная Барби прибрала к рукам юного Пирса.

— О Джон, я так счастлива. Можешь подержать мою сумку?

— Твоя сумка весит целую тонну. Ты все еще носишь с собой это пресс-папье.

— Я никогда не расстанусь с этим пресс-папье.

— Ну пойдем, сентиментальная девушка.

— Кажется, ничего не забыли. Как тихо здесь, кукушки уже замолчали.

— Идем, машина ждет.

— Это действительно твоя машина?

— Наша машина, милая.

— Наша машина.

— Вот, ее уже видно.

— Невероятно большая.

Дьюкейн и Мэри, нагруженные чемоданами и корзинками, вышли через переднюю дверь Трескомба и пересекли лужайку. Их ждал большой черный «бентли».

Рыжеволосый человек выскочил оттуда и открыл багажник и заднюю дверь машины.

— Мэри, — сказал Дьюкейн. — Хочу познакомить тебя с моим новым шофером. Питер Макграт. Он очень полезный человек.

— Здравствуйте, Питер, — сказала Мэри.

Они обменялись рукопожатием. Багаж уже был в багажнике, и Мэри села на заднее сиденье и поправила юбку на коленях. Макграт сел за руль. Дьюкейн, наблюдавший за погрузкой, тоже направился было к передней двери. Но, опомнившись, быстро сел рядом с Мэри. Он засмеялся:

— Над чем ты смеешься?

— Просто так. Домой, Макграт.

Он сказал Мэри:

— Посмотри.

Дьюкейн нажал кнопку, и между передним и задним сиденьями машины поднялось стекло.

Дьюкейн посмотрел в глаза Мэри Дьюкейн. Конечно, в их семейной жизни будут свои трудности. Но он объяснит ей все, со временем. Он опять засмеялся. Он обнял свою жену.

— Дядя Тео, можно мне взять эту индийскую марку?

— Да, Эдвард, возьми.

— Эдвард, поросенок. Я первая ее заметила.

Тео быстро оторвал марку от конверта. Почерк был неизвестен ему. Но марка заставила его задрожать.

— Куда вы идете, близнецы?

— На вершину скалы. Хотите с нами?

— Нет, я схожу на луг.

Тео засунул письмо в карман. Он смотрел на удаляющихся близнецов. Потом он пересек лужайку и, пройдя через проход в зарослях спиреи, сел на скамейку. Со стороны моря плыло оловянного цвета облако. Тео сощурился от солнечного блеска и сжал письмо, все еще лежавшее в кармане. Затем со вздохом он достал его и открыл.

Итак, старик умер. Тео понял это, едва увидев письмо. Но все же сказать об этом ему должен тот, кто написал письмо. Старик был мертв. Он добром поминал Тео перед самой смертью. Умер старик, с которым он мог бы примириться и который один из всех смертных мог дать покой его душе.

Тео никогда не рассказывал никому из домашних, что во время пребывания в Индии дал обет в буддистском монастыре. Он хотел окончить свои дни там. Но через несколько лет он уехал, убежал, после инцидента с юным послушником. Мальчик позднее утонул в Ганге. Все, кто писал об этом Тео, говорили, что это был несчастный случай.

Только старик мог освободить меня от этого мучения. Тео думал о том, что год за годом он сомневался, не вернуться ли ему, и год за годом от него ускользала эта последняя попытка, по-

следняя надежда. Он видел во сне шафрановые одеяния, бритые головы, зеленую долину, где он собирался закончить свои дни. Он не мог найти пути назад. Он вспомнил, что старик сомневался с самого начала. «Мы любим принимать молодых людей, — говорил он, — прежде, чем их запачкает мир», — сказал он и с сомнением посмотрел на Тео. Он, Тео, горел желанием, как страстно влюбленный. Он нуждался в этой дисциплине, в тишине и в том, что скрывалось за нею.

Я утонул в развалинах самого себя, думал Тео. Я живу в себе, как мышь, забравшаяся в руины — огромные, развалившиеся, осыпавшиеся, пустые. Мышь бегает, а руина осыпается. Это все. Зачем я ушел оттуда, от чего я бежал? Разве нельзя было примириться с тем несчастным эпизодом? Я мог бы вынести это. Он бежал от своего вдребезги разбитого образа, от гарантированности их понимания и от попыток втянуть его обратно в ту структуру, которую он разрушил. Он тогда полностью порвал со своим прошлым и со страстью, которая казалась залогом новой жизни, вошел в сообщество этих людей. Когда он обнаружил, что и там остался таким, как прежде, его гордость была поражена, неотвязный эгоизм нисколько не уменьшился от его поступка — ухода из светского

мира. И он разочаровался тогда в самом монастыре. Он отдал ему свое свободное и надменное «я». Но не мог смириться с разрушением своего «я». Возможно, к тому же он слишком любил старика.

Был ли это его разрушенный образ или еще что-нибудь более ужасное, чего он боялся, от чего бежал, от жуткого изменения своей природы, стремящейся к пустоте? Тео стал рассматривать мысленно расстояние, отделявшее обаятельное от благого, и вид бездны между ними ужаснул его душу. Он видел издалека самую, может быть, ужасную вещь в мире — другое лицо любви, ее пустое лицо. Все, чем он был, все лучшее, что в нем было, — это одержимая, самодостаточная человеческая любовь. Желание пустоты означало смерть всего его существа. Старик был прав: начинать надо с юности. Возможно, именно лихорадочный страх послужил причиной того, что ему вдруг так сильно захотелось крепко обнять прекрасного мальчика с золотистой кожей, гибкого, как пума. То, что за этим последовало, было ужасным, уродливым смятением, знакомым внутренним кошмаром, разверзнувшимся здесь, в священном месте, где, казалось, это было невозможно. За эти годы он не изменился,

в сущности. Он испытал радость. Но это была радость играющего ребенка. Он просто играл на просторе все эти годы рядом с неизменившейся горой самого себя.

Как меняются люди? Тео не знал. Он должен был бы давно вернуться туда и задать старику этот вопрос. И все же он знал ответ на самом деле или знал его начало, и это было то, чего не могла вынести его природа.

Тео встал и медленно пошел к дому. Когда он вошел в дом, запах, стоявший в холле, возродил для него образ Пирса, с его широким, прямым, крепким, как у животного, лбом и носом. Кухня была пуста, никого не было, кроме Минго и Монроза, свернувшихся в корзине. Дверь в комнату Кейзи была распахнута, и оттуда доносились какие-то звуки. Кейзи смотрела телевизор.

Тео прошел позади нее в сумерках скромной комнаты и, взяв стул, сел с ней рядом, как он это часто делал. Он увидел, что она плачет, и он повернулся к ней, неловко погладив ее по плечу.

Кейзи сказала, бормоча в платок:

— Эта пьеса такая грустная. Видите ли, этот мужчина влюбился в девушку, а потом взял ее покататься и разбил машину, а она осталась калекой на всю жизнь, и тогда…

Тео так и держал руку на ее плече, как бы разминая его слегка пальцами. Он смотрел в голубое мерцание телевизионного экрана. Теперь уже невозможно вернуться. Тот человек уже никогда не возложит на него свою благословляющую, исцеляющую руку.

Но, может быть, именно потому, что слишком поздно, и следовало бы вернуться? Старик понял бы этот бесплодный поступок. Образ возвращения был образом простой человеческой любви. Но он теперь стал образом другой любви. Почему он должен гнить здесь? Возможно, огромная гора своего «я» не уменьшится. Но он мог бы общаться с просветленными и мог бы достичь наконец ничем не тревожимой невинности ребенка. И хотя он уже не сможет сделать ни шагу к великой пустоте, он узнает ее реальность и яснее почувствует простоту в простоте своей жизни, подключение к этой огромной магнетической силе.

Слезы нежданно полились по лицу Тео. Да, возможно, ему лучше вернуться. Возможно, он все же окончит свою жизнь в зеленой долине.

Близнецы лежали на краю скалы над пещерой Гуннара. Прекрасная летающая тарелка, вертясь огромным беззвучным волчком, парила в воздухе

недалеко от них, но чуть повыше.

Невысокий серебристо-металлический купол сиял светом, который, казалось, исходил из него самого и ничем не был обязан солнцу, а около узкого, сужающегося края прыгало и волнами ходило сияющее голубое пламя. Трудно было оценить размеры тарелки, она как будто существовала в собственном пространстве, как если бы она только на короткое время вышла из своего измерения и поместилась в чужое, которому не принадлежала. Каким-то образом она отражала попытки человеческого глаза измерить ее. Она парила в своей стихии, в своем молчании, она как будто присутствовала и одновременно отсутствовала. Потом она наклонилась, дети наблюдали, как она — они никогда не могли найти слово для этого, — не то дематериализуясь, не то просто исчезая, улетела.

Близнецы вздохнули и сели. Они никогда не разговаривали в присутствии тарелки.

— Сегодня она долго оставалась, правда?

— Долго.

— Забавно, откуда мы знаем, что она не хочет, чтобы ее фотографировали?

— Телепатия, я думаю.

— Я думаю, они хорошие люди, правда?

— Должно быть. Они такие умные, и они не причиняют вреда.

— Мне кажется, они похожи на нас. Интересно, увидим ли мы их когда-нибудь?

— Мы придем сюда завтра. Ты не потеряла тот аммонит, а, Генриетта?

— Нет, он у меня в юбке. О Эдвард, я так счастлива, что папа вернулся.

— И я. Я знал на самом деле, что он вернется.

— И я знала. О Эдвард, смотри, темнеет, над морем уже идет дождь.

— Да. И посмотри, какие буруны. Наконец. Супер!

— Смотри, и сюда уже добрался дождь, наконец настоящий дождь, милый дождь!

— Пойдем, Генриетта. Побежим и поплаваем в дожде.

Рука об руку дети пустились бегом домой через мягкий теплый дождичек.